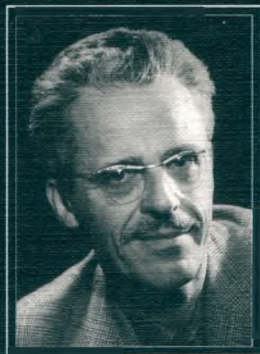


БОРИС ВАСИЛЬЕВ

БОРИС ВАСИЛЬЕВ



*Картежник и бретер,
игрок и дуэлянт*





ВАГРИУС

БОРИС ВАСИЛЬЕВ

*Картежник и бретер,
игрок и дуэлянт*

ЗАПИСКИ ПРАПРАДЕДА

М О С К В А
В А Г Р И У С 1 9 9 8

УДК 882-311.6
ББК 84Р7
В 19

ОХРАНЯЕТСЯ ЗАКОНОМ РФ
ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
ВСЕЙ КНИГИ
ИЛИ ЛЮБОЙ ЕЕ ЧАСТИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
БЕЗ ПИСЬМЕННОГО
РАЗРЕШЕНИЯ ИЗДАТЕЛЯ.

ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА
БУДУТ ПРЕСЛЕДОВАТЬСЯ
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

ISBN 5-7027-0571-8

© Издательство «ВАГРИУС», 1998

© Б.Васильев, автор, 1998

© Е.Вельчинский, дизайн серии, 1998

ОТ АВТОРА

Видит Бог, эти записки существовали. Мама мне говорила о них, да и я что-то припоминаю по первым ощущениям детства. Пожелтевшие страницы старой-престарой бумаги, черные, местами выцветшие чернила, чужой, странный, почти нечитаемый почерк. В Смоленске, помню... а может, то было в нашем Высоком, у деда Ивана Ивановича?.. Не удержала этого память моя, мала была еще слишком. Во всяком случае ни в Москве, ни тем паче в Воронеже этих очень ломких бумаг я уже припомнить не могу. Сестра предположила, что, возможно, они так и остались тогда то ли в Высоком, то ли в Смоленске. Но по тем местам прокатилась война, и все наши семейные архивы пропали в ее огне.

А мама мне, помнится, что-то читала. То, что касалось встреч ее прадеда с Пушкиным. И что-то осело в памяти. Скорее, стиль, способ прапрадедовского видения, мышления и мироощущения, отразившиеся в записи. Это-то тогда меня и поразило: ощущения свои я, слава Богу, помню хорошо.

Великие войны и смутные времена — единственные провалы в историях народов, в яростной беспощадности которых горят даже рукописи. А ведь такой человек существовал на самом деле. Реально существовал: мне о нем говорил Натан Эйдельман, прочитав мой роман «Были и небыли», в котором рассказывалось о судьбе моих дедов — многочисленной дворянской семьи Олексиных.

— Почему бы вам не подумать о своем прапрадеде? С ним приятельствовал Александр Сергеевич, доверивший ему на хранение запрещенные цензурой строфы из «Андрея Шенье». Любопытный был поручик, пушкинисты вам о нем расскажут.

Это был не просто добрый знакомец Александра Сергеевича, а мой родной прапрадед. Если бы не он, то и меня не было бы на свете: генетическая цепочка не признает разрывов и замен. А коли так, то я обладаю нравственным и моральным правом рассказать о вас, мой дорогой предок, все, что смогу. С искренней любовью и горячей благодарностью потомка...

«Записки» предварялись — вот это помню ясно, зрительно помню — написанными явно позднее (иной цвет чернил, почему я и запомнил) строками, обращенными к будущему читателю. К сыну, а возможно, и к внуку — далее автор, по всей вероятности, в поросль свою не заглядывал. Однако следует учитывать, что эти записки были прежде всего семейным сочинением, изначально не претендующим на широкую читательскую аудиторию. Вероятно, в старости предок перечитал написанное и, ни слова в нем не изменив (что он особо подчеркивает), счел все же необходимым кое о чем предупредить своих потомков, почему я и позволил себе назвать это обращение «Предупреждением». Название и неточное, и какое-то казенное, канцелярское, что ли, но пред нами — документ, по самому жанру своему допускающий некую нетворческую, если позволительно выразиться так, терминологию.

Единственное, что я, поразмыслив, добавил, так это объяснение некоторых простейших иностранных слов и предложений, которые никакого перевода на русский язык когда-то не требовали, поскольку существовали в обиходе. Но то — в той, канувшей в Лету России. А в нашей, современной, подчас и русские слова переводить приходится...

Итак:

ЗАПИСКИ

Сбоку — другими чернилами — то, что я дерзнул назвать

«Предупреждением»:

Ad patres, дорогие мои, ad patres!
(«К праотцам». То есть «ухожу к праотцам,
умираю»).

Скоро, очень скоро предстоит мне рапортовать Господу со всей искренностью и по всей форме, должествующей Последнему Параду. А посему, ревизуя дела свои земные, дошел я и до сих «Заметок», а перечитав их, за благо почел не трогать ни единого слова, ничего не прояснять последующими событиями и, Боже упаси, ничего не менять. Ни единого написанного когда-то слова, ни буквы единой. Не посягайте же и вы на Час Творения своего, в чем бы оно ни заключалось, в малом или великом, ибо не вам, не вам судить о сем. Не вам и Час тот принадлежит, но истории лишь одной, переписывать которую вы не властны, ибо нет большего святотатства, чем подгонять жизнь и деяния предков под сиюминутные свои интересы. Но дабы все вам было ясно и понятно, как ясно и понятно было мне, когда писал я сии «Заметки», я, с тщанием обдумав все, решился позволить себе лишь разбить записи сии на части ради лучшего вашего усвоения и понимания и наименовать каждую такую часть соответственно своим собственным соображениям.

Итак, пред вами, младое племя мое, curriculum vitae («жизнеописание») предка вашего Александра Олексина.

О ТВЕРДОСТИ НЕЗРЕЛЫХ ГРУШ И КИСЛОТЕ НЕЗРЕЛЫХ ЯБЛОК

Святки. И день пока не нужен

— Приказано сказать, что для вашего благородия их сиятельств навсегда нет дома.

От кого и когда я эту фразу услышал — потом. Все станет ясным потом, когда я сам начну соображать. А пока — примите как данность, ибо начал я со слов лакейского отказа в душевном стремлении своем. А die («от сего дня»), как говорили древние. А die!

Поворотил я тогда от того дома молча и как бы в некоем трансе, что ли. Вскочил на Лулу, помчал... В нашу Антоновку, думаете? Как бы не так! В поля помчал, в леса помчал, аки фавн, коему в вакханалиях отказали.

Туман стоял не вокруг, а внутри. Первозданный туман: клубился, светился и одурманивал одновременно и единообразно. А снаружи — ох и добрый был морозец! Стало быть, внутри у меня — туман, снаружи меня — мороз. И я зачем-то на этом морозе тулупчик сбросил. Жарко мне, видите ли, стало, невыносимо жарко.

И опять — ни одной мысли в голове. Так, обрывки. «Ах, приказано!.. Ах, со мной играть вздумали?.. Ах, неугоден стал?.. Ну, так я вам сейчас...»

А что — сейчас? Что — сейчас-то, когда туман внутри и одурманивает, и огнем жжет неистовым?.. А то, что ничего мне в голову не пришло, кроме как Лулу остановить, с седла в снег прыгнуть, хлопнуть ее по шее горделивой и столь же горделиво наказ отдать:

— Скачи домой, Лулу, я в бездну ухожу.

Лулу ушла, хотя и фыркнула. Славной выездки лошадка была, послушна и ума хорошего. А я, видно, дурного, потому что тут же на снег навзничь упал и руки крестом раскинул. Нет, замерзать я, помнится, тогда не собирался, но нестерпимый жар пек изнутри, и я его решил гасить снаружи.

Ну представьте себе: утро, зима, заснеженные нивы, леса да перелески. Снег промороженный, сухой, как порошок, мягкий, как пух, и я — в той постели. Застелили мне поле, занавесили морозом и накрыли меня тишиной...

Сколько так пролежал, неизвестно, потому как холода не чувствовал совершенно. Ничего я тогда не чувствовал, кроме обиды раскаленной, да и не думал ни о чем, признаться. Может, час лежал недвижимо, может, и более того, а только жар мой внутренний с внешним как-то уравновесился, что ли. И туман рассеиваться начал, и вместо обрывков в голове впервые мысль прорезалась: «А где я, собственно? Где люди, где Антоновка, где родительское гнездо, пращуром Опенками названное — в насмешку, что ли? Где мир людской и куда идти мне в мире этом?..» И я сел в некой вполне трезво возрастающей тревоге. И такой холод ощутил вдруг, будто один я одинешенек на всей Земле во времена великого оледенения...

А позади — вздох. Оглядываюсь — за спиной моя Лулу стоит. В инее вся. Серебряная. Не ушла, не бросила, не оставила замерзать одного середь зимнего пейзажа. Вздыхает, головой мотая, садись, мол, хозяин, пора уж и разум займешь...

Расцеловал я ее морду, кое-как — заостенел на морозе-то — в седло взгромоздился и повод отдал, чтоб сама дорогу покороче нашла. И помчалась моя Лулу как бы без всякого моего участия, себя разогревая и меня спасая. И я за шею ее держался, а не за поводья, сообразив наконец, что давно закончен до полного одеревенения всех членов своих. И домчала меня Лулу.

В результате — жар, бред, голова не моя и тело не мое.

Но все — в теплом доме, в нежной постели, в людском окружении, заботе и внимании.

— Барин помирает!..

И вся дворня тихо по дому носится, меня, дурака, спасая. А кормилица моя, Серафима Кондратьевна, которую матушка мне подарила, когда я в Корпусе закончил, сурово, без охов и ахов, меня с того света вытаскивала. Велела Архипу врача привезти, припарки делала, примочки, отвары, настои. И ворчала:

— Ох и неслух ты, Сашенька. Ох и неслух, горе ты мое саженное.

Вытащила. А от вольной, которую я на радостях хотел вручить ей, отказалась наотрез:

— Да куда же я от тебя уйду, родимый ты мой? Я ведь мамка тебе, какая же у мамки от сынка вольная может быть? Только от самого Господа воля ко мне придет, а так нет для меня никакой твоей барской милости.

Очухался я. Жар прошел, боль прошла, только кашель да усталость никуда пока уходить не собирались. Но читать они не мешали, и я книжками обложился.

Честно сказать, до этого случая читал небрежно. В детстве, правда, любил матушкино чтение слушать, а потом... Потом — Корпус, а там только уставы да наставления читают. Да разве что-нибудь пикантное. А тут с безделья начал да и увлекся. Велел из Опенков отцовскую библиотеку перевезти, все равно родители мои в Санкт-Петербург перебрались, вскорости после того, как в Корпус меня определили. И в старом барском доме, еще прадедом моим построенном, сразу стало тихо, а батюшке с матушкой — скучно.

«Что есть книга? Книга есть питание души, аки хлеб — тела».

Это я на титульном листе «Истории двенадцати Цезарей» прочитал. Чернила уж поблекли, почерк вельми старый: кто-то из книгочеев-предков написал. Для меня, видно, и для детей моих. Завет роду всему нашему... Только надолго ли за-

ветом останется? Или растворим мы его в картах, попойках, войнах, дуэлях да любовных утехах? Уж многие дворяне русские в сем растворились без осадка, очень многие. По Корпусу знаю.

А я — читал. Все подряд и на всех четырех языках: напищали меня ими в детстве. Матушка в этом особую образованность видела, вот мне и пригодилось. И как же славно бы было, коли бы и потом, потом, в племени моем страсть сия не растворилась бы с горьким и печальным весьма осадком сожаления, но куда страшнее, если и без оногo. Книга есть питание души, и нет у души иного питания...

Святки продолжались. Еще кто-то из предков моих завел, чтоб мы на народные празднества не только не смели никогда покушаться, но чтоб участвовали в них непременно. Хороводы водили, угощения выставляли — сласти да орехи, в снежки играли, на тройках крестьянских девок и парней катали. И это, признаться, мне всегда нравилось. Не дружбы ради — какая уж там дружба! — а...«ради той памяти, что мы — их росток, — как батюшка мой говаривал. — Только солнышка нам побольше досталось, потому нам ввысь вымахать и удалось». Такая уж у него философия была. Утешительная.

А еще я тогда же, в постели лежа, писать начал эти «Записки». Сначала чтобы обиды свои выплеснуть, потом — для собственного удовольствия, а затем и для вашего. Нет, не удовольствия — необходимости для. Удовольствия не обещаю: не сочинитель. Но жизнь, кою проживаешь, сама — сочинитель. Почему и льщу себя надеждой, что не зря чернила изводил.

Да, так святки продолжались, и Серафима Кондратьевна, мамка моя и спасительница, мне как-то утром и говорит:

— Последний святочный денечек сегодня, Сашенька. Девки придут величать тебя.

— Вели конфет принести побольше.

— Ну уж, Сашенька. Не слишком-то привечай, благодарности народ подневольный не ведает.

— Давай, давай, — говорю. — А заодно и наливочки сладенькой. Пусть пригубят за мое здоровье.

Никогда мы конфетами молодежь не баловали, издревле так повелось. Но моя кормилица спорить не стала и принесла мне сластей целую корзинку. А вот наливки не принесла.

— Наливочки они со мной пригубят, не с барином же им ею баловаться.

Я тогда промолчал, потому как другое задумал в обход кормилицы моей. Тайное и сладостно гордость мою офицерскую щекочущее, но отложил до грядущего дня.

На следующее утро Савка, лакей мой...

...Написал вот, а перо само собой замерло. Нет, не лакей — с детства друг, приятель, вместе по полу ползали и ходить учились. Поверенный мой, во всех проказах поверенный и первый помощник, потому что Савка — мой молочный брат. Одним молоком мы с ним вскормлены, к одной груди вместе припадали, потому что сын он единственный кормилицы моей Серафимы Кондратьевны. Он мне — как Клит Александру Македонскому.

Это я вам, потомки, для памяти доброй записал. Чтоб дружбу ценили, о всех сословиях позабыв.

Да, так побрил меня Савка — легкая у него рука. Настолько легкая, что он тогда же по моему секретному указанию незаметно кошель с золотыми мне притащил и под подушку сунул. Серафиме Кондратьевне своей я, конечно, ничего о таком роде угощения не сообщил. Хотя почти что готов был в этом признаться, когда она на меня чистую рубаху с рюшами на груди и кружевными манжетами надела, поцеловала по-матерински и рюмку портвейну для здоровья с поклоном поднесла. Врач велел каждый день по три рюмки, и я вынужден был терпеть, поскольку давно уж иное для поправки здоровья своего предпочитаю. Но после портвейна ждать начал, признаться, с куда большим нетерпением. Ну кто же девичьи рожичи милые, румяные с морозца, с прохладным равнодушием ожидать способен? Разве что мра-

морные истуканы, коими в казенном Санкт-Петербурге весь Летний сад уставлен.

По шуму, смеху, щебету понял: явились. А по тому, как сердце забилось вдруг, по бравости, явственно ощутимой, сообщил, что здоровье мое вернулось в казарму тела моего в полном боевом расчете. Ну, думаю, всех сейчас увижу. Всех своих Лушенек, Грушенек, Ньюшенек, Машенек, Полошек... кого пропустил, прощения прошу. Все девы прекрасны в свои пятнадцать годочков.

А там и запели. Дому хвалу, хозяевам хвалу, а молодому хозяину — отдельно — хвалу и славу. И с этой хвалой и славой ввалились ко мне в спальню.

А я так никого и не узнал, как ни старался. У кого корчага с дырой на голове, у кого — ведро со щелью, кто до самых глаз платком закутан. Поди разберись, кто Глаша, а кто Даша. Ай да хитруньи!

— Ну, — говорю, — спасибо вам за визит да поздравления. А теперь пора и личики ваши мне показать.

Какое там! Смеются серебряными колокольчиками, приплясывают, поют, танцуют...

Танцуют, сказал?.. Случайно вылетело, потому что одна — тоненькая, невеликого росточка, в каком-то берестяном цилиндре с прорезями для глаз, и впрямь танцует, а не пляшет, как остальные. Улавливаете разницу? Danse («танец»)! Я, например, разницу сразу ощутил: по-другому плясунью эту учили. И в деревне я, признаться, ни разу еще не видел, чтобы девушки танцевали. Пляшут — да, все пляшут. С притопами и прихлопами. Отменно пляшут, с огоньком, ничего не скажешь, но чтоб фигуры, коим только танцмейстеры с детства учат, — такого я в своих деревнях еще не видывал. Такое и представить себе невозможно, потому что до сей поры никакому сумасброду и в голову не приходило учителя танцев из Парижа для своего села выписывать. И поэтому барышни в России танцуют, а девушки — пляшут, вот ведь каким образом природное девичье обворожение исстари у нас уравнивается. Да никакая маменька соперничества своей родной

доченьке не потерпит, потому как девичью грациозность по наследству не передашь и никаким барским повелением не введешь в лично принадлежащем тебе поместье: в женском шарме природа — госпожа. А тут шарма — не всякий мужчина выдержит с покоем и хладнокровием.

Я смеюсь, им подпеваю, конфетки щедрой рукой разбрасываю, а сам глаз с танцующей крестьяночки этой не спускаю. Все правильно, и ручки с кокетливой элегантностью в воздухе арабески рисуют, и ножка на носочке поворачивается, и головка не дрогнет, а лишь грациозно этак клонится от плечика к плечу, и поклоны как в менюэте... Откуда ж ты, прелестное создание?.. Коли не из моей девичьей, так завтра же в ней непременно окажешься, когда дознаюсь, откуда ты сюда явилась...

И тут вдруг будто просветление снизошло.

Да оттуда, откуда меня на третий день Рождества лакей выставил по графскому указу, откуда же еще? Аннет, чертовка, это же ты. Ты!.. Прознала, видно, что я в горячке, и решила... Что — решила? Соображай, Сашка, соображай, сукин сын!.. Добить окончательно или... или навестить по сердечному беспокойству и благорасположению своему? Да навестить, разумеется, навестить и тем игру свою продолжить!.. Ладно, думаю, сейчас проверим.

— А ну, — говорю, — девы распрекрасные, одарите меня, болезного, поцелуями своими на прощанье!

Девы захихикали, зашушукались, засмеялись, но в очередь выстроились. И предполагаемая Аннет с ними. Но не в голове стала и не к хвосту примкнула, а застенчиво и мило — в серединочке спряталась. А все целуют, губки из-под бастионов головных высвобождая. И я каждой поцелуйнице золотой на память вручаю.

И до танцорки дело дошло. Правда, я ей не только золотой вручил, я ей и на ушко прошептал:

— *Coeur de maître* («мастерской прием»), Аннет. Теперь очередь за мной.

Думаете, сказала что-нибудь в ответ? Ровно ничего. Ни словечка. А золотой — взяла. Она золотой взяла, а

меня — оторопь: похоже, сильно я промазал со своими лестными догадками. Никакая она, разумеется, не графская дочь, а всего-навсего заскучавшая в унынии псковском чья-то гувернанточка. Может быть, той же Аннет. И я, болван, клюнул, как отощавший за зиму пескарь на дохлого червяка. То-то всласть посмеются они сегодня...

Вот как моя болезнь то ли закончилась, то ли началась с иными тяжкими осложнениями. Бог весть, где проживает «наше не пропадало», Бог весть...

Дальше писать буду и как есть, и как было, и что в голову придет. Последовательность — тоска педантов, а не одуряченных девицами поручиков гвардии. Так-то. Вот из этого постулата исходя, и разбирайтесь сами, ни на йоту не сомневаясь в искренности вашего покорного слуги.

Мщения душа жаждет. Мщения!..

10-го марта

День — либо счастливый, либо никакой. Как говорится, либо банк, либо пуля в лоб.

Это я написал утром. Признаться, с дерзкого похмелья, ибо накануне поставил не на тот угол. И ведь был же голос в душе, был! Но я ему не внял. Месье Шарль был прав, когда долбил меня, как дятел: «*Mon cher ami, if vous encore trop jeune* («Дорогой друг, по юности своей») вы никак не научитесь слушать себя, и ваш рара напрасно тратил на меня свои деньги».

Но все — за барьер! Вчера из графа вылетело признание, которое дороже проигрыша...

(Кстати, не забыть сказать Архипу, чтобы договорился о продаже Гнилого Зауголья, пока лежит снег. Провернем сделку, снег растает, и господин Поклюев обнаружит, что

вместо заливного луга приобрел болото с незабудками, но — «вы так просили меня продать вам именно эту гипотезу...»).

Следует о графе рассказать, как я себе его представлял. Иначе, боюсь, непонятым станет мое и его поведение. Выпады наши непонятными рискуют оказаться, поскольку все наше взаимное общение уж очень походило на этакое полуучебное, полубоевое фехтование. Выпад — укол — выпад — укол. Ну, и так далее, как в учебном поединке.

...Написал и — засомневался: а в учебном ли?..

Мой батюшка давно поддерживал с ним приятельские отношения. Не скажу, что дружеские — оба были хорошими ежами, — но вполне искренними и даже теплыми отношения выглядели. И не только потому, что именами они соседствовали, нет. Служили в одном полку когда-то и были ранены в одном сражении. Под Бородином они были ранены. Оба — тяжело, и оба в полдень.

А мне граф с детства казался представителем совсем иных времен. Времен Екатерины Великой, с ее совершенно особым двором, знаменитыми полководцами, отчаянными рубаками, фаворитами, куртизанками и прочее, и прочее, и прочее. Батюшка почему-то не казался, а он казался. Настолько, что я порою видел его в туфлях на высоких красных каблуках, как носили щеголи во времена Матушки Екатерины. Разумеется, то всего лишь моим видением было, поскольку граф одевался всегда в полном соответствии с модой вполне современной, но не в том суть.

Насколько мне было известно как из светских сплетен, так и из домашних разговоров, графу не очень-то везло в личной жизни. Первая супруга его померла при родах, так и не сумев разродиться, он долго горевал, не мог ее забыть, поэтому вторично женился поздно, а ребенок родился еще позднее. Один-единственный, крещенный Аничкой. Мой отец тоже женился уже в возрасте, я — тоже единственный ребенок, но

я оказался даром упорной и светлой надежды, а графинюшка Аничка — утешительным подарком отчаяния.

Весьма возможно, что граф и невзлюбил-то меня именно вследствие нежданного каприза судьбы. Насмешливо именовал *petit-maitre* («щеголь, франт, вертопрах»), причем прилюдно (весьма был откровенен и чудовищно гордился своей откровенностью), смотрел поверх головы, и я всегда подозревал, что причиной этому служила некая воспаленная ревность, что ли. Ну сами посудите: у старого приятеля-сослуживца — сын, продолжение рода, а у него, графа, — дочь, знаменующая конец его древней и весьма известной истории нашей фамилии. Чувство вполне понятное и вполне объяснимое, почему я и не называю даже имени его, не говоря уж о фамилии, которая самой судьбою обречена была кануть в Лету...

Да, так о графском откровении. Вдруг — задумчиво этак, будто в растопыренных картах вычитал:

— Утром, господа, мы с графинюшкой на три дня отъезжаем к Шелгуновым. *Votre invitation* («приглашение»). Так сказать, гран-суаре старых друзей. Я сказал — «старых»? Иногда во мне прорывается что-то искреннее, как первый заморозок. Мечу абцуг (по две карты одновременно), как и условились.

«А ваша очаровательная дочь Аннет?» — хотел спросить я, но не спросил и правильно сделал.

В Корпусе что-то толковали об огромном значении великого молчания не менее великих полководцев. За меня спросил этот хлыщ Засядский:

— А ваша очаровательная Аннет?

В доброй мужской компании всегда сыщется дурак. Надо только вовремя промолчать и сделать вид. Я промолчал и вид сделал, и Хлыщ спросил то, что желательно было узнать мне. Спросил, спотыкаясь на каждой букве, как пьяный отставной полковник в гололедицу. Но граф (как Хлыщ произносит титул всего-то из четырех звуков? Кажется, «хгьяфь», если не еще музыкальнее...) понял. И, глядя в карты, проворчал:

— У нас то ли краснуха, то ли белуха. Словом, какое-то разноцветное заболевание.

«Аннет дома, дома, дома!..» — стучало мое сердце, и я от столь обещающей новости загнул не тот угол...

(Сбоку — приписка: *Не забыть сказать Архипу о Гнилом Зауголье...*)

Итак, этим утром, выпив для аромату бокал густого, как июльская ночь, старого портвейну... не люблю, но иногда приходится... велел подседлать Лулу — почему-то я чувствую себя увереннее, когда скачу на незваные свидания именно на ней: из трех три, господа, из трех — три!.. — и помчался к дорогим соседям.

Необходимо было увидеть графский выезд. Граф себе на уме, а не мне, не вам и уж тем паче не партнерам в лапидскнехт. Стоял в кустах, сидя в седле, — то ли русский язык допускает такой оборот, то ли это перевод с тех языков, которыми меня нафаршировали в детстве, не знаю, но потомки разберутся. Лулу молчала, а я, признаться, мерз, как кот на ветру.

...Кстати, для потомков. Официально я холост и бездетен, но цыганка в таборе под Кишиновом нагадала мне сына, а ведь никто из нее этого пророчества червонцем не тянул. Так вот, для предсказанного цыганкой наследника: у тебя уже есть по крайней мере один братец, который мне известен. Младше меня, его родителя, на четырнадцать лет. Естественно, Иван: манера называть бастардов Иванами придумана не нами, но логика в этом есть, поскольку им совершенно незачем помнить о родстве своем. Этаким здоровенный бутуз, весь в маму Лушу. Батюшка мой выдал ее за своего камердинера Матвея, дав в приданое куда больше того, что способно отшибить удивление, каким же это образом первенец умудрился родиться на шестом месяце после первой брачной ночи. Не забудь о нем, сын. Наша кровь, олексинская...

А тут и графский поезд промелькнул. Bonne route («счастливого пути»), графинчики!.. И я помчал застоявшуюся Лулу в старый барский дом...

Любопытно все же, почему нас тянет именно к этой юбке, а не, скажем, к соседней, облегающей куда более прелестные формы? Мистика, господа, мистика и судьба в паре, дружно задыхаясь, влачат нашу русско-татаро-монгольскую кибитку по бездорожью юдоли мирской...

Помнится, наш полковой враль и философ Мишка Некудыкин как-то рассказывал, что в детстве за шалости был сослан «к тетке в глушь, в Саратов». Старой одинокой карге, скупой, как дочь Шейлока: Мишка уверял, что она выдавала ему ровно одно яблоко на день, обладая тридцатидесятинным садом... Тут, разумеется, Мишка *minimum* десятикратно загнул, что всегда являлось свойством природы его. Да, так в теткинском саду он, что вполне естественно, рвал те же самые яблоки, сколько душа требовала, прямо с деревьев, надкусывал, бросал в поисках более сладкого и однажды был застигнут за этим научным опытом. Тетка вопила, до розог дело, правда, не дошло, но Мишку заточили в кладовку. Он там орал и требовал свободы согласно Высочайшему Уложению о правах российского дворянства, но услышан не был. Тогда — шустрый мальчик, прямо-таки *enfant terrible* («ужасный ребенок»), надо признать, — от обиды и томления души он разобрал перегородку, в поисках свободы проник в соседнее помещение, где и обнаружил целый склад многолетнего, выдержанного, как доброе вино, полузасохшего варенья. «Полагаете, господа, что я утолил свою страсть к сладкому? Ошибаетесь, я утолил жажду мщения. Я вскрывал банку за банкой, пробовал и отставлял в сторону в поисках иных вкусовых ощущений. К вечеру со мной приключился жар, что меня спасло от всех видов наказаний, а заодно и вызволило из ссылки. Пробуйте, господа, всегда пробуйте, при малейшей возможности пробуйте!.. Старость наступает только тогда, когда вам уже не хочется ничего пробовать...»

Так, может быть, мы просто пробуем, надкусывая яблочки в поисках наиболее вкусного?..

Однако данное рассуждение к Аннет совершенно не относится: груша яблоку не товарищ, особенно в юную пору. Вам ведь и в голову не придет незрелую грушу пробовать: зубы сломаете, настолько тверда она и как бы чересчур уж своеобразна. А зеленое яблочко — да с полным удовольствием! Ну кислятина, ну скулы сведет, ну оскомину набьете, только на Руси рвали яблочную зелень, рвут и рвать будут всегда, пока сама Русь стоит. Что-то есть в этих зеленухах, русской душе необходимое прямо позарез...

Так вот, Аннет была скорее грушею, требующей для гурмана полужимней выдержки в домашних стружках. Но жило в ней что-то языческое, что-то от яри дохристианской, что ли. Словом, зацепился гусар усом, лихо закрученным, как говаривали в нашем лейб-гвардии конно-егерском полку. Зацепиться-то зацепился, а получил афронт. Да еще публично. На Рождественском балу у губернатора, когда на нас, молодых да при усищах, высыпали разом все отдохнувшие после экипажей девицы. И Аннет, коей я, как сосед, был своевременно представлен и с коей премило перемигивался, направляется прямо ко мне. Улыбаясь на все зубки и задорно задрав носик. Я, естественно, низко раскланиваюсь в радости, что отмечен первым, она, естественно, приседает в глубоком реверансе, демонстрируя не столько прелести свои, сколько носик, на кончике которого приклеена порядочная мушка цвета перезрелой вишни. «Поздравляю, — с ехидством этаким шипит мой не в меру полноватый цивильный сосед. — С носом вас, поручик, по всем статьям, с большим носом!..» Я не желаю верить, но мушка исчезает уже перед вторым поклоном, как будто ее и вовсе не было на кончике милого носика. Опять не желаю верить, иду на абордаж перед контрдансом с нижайшей просьбой пожаловать мне мазурку. «Ах, ах, поручик, какая жалость, но у меня расписаны все танцы! Рекомендую, пока не поздно, обратиться к Лизель...» А Лизель — дылда на пять пудов уже в шестнадцать лет.

...Драгоценный потомок мой! Сын ли, внук ли — мне неведомо, да и не суть это. Чтобы ты не бегал к бабушкам за разъяснениями, я сам растолкую, в чем тут загвоздка, если в ваше время моды решительно переменялись. А суть в том, что в наши времена мушка на левой щечке обозначала «горячность страсти», меж бровей — «соединение симпатий», посреди лба — «люблю безумно, твоя, твоя, твоя!», а вот на кончике носа — «отказ». Полный афронт. И милые дамы наших дней несли свои мушиные знаки прямо к «предмету», демонстрировали их и тут же ловко смахивали. И далее следовали как ни в чем не бывало.

Ну что на это сказать? Напился я от полноты оскорбленных чувств и, зыбко помнится, орал в каком-то трактире, что-де все одно моею будешь. А на следующий же день, еще не проспавшись толком, разлетаюсь к графинчикам, вхожу в особняк, румяный с мороза и довольный собой. «Поручик Олексин. Доложи немедля». А мне: «Принимать не приказано». «Как?! Ты глаза протри, я же сосед любезный. Бригадира, графского приятеля, сын единственный!..» А мне: «Приказано сказать, что их сиятельств навсегда нет дома».

Полный афронт. Поворотил я молча и как бы в некоем трансе румяным дураком. Вскочил в седло и помчал, помчал...

(Сбоку — приписка: Смотреть следует в начало и далее — подряд. Так уж получилось...)

Что мщению моему помогло? Карты. Граф был азартен до трясушки, а мне, когда надо, всегда не та карта шла, и поэтому за зеленым сукном он меня терпел. И я его терпел, поскольку твердо решил не оставаться в дураках. И заранее сунул несколько ассигнаций прислуге. Толстой, жадной, а главное — глухой, как тетерев, когда обстоятельства глухоты требовали.

— Аннет, как перед Богом — ты навещала меня, когда я в горячке свалился?

Она улыбнулась... Ах, как она улыбнулась, господа, как улыбнулась! Засветилось все вдруг окрест. Даже, по-моему, лес зимний и тот листвою зашумел... Да, улыбнулась таким именно манером, на одну пуговку расстегнула на груди пеньюар цвета зари майской, потянула за цепочку и показала мне мой же, ей подаренный золотой, к которому уж и ушко припаяно было...

О милых дамах — либо хорошо, либо ничего. Было краткое: «Ах!..», и дева сомлела. Потом, правда, разомлела, но я вовремя дал тягу.

Ну и для чего я это записал? Да того ради хвастовства, что в дураках нас, Олексиных, пытаться оставить — себе дороже, господа. Себе дороже!..

(Сбоку приписано другими чернилами: Судьбы человека записаны в Книге Судеб. И моя — не исключение.)

Марса, 12-го дня

Думал, что дал тягу, но тяга-то как раз и осталась. И какая!.. Еле сутки выдержал, зубами скрипел, о дверь лбом бился, хотел уж просить, чтоб заперли меня. Ночь не спал, а с рассветом помчался в одном шелковом бешмете. И Лулу несла меня, как в атаку...

Признаться вам, что был на вершине блаженства? Ах, господа, господа, насколько бедным и пошлым оказывается язык наш, когда так хочется быть искренним безмерно! Сказать — «я люблю»? Мало, мало и еще раз мало! Я потерял и нашел себя одновременно, а это ли не состояние полного счастья? Это ли не познание, что в объекте любви вашей вы неожиданно обнаруживаете всех безмерно любимых вами женщин сразу? Вы открываете в ней и хрустальный родник страсти вашей, и нежность сестры, и великую заботу матери. Троица ваших самых главных, самых затаенных и вечных женских идеалов вдруг обнаруживается вами в одной, одной-един-

ственной, для вас созданной Богом отраде. Вы нашли! Вы готовы орать на весь мир, что идеал — тот, смутный, совершенный идеал женщины, заложенный с детства маменькой, сестрами, няней, — найден вами, ответил вам любовью, нежностью, пронзительным пониманием и заботой и глядит на вас счастливейшими, полными слез глазами, потому что вы тоже вдруг оказываетесь идеалом. Ее идеалом. Со всеми вашими лошадьми, пистолетами Лепаж, охотой с борзыми, бокалами вина, трубками, картами и храпом по ночам...

— *Fidelis et fortis* отныне девиз твой, мой рыцарь. *Fidelis et fortis* — на всю нашу жизнь.

— Верный и смелый. На всю жизнь запомнил.

...Верный и смелый, *fidelis et fortis*. И вы запомните, потомки мои. На всю жизнь запомните!

— Душа моя, ты мог простудиться. Ты же совсем недавно горячку перенес, а прискакал — в одном бешмете...

— К тебе я скакал. Ты — сила моя и здоровье мое. Ты, Аничка моя, жена моя, счастье мое...

Слеза с усов свалилась и чернила размазала. Ей-Богу. Четыре раза под дуэльными стволами стоял, а такого волнения не чувствовал. Кажется, я начал жить, господа. Не бессмысленно существовать, а считать минуты до свидания с тобой, любовь моя...

— Сколько ты не был на службе, душа моя?

— Девять ден сверх отпущенного. Не беспокойся, ангел мой, я рапорт напишу, что заболел, и не солгу в нем ни на полслова. Я ведь и вправду заболел. Радугой твоей заболел. Краснухой, белухой, зеленухой — что там еще в твоей палитре?..

— Отец не даст нам свидания и расвирепееет еще больше, если ты станешь его просить. Расстанемся на месяц, душа моя, хоть и слезами горячими обливается сейчас мое сердце.

Я все расскажу маменьке, она поймет и объяснит отцу. А тут приедешь ты и...

Я спорил горячо, я умолял ее, я заклинал ее нашей любовью, я находил неотразимые аргументы, но все было тщетно.

— Докажи свой девиз, мой рыцарь. Докажи свой девиз.

И она права, господа, права. Граф должен откричаться, отплеваться и отрыкаться пред первым появлением жениха...

Марса, 22-го дня

— Эскадрон, слушай команду!..

Опять я на плацу. Прислали неумех из деревень, пять лет им вдалбливали уставы и наставления, армейский порядок и команды, но для того, чтобы сделать из них конных егерей, еще лет пять понадобится, никак не меньше. Два года их грамоте учили, как положено, по четыре часа в день. Нужное дело, очень нужное, однако мне, эскадронному, от этого не легче.

— Подтянуть стремена всем, кроме головного!.. Учебной рысью... ма-арш!..

Нас тоже в Корпусе гоняли. Так гоняли, как солдатикам и не снилось. Ночные тревоги — два-три раза в месяц, и всегда в разные дни недели, чтобы мы не вычислили их заранее. А спать давали мало: летом — шесть часов, зимой — на полтора часа больше. И только разоспишься, бывало, вдруг — рев:

— Тревога!..

Вскакиваем, спросонья лбами стучаясь. Кое-как мундир натянешь и — бегом-бегом! — в строй. Лошадей по ночам не будили: их, видите ли, командиру жалко было, а нас, мальчишек, — нисколючки.

— Пеший по-конному! С места, рысью... ма-арш!..

Старший воспитатель наш капитан Пидгорный и впрямь на учебной рыси трясется в привычном седле, а мы грохочем ботфортами по мерзлой земле. Одной правой рукой отмахив-

ваясь, поскольку левой приходится палаш придерживать, чтобы он в сонных ногах не запутался. Только приноровишься...

— Эскадрон, слушай команду! Учебным галопом!..

Это значит — вприпрыжку. Скачем вприпрыжку: мы же не дети дворянские, не люди даже. Мы — лошади...

И скачем, как лошади. Пот — градом. Я однажды не выдержал да и заржал, вдруг жеребцом себя ощутив. Двое суток карцера — на хлеб да воду. Доржался...

Вот тогда и решили мы наиболее злостному мучителю нашему капитану Пидгорному отомстить. Обидно нам стало: он-то — верхом на коне, а мы — на своих двоих. Он, когда дежурил, в отдельной комнате флигеля ночевал. Отмучает нас месяц, потом на неделю к семье на отдых отъезжает, а на его место — другой, потом — третий, но эти как-то почеловечнее были. Отдыхать во время скачек наших безумных позволяли, а шутки смехом даже приветствовали:

— Молодцы, кадеты! Не унывать!..

Капитан Пидгорный совсем из другого теста испечен был. За что и поплатился.

...Впрочем, кто больше поплатился, признать весьма затруднительно. Весьма...

Денщиком у мучителя нашего капитана Пидгорного старый унтер служил, большой любитель выпить. Задумав мечь мучителю нашему, мы с того начали, что раздобыли дегтю, развели его скипидаром пожиже и в складчину купили штоф особливо забористой водки. Сургуч отбили, пробку аккуратно вытащили и добавили туда маку, из булок его наковыряв. Нам на ужин булки с маком давали, чтобы мы засыпали покрепче да поскорее и снов, вредных для возраста нашего, не смотрели по ночам. Да, добавили в штоф маку, заткнули пробкой и снова залили сургучом. Настояли несколько дней, а потом преподнесли унтеру, для того якобы, чтобы он глаза на наши карточные игры прикрыл. Он глаза прикрыть обещал, мы в разведку Андриюшу Корнева отправили — ловкий да проворный мальчик был, насмерть разбился, неудачно из седла вылетев на пре-

пятствии вскорости после этого, — и Андрюша доложил, что унтер штоф тот до конца опростал да и свалился в храпе сотрясающем.

Вот тогда и настал наш час. Меня в диверсию ту не включили, слишком уж громоздким посчитав, но я с Андрюшиных слов все знаю в точности.

Капитан-мучитель крепким сном отличался, и об этом уж мы давно проведали. Да и чего ему было сладко не спать: унтер — проверенный, растолкает, когда надобно. А унтер в ту ночь нами в командировку в объятья самого Морфея был своевременно отправлен, и путь таким образом оказался почти открытым настезь. «Почти» потому, что капитана, не дай Бог, могла блоха не вовремя укусить или присниться что-либо беспокойное вроде прелестной девы или супостата с клинком окровавленным.

Но ничего особо волнующего ему, видать, не приснилось, и избранная нами тройка во главе с Андрюшей не только безопасно миновала прихожую, в которой унтер храпел, но и пронесла ведро с жидким дегтем в самую обитель капитана. И беззвучно перелила этот деготь в оба капитанских ботфорта. После чего столь же беззвучно вынырнула во мрак ночной.

Вот тогда уж моя очередь настала. Пока соратники мои отважные от дегтярной улики избавлялись, я возле конюшен стожок гнилой подстилочной соломы поджег. Ни за что бы не поджег, если бы заранее под него добрую охалку сухого сена не подсунул. Но я своевременно подсунул и своевременно поджег. А пока разгорался стожок, успел до казармы добежать, раздеться и под тощее одеяло нырнуть.

Раздымился стожок тот на славу. И когда дежурный конюх, нюхом дым почуяв, а ушами — что лошади заржали тревожно, сообразил, выбежал да и заорал: «Пожар!..», мы тут же все раздетыми во двор высыпали:

— Горим!.. Караул!.. Пожар!..

Орали так, что капитан не мог не проснуться. А проснувшись и сразу уразумев, что и вправду дым возле конюшен, с

ходу, как привык, обе ноги одновременно, по-кавалерийски сунул в ботфорты...

Стожок тот мы сразу же и потушили, как только вопль капитанский наших ушей достиг. Мщение состоялось, виновных не нашли, но месяц нам покоя не давали. И пеший по-конному, и конный по-пешему, и прусский шаг на плацу, и побудки не ко времени, и бешеные скачки без седла через все мыслимые препоны. — все было.

Вот тогда-то наш Андрюша и погиб на препятствиях...

...Мщение — дурное, неподобающее благородному человеку занятие. Бессмысленная сумма злобных обид души вашей, внутренним ядом травящая, потому никогда и не копите никаких обид. Никакое зло не стоит того, чтобы нянчиться с ним, лелея в душе своей. Добро следует помнить, хранить его и с ним жить. С добром, а не со злом. И уж тем паче не с мечтами о мщении. О любви, мире да согласии мечтайте всегда, дети мои, и потомство ваше будет веселым, добрым, спокойным и здоровым. Уж простите старика за нудное нравоучение, но друга дорогого я на сем мальчишестве потерял...

Служу, будто пудовые вериги таскаю, только в комнатенке, что снимаю у почтеннейшей Марфы Созонтьевны, душой отдыхая. В Офицерском собрании не отдохнешь: зубы стискивать приходится, слыша разговоры приятелей. Шесть пошляков на пять подпоручиков и четыре — на столько же капитанов. И как я раньше не чувствовал этого? В разговоры их не вслушивался, что ли? Нет, и слушал с жадностью, и сам был рад поведать что-нибудь этакое, позабористее, с перчиком. А теперь — ну надо же! — улыбаюсь, как удавленник, и зубы сжимаю, чтоб не заорать: «Да как же вам не совестно, господа офицеры? Да о маменьках своих вспомните, в муках вас выносивших!.. О сестрах своих невинных, в вас идолов со младенчества видящих!..» Но — молчу. Презираю себя за молчание свое и — молчу.

Потому молчу, что Аничке слово дал молчать. В офицерской среде исстари слово к пощечине приравнивается, и тут уж барьера не миновать, коли что необдуманное брякнешь. Но не барьера я боюсь — никогда, слава Богу, я его не боялся, — я слово нарушить боюсь, вот ведь какой камуфлет получился неожиданный...

... — Душа моя, обещаю тебе, что не будешь рваться к барьеру. Ты уже доказал свою отвагу.

— Аничка, честь офицерская...

— Осиротишь меня и погубишь, Саша. Я уже тебя выбрала, и замены этому и во всем свете не сыскать.

— А наша честь с тобою?

— Подумай сперва, Сашенька, солнышко мое, свет ты мой единственный...

Подумал. И слово дал, не каменный. И девиз, коим Дульсинея моя меня наградила, помню. И — покуда держусь.

Ах, как дни тянутся! Боже ж ты мой, как они канительно тянутся. Прежде, бывало, вскачь неслись.

Даже в карты стал играть по-иному. Не то чтобы осторожничать — кураж поймал, тут уж не до осторожности! Но так играть стал, будто за спиной у меня — семья. Жена ненаглядная моя, дети милые. Спиной их ощущать начал, даже оглядываюсь иногда...

— Что это вы вертитесь, поручик? Вы в карты свои глядите.

— В свои я всегда поглядеть успею, майор. Мне бы ваши узнать желательно.

— Наглец ты, Сашка. И помрешь наглецом.

— Только бы не...

Перестал я, Аничка, такие фразы рифмой завершать, помня глазки твои умоляющие...

— Дама моя — всегда червовая, господа. По ста рублей.

— Бита. Не твоя червенная дама сегодня, Сашка.

— Ан и нет, всегда. Две сотенных на нее же.

И что вы думаете? Банк срываю. Грошовый, правда, банк.

— Ну, везет Олексину! В первом круге отыгрался...

— Если бы отыгрался. Опять у меня полста увел, подлец...

...Чтобы знали вы, далекие потомки мои, игроки делятся на три разряда. В первом разряде — мычащие: обремененные семьею, скупостью своею или собственной, от природы данной нерешительностью. Играют с осторожностью и — по маленькой в полном равновесии с собственным куражом: плюс-минус червонец за весь вечер. Попоек избегают (ну разве что за чужой счет), бесед складывать не умеют, читать не любят, а время как-то убивать приходится.

Разряд второй — молчащий: волки. Играют только ради выигрыша, на который и живут. Толк в игре понимают, а наипаче того — самих игроков. Не чураются и передергиваний, коли куш велик, а карта не идет. И колода у них в подборе, и пятого туза, когда надо, из-под манжета вытянут, и ненужную карту обшлагом прикроют. А уж коли за руку поймали, так только, господа, не к барьеру! Только не к барьеру! Бейте от души, хоть подсвечниками бейте. И бьют их регулярно по всей России, а что толку-то? Не переводятся они, как клопы. Так что и на вас мерзавцев этих, дети мои, вполне достанет. А третий разряд — рычащий. Пленники азарта своего. И выигрышам рады, и проигрышем не весьма огорчены: сам азарт питает их силою своею. И только его ради и садятся они к ломберным столам с горящими глазами и великим нетерпением. Здесь судьба и нервы взвинтит, и улыбнется вдруг, и вокруг пальца обведет, когда не ждешь. А кровь твоя бурлит, сердце бьется, ты — живешь, и море тебе по колено! Здесь — кипение страстей человеческих, здесь испытание чести твоей, здесь игра королей, а не валетов, как в первом разряде, и не шестерок, как во втором.

Премудрость сию мне впервые Александр Сергеевич Пушкин поведал. В Кишиневе, когда мне едва осьмнадцать

минуло. «В этом тоже своя поэзия, Сашка, — втолковывал мне он. — Экзамен страстью рока своего...»

Потому и невмоготу мне вскорости стало лениво и бесстрастно в картишки перебрасываться в разряде первом. Я уж и ставки поднимал, и ради куража ва-банк объявлял при полном лове, но гнилой костер и порохом не подожжешь. И — затосковал я. По настоящему азарту затосковал, по тому, который Александр Сергеевич с поэзией на одну доску ставил. И — грешна душа человеческая! — не сдержал собственной клятвы. Обещания собственного не сдержал. Прощения у Анички в душе испросил и вернулся в разряд рычащий.

— Сашка!.. — заорали brave новгородские конноегерцы (я тогда в том полку лямку тянул). — Уж слух прошел, что тебя твой батюшка-бригадир наследства лишит обещаеся?

— Верный слух, — говорю. — А потому — по банку с ходу. Кто держит? Ты, Затусский?

— Я, предатель братства нашего, я.

И что вы думаете? Срываю банк, едва за стол усевшись. А в банке — без малого тысяча рублей ассигнациями. Но голова не закружилась, потому что закон знаю: коли давно не рисковал, судьба твой риск благословит. Она потом отыграется, когда тебя в свои объятия заполучит со всеми шпорами твоими. Осмотрительности лишив, голоса внутреннего, а порою и здравого смысла.

Ах, какая игра была! Восторг, шум, крик, страсти, извержение Везувия, за шампанским три раза посылали. Но в тот вечер судьба ко мне благосклонной оказалась, как никогда доселе...

И я от благосклонности этой малость самую размягчел. Удила отпустил, вольную душе выписал и на штурм банка бросался порою и без малейшего шанса, единственно на удачу уповая. Рисковал безумно и безмозгло, как никогда доселе не рисковал, и на третий вечер проигрался до дыр во всех карманах. Все, что до сей поры выигрывал, — проиграл, свои день-

ги, что были, тоже проиграл, а сверх того — еще семь тыщ. Дал слово подполковнику Затусскому, что в десять дней верну до копейки, и наутро поплелся к командиру нашего лейб-гвардии Новгородского конно-егерского. Или, как его в других полках называли, «картежно-ернического».

Тащился и казнился, как никакому преступнику не снилось. Пред Аничкой своей казнился, убивался, мысленно из Новгорода к ней на коленях полз, туфельки ее целовал. «Прости, любовь моя, дорогая моя, жена моя. Повинен я, грешен я, и подл я. Все я сознаю, всю глубину падения своего, Аничка, не по плечам мне еще девиз, тобою дарованный: «Fidelis et fortis», нет во мне ни верности, ни смелости жить порядочно и достойно. Довлеет азарту натура моя порочная, авантюрам довлеет, безмозглому риску довлеет, знаю, чувствую, казнюсь и страдаю. И все же клянусь тебе, любовь моя единственная, что добыюсь я права осмысленно и гордо носить присвоенный мне тобою, Дамою сердца моего, девиз великой верности тебе и отчаянной смелости в защите верности этой. Клянусь, потому что всю жизнь любил тебя, искал тебя, мечтал о тебе и — нашел...»

Нашел!..

Помнится, я даже остановился, сам не поверив, что так оно и случилось. Великой силой обладает искренность, потому что в какой-то миг полного откровения срывает вдруг все покровы с трусливой памяти нашей и обнажает родники наших истинных чувств. Вот потому-то церковь так настойчиво, упорно и постоянно и требует от нас, грешных, молитв: она знает, знает о могучей силе девятого вала бездонной искренности души человеческой, вала, рожденного покаянием нашим искренним. Знает, что искреннее покаяние это в конце концов поднимет в душе нашей, азартом издерганной, изолганной, пропитой и прокуренной, чистые источники детства, доселе замутинные взрослым расчетливым враньем, привычной, обыденной ложью, подлостью, трусостью, предательством друзей и идеалов юности, сделок дешевых с собственной совестью. Только ребенок божественно искренен, господа, только его душа хрустально чиста и непорочна! И только искреннее раскаяние способно

вернуть наши испоганенные ложью души в сияющие чертоги нашего детства. Молитесь, господа, молитесь, ибо молитва есть проверенный и наипростейший путь к нашему собственному детству, а значит, и спасению, ибо душа наша воскреснет вновь...

Постоял, ожидая, когда молния озарения этого внезапного угаснет во мне, и поплелся дальше. И маялся, признаюсь, пока до канцелярии не добрал и к командиру полка не ввалился. Снова лгать и изворачиваться.

Полковник у нас был — отец солдатам, да отчим офицерам. На плац опоздаешь — на неделю выволочка. Солдат заболел — предупреждение. Не дай Бог, стряется что в эскадроне, когда ты за дружеским пуншем душу отогреваешь — в полковом офицерском собрании при мамашах дев премилых, — вслух и, заметьте, громко предупреждает:

— Этого в женихи не рекомендую.

А как мне слово данное исполнить, когда слух пробежал, будто отец меня наследства лишил? Никто мой вексель в Новгороде не примет ни под какие проценты: батюшкин характер знали не только в армии. Ну, и что остается? Остается мчаться в Петербург и умолять родного батюшку навет сей развеять, а заодно и спасти фамильную честь. И без отпуска из полка здесь уж никак невозможно было обойтись.

— Продулся?

— Вчистую, господин полковник. Только под честное слово из-за стола и выпустили.

— Обормот ты, Сашка, — вздохнул полковник. — Ведь, поди, пулю в лоб, коли не отпущу?

— А вы отпустите, Пантелеймон Данилович, — говорю нахально. — Вам же и мороки меньше. Сами рассудите, коли офицер застрелится — расследование, инспекция, неприятности.

Пошел я тогда ва-банк: он меня на службе по имени, и я

его на той же службе — тоже по имени. А что делать? Честь на карте, равная жизни честь.

— Не завидую я ни родителям твоим, Олексин, ни супруге будущей, если, конечно, сыщется какая ненормальная... — вздохнул полковник. — Скажешь там, что к врачу тебя отпустил. Ступай, горе ты полковое...

И помчал я в Северную Пальмиру тем же вечером...

19-е апреля

Не знаю, чем бы тогда дело обернулось. Может, и отцовским проклятием со всамделишным лишением наследства: он суров был настолько порою, что и сама милая матушка моя с ним совладать не могла. Вот о чем, помнится, думалось мне с горечью, когда трясся я по весенним ухабам, никакого выхода не видя. Только, на счастье мое, ямщики новгородские ушлыми были ребятками. Оглянулся на меня с облучка очередной Тараска, вцелился взглядом, будто насквозь прострелил, да вдруг и говорит:

— А что, барин, на первой станции прикажешь или лучше тебе на вторую?

— А чем, — говорю, — лучше-то? Дочка смотрителя уж больно хороша или самовар там погорячее?

— Веселее там, — говорит мой ямщикок-простачок. — Там завсегда господ много. В картишки перекидываются.

В картишки!.. Ошалел я: вот он, выход. А коли не выход, так все равно терять уж нечего. Ах, Аничка моя, помолись за своего непутевого!..

— Ко второй, Тараска!..

— Ну, залетные!..

Конечно, если бы денег и впрямь в тот момент в кармане моем не оказалось, вздохнул бы только: третий разряд — рывачий — без оных к столу игорному не садится, гонор не позволяет. Но аккурат утром сегодня на выезде из Великого Новгорода встречает меня не кто иной, как Мишка Некудыкин:

— Помолись за меня, Сашка. В добром питейном заведении.

И протягивает мне пять сотен.

— До подаваний, — говорю, — еще не докатился.

— Отдашь, когда куш сорвешь!

Нет, недаром в Наставлении об конноегерцах записано черным по белому: «Братъ в конноегерцы офицеров только самого лучшего проворного и здорового состояния...»

Миновали мы с Тараской первую станцию, остановились у второй, куда как малозаметной. Вошел в избу: никого, кроме любезного зрителя. И по масленой любезности его вижу, что мне и в самом деле уж очень обрадовались.

— Что прикажете, господин офицер? Обед, самовар?

— В тишайшую половину — бутылку рома и... сколько там рюмок сейчас?

— Рюмок?.. С вами — шесть.

— Вот шесть и подавай.

— Извольте шинель снять.

— Лихорадка бьет.

Снимаю саблю, как водится, а шинель запахиваю: у меня под нею пара пистолетов. Два туза на всякий случай, так сказать. И оба — козырные.

— Так печка там топится, ваше благородие.

— Вот от печки и потанцуем. Веди в тишайшую.

Проводит меня хозяин.

— Их благородие тут погреться решили.

Молча гляжу от порога, ноги очень уж старательно вытираю: тройка пройдох в партикулярной потертости, отставной майор, по виду — аматер («любитель») страстный, да молодой человек, счастье свое пытающий едва ли не впервые. Морды у пройдох шестерочные, у майора красная, у юнца — под лимон, хоть закусывай. «Липку дерут, — думаю. — Только лыко драть и лапти плести — не для одних рук дело». Представляюсь и — сразу к столу:

— Коль уж греться с дороги, так оно лучше — за картишками. Удача кровь разгоняет.

Поначалу этакого межеумка полкового изображаю: уж и не робкий, а еще никак не игрок. Понимаю, что троица эта, лихо в карточных баталиях потертая, разноцветных бедолаг потрошит. Однако не нахрапом, без наглости, на учебной рыси, так сказать. И я пошел той же рысью, галоп свой приберегая: и не следует резвость до времени показывать, и узнать желательно манеру их неторопливую. Майор с Лимончиком от собственных карт уж и глаз не отводят, а шестерки ко мне приглядываются. И я соответственно — к ним. «Проиграть надо, — думаю. — Непременно проиграть, чтоб был резон ставочку повысить».

— Сколько в банке?

— Одна сотня двадцать.

— Стало быть, с трети и начнем, помолясь.

Не играем — дубину пилим: раз к себе, другой от себя. За это время масти шестерок распределяю: кто из них пиковый, кто — трефовый, а кто и во бубнах и рожей, и повадками.

Смотритель ром приносит, а пока разливает, банк к Бубновому переходит. Румяному такому, с масляными глазками.

— За доброе знакомство наше, господа!

Не отказываются. У Трефowego — пожилого, хитренького, хихикающего — ручки подрагивают, когда с рюмкой соприкасаются. То ли сопьется вскорости, то ли уже спился.

А я, время не тратя, банчок Бубновому навариваю. Мягонько, чтобы не спугнуть до срока: «Ах ты!.. — дескать. — Хотел же другую заломить, вот невезенье!..» Ну, и так далее. Разные есть способы, и о них в нашем «Егерском наставлении» прямо говорится: «Егерь должен преодолевать все препятствия, какие только встретиться могут». Вот я и преодолеваю.

За третьей рюмкой банчок до тысячи поднял. Раскраснелись все, даже Лимончик. Он подряд два раза выиграл немного и на радостях новую бутылку потребовал. На руку мне: шестерки на рюмочки живее откликаться стали. Повздыхал, повертелся, посопел даже и... «Ну, Аничка, молись за меня...»

— Еще карту.

Аккуратно дал банкомет шестерочный трефовой масти, снизу. И рукава высоко поддернуты...

Туз пришел! Как виду не подал, сам удивляюсь.

— По банку!

Риск невелик: двадцать очков на руках. Но — против банкующего... Так, Бубновый свои картишки сразу бросил. Стало быть, знает, сколько там, у банкомета на руках...

Девятнадцать у банкомета! Но я — даже не улыбнулся.

— С кем не бывает, — говорю.

Чувствую кураж, чувствую! Пошла карта. Только бы не зарваться: теперь я банк держу.

Что долго-то расписывать: удержал я тот банк. Рубликов этак под семьсот. А следующий у меня майор сорвал, чему я, прямо скажем, обрадовался: и проигрыш невелик оказался, и майору, слава Богу, наконец-то счастье улыбнулось, и за бутылкой он послал на радостях своих.

Не люблю, когда отставных офицеров чина невеликого пройдохи обыгрывают. За ними семья, дети, хозяйство, а доходов — всего пенсия. Не люблю. Совестно мне всегда, даже когда не я в выигрыше оказываюсь.

Жрать было охота, кишка кишке атаку трубила. Но отказал я животу своему. Сытых кураж не любит.

...Держи кураж! Всегда держи кураж, чем бы ты ни занимался: в бою тоже свой кураж есть, и коли потерял его хоть на миг единый — быть тебе на земле. Тогда считай копыта над головой, покуда в сознании еще пребываешь. Было такое со мной, было, в Бессарабии еще, довелось считать. Слава Богу, хоть свои копыта тогда надо мною проносились. А ну как вражеские считать доведется?..

Ну, вот и по-крупному пошло после третьей бутылки: крапивное семя от дармовой выпивки не враз-то и оторвешь. Присасываются. Жалко мне их, которые вот так промышлять вынуждены, ей-Богу, жалко при всем их гнусном ремесле. Чин — в самом подножье российского Табеля о рангах, пен-

сии — грошовые и — не дворяне, как правило. Дети священников, солдат или вольноотпущенников, доходов никаких, а семьи — в рыдван не усадишь. Ну, ну, Сашка, кураж мягких не любит. Лучше отставного майора пожалей: опять проигрывать начал.

Вот так и канителились, ром попивая, но в выигрыше пока был только я. Правда, в основном за счет майора, к сожалению, и дворянчика Лимончика. Но я ждал своего часа, с надеждой ждал по мере того, как убывал ром.

Светать стало, все уж устали, но никто пока о конце сражения не заикался. Все в раж впали: дворянство — в сладкой мечте хотя бы проигрыш вернуть, крапивное семя — в сладкой надежде меня объегорить. А я им подыгрывал, как только мог. И зевал, и кряхтел, и подремывал, и жаловался на усталость с дороги.

Вот это их и погубило: осторожность потеряли. Незаметненько и этак аккуратненько появились картишки из другой колоды, рубашка которой отличалась столь малозаметными нюансами, что на рассвете да еще после рома углядеть ее было за гранью сил человеческих. Но я углядел, потому что по опыту знал: непременно появится. Углядел, но виду не подал, не ко времени было вид подавать. Прощельги в проигрыше, им бы не в мой карман целить, а свое вернуть, да и подавай Бог ноги, пока мы не очухались. Но сия единственная здравая мысль покуда что в головы их не всеялась. Их другое держало — ажитация. Банк был маловат для последнего куша. Ждали они его, ох как ждали!..

Но и я ждал. А как банк за пять тысяч перевалил, душой услышал, что труба пропела. «Ну, Аничка моя, молись в сладком сне своем!..»

— По банку.

— А есть чем ответить, господин поручик? — высунулась вдруг пиковая шестерка.

Мрачный субъект. И глаз пронзительный, и сам черный, как цыганенок. Но, видать, глуп, потому как допустил целых две промашки. Во-первых, признался, что они уже выигрыш считают, а во-вторых, повод мне дал для справедливой ярости.

— Как смеешь мне, офицеру, недоверие выказывать? — гаркнул я. — Да я за меньшее к барьеру приглашал!..

Поднялся шум, начались извинения; просьбы. Я ерепеньюсь, краску гнева праведного изо всех сил на усталом своем лице вызываю, ору, а сам поглядываю, что их руки в этот момент делают. Чем заняты... И вижу, отчетливо вижу, что Бубновъй, урвав миг, в карман полез, вроде как за платком.

— Ва-банк! — рявкаю. — И чтобы без намеков, оскорбительных для чести моей!

Рисковал? Еще как, но почему-то верил. Верил, что дама придет: у меня на руках аккурат восемнадцать было. И не обманула меня дама моя, пришла на дорогое — под шесть тыщ — свидание!..

— Очко!

— И у меня очко, — говорит банкомет и гаденько этак улыбается.

По правилам — он выиграл. И выиграл бы, коли бы по правилам играл. Но я-то приступ ярости не зазря закатил. Чуть было глаза не сломал, за их руками приглядывая: уж больно шустрые ребятки попались. И лапки цепучие, и глазки липкие пронзительно. И банкомет уж за деньгами тянется.

— Цурюк! — командую. — А ну-ка карты — рубашками кверху.

В три глотки заорали:

— Не по правилам!.. Не по совести!.. Прав таких не имеете!..

Тут-то я пистолет достаю и звучно курком щелкаю:

— Рубашками кверху, я сказал. Раз!..

«Два» и говорить не пришлось: сам банкомет перевернул дрожащими руками. И примолкли все.

— Света, майор.

Майор канделябр придвинул, взгляделся:

— Ах, сукины дети!.. Рубашки-то разные.

— Разные! Разные!.. — Лимончик аж ручонками всплеснул.

— Стало быть, и выигрыш мой, — говорю. — А за

плутовство — все доли партнерам вернуть. Все, до копейки! И мне — тысячу за расстройство мое.

— Не пойдет такое! — всполошился, вскочил даже Пиковый. — Хоть убейте, не...

Пальнул я в потолок. Он сразу сел, все замолчали, и смотритель в одном исподнем вбежал:

— Что такое? Грабят никак?..

— Гони за исправником.

— Не надо, не надо, — забормотал Бубновый. — Мы согласны на мировую, согласны. Сколько должны, господа, все — до копеечки, до копеечки... Без шума желательно нам.

— Мне тысячу, — напоминаю. — За консоляцию.

Отсчитали трясущимися руками. И дворянчику Лимончику, и майору, и мне — ровно тысячу сверх выигрыша. Когда рыльца в пушку, за деньгами не постоишь.

— Извините, господа, извините. Бес попутал, истинно бес попутал. Благодарствуем вам...

И в двери ринулись, друг другу мешая. Уж кто-кто, а исправник им — совсем не в масть...

Я на них не смотрел. Я на майора смотрел: слеза у него по щеке катилась. Видно, все семейные сбережения бедолага в чужие карманы спустил...

— Как же я вам благодарен, господин поручик. Как же я благодарен вам...

Позавтракал я и плотно, и весело: Лимончик на радостях угощал. Поблагодарил их, попрощался да сразу же и выехал. В Новгород, думаете? Как бы не так. К петербургским врачам, согласно письменному распоряжению полкового начальства, выехал. С десятью тысячами в кармане. В полном своем *avantage* («польза, выгода»). Завернулся в шинель, ноги полостью прикрыл и постарался все забыть...

Только 24-й день апреля никогда не забуду.

Но о нем — потом. Сперва — о Санкт-Петербурге. Записи в Новгороде оставил, а потому, стало быть, задним числом.

Сказать по совести, не люблю я Санкт-Петербурга со всеми его дворцами, мостами, проспектами и прочими красотами. Воды уж слишком много, сырости, насморка. Скользкий он для меня, как погреб, вокруг которого — сплошные казармы с фронтонами. Строили его из-под батога, а потому все в одну линию и выстроили. И дух насилия витает над прямыми проспектами: и хочется хоть куда-нибудь завернуть, а — не получается. Градостроители постарались, чтоб все только прямо и ходили фрунтовым шагом.

Впрочем, я и Москву не люблю, если уж начистоту. В молдавских кодрах мне как-то муравейник показали, который вокруг дуба расположился да и подмял тот дуб под себя. Вот тогда-то я о Москве и вспомнил. Не о той, которую в древности с веселья да похмелья строили, а о той, что получилась. А получился бабушкин клубок, настолько перепутанный да закрученный, что москвичи только тем и занимаются, что друг у друга дорогу спрашивают. Здесь и вольно, и хмельно, и всегда тесно, как и должно быть в запутанном котенком бабушкином клубке. А Кремль что тот дуб в молдавских кодрах, до гордой своей вершины облепленный муравьями.

Нет, господа, я — провинциал. Я душой отдыхаю в наших маленьких и неспешных городках, где нет ни шпалерных проспектов, в которых невольно и до сей поры свист шпицрутенов слышится, ни замысловатых арабесок муравьиного самоутверждения, ни людских скопищ, вечно спешащих неизвестно куда и неизвестно зачем. Здесь тихо, покойно, патриархально, неспешно, все друг друга знают и все друг с другом здороваются. Я бы в таком городке помереть хотел, кладбища там малонаселенные.

А еще потому я Москвы не люблю, что в ней судьба моя переломилась. Не решил еще, правда, к лучшему или к худшему, но в этой вечной дилемме и заключено наше отличие от тварей земных.

Закончил я в Корпусе младше всех: мой батюшка — служака из служака, а потому и запихал меня на службу в возрасте, когда еще маменьку по ночам зовут. Семнадцать мне едва исполнилось, когда я в чине прапорщика гвардии прибыл

на пополнение московского гарнизона. И по утрам, признаться, то место щипал, откуда усы растут. С редкой настойчивостью.

Служить бы мне в первопрестольной, служить да не тужить, но так уж случилось, что моим первым ментором оказался гвардейский хрипун Васька Турицев. Учил он меня без затей, поскольку сам о них не ведал, зато надут был спесью, которую я по недоношенности ума своего принимал тогда за первейший признак особой комильфотности. Глупость вполне прощаемая, коли не переходит в хроническую. Мне повезло, могла и перейти.

Подробностей не знаю, а потому — без них. Васька люто взъерепенился по поводу категорического отказа какой-то белошвейки и решил преподать мне пример, как противостоять подобному à tout prix («во что бы то ни стало»). Правда, цена оказалась куда как выше предполагаемой.

— Ну, попляшет у меня эта девка!

Поскакали мы куда-то вечером: куда — и не спрашивайте, и не знаю до сей поры. Молодость спокойно обходится не только без логики и размышлений, но и без географии, почему всегда влипает в истории. Вечер теплый, все прелестно, я чирикаю, поскольку возрасту моему свойственно чирикать.

— Учись защищать свою честь офицерскую, пока я жив, — втолковывал мне Васька всю дорогу. — По чести офицера ценят, нет у нас иных козырей...

И тут из-за угла появляется некая испуганная парочка. И робко так, застенчиво и неуверенно к забора姆 жметя. Девушка мила и юна, молодой человек, спутник ее, неестественно напряжен и как бы вроде меня. То есть без усов еще и опыта. Мой *arbiter elegantierum* («законодатель изящных манер») тут же заступает им скромную тропиночку и вдруг — весьма нагло:

— А ну-ка, котик, брысь отсюда.

Клянусь, меня передернуло тогда. Но промолчал в жажде дальнейшего обучения.

— Сударь, — тихо говорит молодой человек. — Очень прошу оставить мою сестру в покое.

— Ах твою кошечку, котик? — издевательски продолжает Васька. — Дьявольски мило, но, слышал я, у тебя дела неотложные? Хочешь, на извозчика дам?

— Сударь, — сдерживаясь изо всех сил, говорит мой ровесник. — Я прошу убедительно.

— Убедительнее всего — трость. Трость есть аргумент неотразимейший.

С этими словами Васька поднимает трость и с силой бьет ею по лицу молодого человека. Поразительно, но юнец даже не загоразживается от удара, а дева слабо вскрикивает.

— Опомнитесь, сударь, прошу. К большому сожалению, я не могу вызвать вас на дуэль, потому что вы не рискнете драться с недворянином, а посему...

И тут с Турищевым происходит нечто вроде припадка. Он впадает в иступление и бьет тростью молодого человека по рукам, по лицу, по голове...

— А посему!.. А посему!.. А посему!..

— Вы заставляете меня прибегнуть к крайней мере!..

Выкрикнув это, юнец вытаскивает откуда-то из-под сюртука пистолет. Васька отскакивает, девица кричит, а юнец представляет пистолет к собственному виску.

Как я сумел ему помешать, и до сей поры не понимаю. Но успел броситься вперед, сбить руку. Выстрел все-таки грянул, но пуля ушла в воздух. А я... все помнится ясно и туманно одновременно. То есть физические действия могу и сейчас повторить, но вспомнить, о чем думал, — excusez-moi, s'il vous plaît («извините, пожалуйста»). Вырвал пистолет у цивиличного брата таинственной белошвейки и со всей силы ударил Ваську Турищева кулаком по физиономии.

Тут уж без дуэли обойтись никак не могло. Через два дня, в Серебряном бору. Дуэль под номером один для меня. Я впервые целился в живого человека, и оружие показалось мне тогда слишком тяжелым. Но в ногу я ему все же попал. Не мог не попасть, должен был попасть, обязан был. Хотя бы в ногу.

А Васька в небо выстрелил, подлец. И крикнул:

— Бога благодари, что понравился ты мне! Эскапада твоя
человечна! Ценю!..

И через десять, что ли, дней я поехал в изгнание. В пыльный город Кишинев...

...Не могу не поведать о следующем времени своем. И потому, что наградил меня Господь добрым приятельством, и того ради, чтоб наследники мои чужих писем, а уж тем паче воспоминаний не листали похвальбы для. Вот, мол, глядите, кто в Кишиневе батюшкиным ментором оказался.

Но это не совсем так. Ментором моим он не был. Он для начала до седьмого пота меня фехтованию учил:

— Ассо, Сашка! Ассо, и всегда ассо!..

Фехтование и в наши дни забывается, шпагу пистолет заменил, а в ваши времена, дети мои, поди, оно и совсем в небытие уйдет. Только дуэли сберегите, а то в мерзости захлебнетесь. «Есть упоение в бою...» И от себя добавлю: и очищение. Извини, Александр Сергеевич, за вольное мое добавление.

Да, чтоб поняли. «Ассо» — встречный бой. Любимый бой учителя моего.

Никого я не знал в Кишиневе, ну решительно. Правда, батюшка мне письмо дал к старому другу, но письмо то я ему не показал. Не следует жизнь отцовскими памятными плитами мостить, даже если они из доброго гранита.

Да, так оказался одиноким, но дерзкая мальчишеская гордость не позволяла мне ни на знакомства напрашиваться, ни каких-либо покровителей искать. Остановился у Беллы — она держала гостиницу и пансион при ней, и я обосновался в пансионе. Временно, пока мой Савка не подберет мне самостоятельное жилье.

В том пансионе старшей оказалась болгарка Светла — светлое имя и светлые воспоминания мои. Мне ведь едва

семнадцать минуло, и хотя сына уже прижил, а все равно пока еще девственником себя ощущал. Не то чтобы волочить-ся — флиртовать с девицами своего круга не решался. Дух у меня замирал и язык прилипал к гортани: корпусное обучение сказывалось, что ли? Словом, этакий оболтус саженного росту с соответствующей росту этому робостью, которую я изо всех сил и весьма неумело скрывал, коли случай какой сталкивал меня с дамами, а уж тем паче — с барышнями.

А со Светлой мне пыжиться было ни к чему. Мила она была мне, застенчивости никакой я пред нею не испытывал, она — тоже, и... И — вечная ей благодарность и признательность моя. Скрасила она мои первые тусклые вечера, ра-створила в ласках неуверенность мою и помогла понять и осознать, что такое — мужчина. Не раздираемый яростью плоти барчук, каким я маме Луше представлялся, а — кавалер, который способен присниться, и рыцарь, которому можно до-вериться.

...Никогда не забывайте добра, с коим свела вас судьба по дороге. Добро достраивает душу вашу, тогда как зло всегда лишь разрушает ее. А посему и недостойно того, чтобы по-мнить о нем...

Приписали меня к канцелярии заместника Бессарабии ге-нерал-лейтенанта Инзова Ивана Никитича. Службы — ут-ром явиться, а дальше — как знаешь. И, помаявшись от та-ковой деятельности, забрел я как-то в фехтовальный зал.

Признаться, фехтованием я не увлекался. В детстве, по-мнится, батюшка меня основам учил: как рапиру держать, как салютовать перед началом схватки и в конце ее, пяти позициям фехтующего да некоторым простейшим приемам. Он уже при-нял тогда твердое решение меня в Корпус определить, а потому к профессиональным учителям и не желал обращаться, справед-ливо рассуждая, что в Корпусе сына его все равно по-своему переучат. И оказался прав совершенно: в Корпусе фехтованию каждый Божий день учили, но отнюдь не на шпагах, а на саблях. Учили тому, что в будущей офицерской службе будет просто

необходимо, поскольку готовили из меня кавалериста. Но звон клинков в уши запал, почему я на этот звон и пришел.

В зале один цивильный в красной феске на бритой голове с местным подмастерьем сталью лязгал. Мне, гвардейцу, признаться, маленьким он показался, но складненьким и проворным, как обезьянка. И поначалу встретил он меня как-то неприветливо, настороженно, испуганно даже. Дней десять понадобилось, чтобы, как говорится, *la glace est rompue* («лед сломан») был. И после первой улыбки его при звоне рапир, после взаимного обмена победами и поражениями перестали мы прибегать к помощи наемных учителей.

— Дебаже показываю, Сашка. Смотри: в атаке отводишь шпагу от клинка противника, освобождаешься и... и — укол!..

Александр Сергеевич Пушкин. Такой же ссыльный, как и я, хотя и по иным причинам. Тогда мало кто о нем знал из широкой публики, а уж гвардейцы вроде меня — и подавно. Это потом, потом знакомцев, метивших в друзья, появилось куда как много. И куда больше, чем требовалось. А мы быстро стали добрыми приятелями: оба не по своей воле тут оказались и оба — молодцы и — земляки, как вскоре выяснилось. Он не так чтоб уж очень намного старше меня был. Совсем не так уж: я до двадцати, а он — за двадцать. По годам, разумеется, считаю, только — по годам.

А вот почему он столь неприятно встретил меня тогда, я понять не мог. Странно то мне было и — неприятно, если признаться. Но — не расспрашивал, а он о другом болтал.

— Разве у меня — профиль? У меня — ростра корабельная. Это ты — Антиной, когда нос не задираешь.

(Косо и торопливо: Дьявольщина, шаги в передней. Не иначе как батюшкин посланец за мною приехал. Отложим бумаги...)

И уже много дней спустя, поскольку вечера того 24-го никогда мне не забыть...

Батюшка у меня — кремень и огниво одновременно, но я у него единственный, и мы оба об этом помним очень хорошо.

Может он меня без наследства оставить? Без всякого сомнения: старой закалки, екатерининской. За первый офицерский чин подарил мне деревеньку от щедрот своих, но с нею одной может и куковать оставить на всю мою дальнейшую жизнь. А деревенька та — знал бы он! — уж и распродана по кускам, и заложена в целом...

— Ну, что скажешь? — спрашивает. — С полным ремизом во всех талиях?

Это в момент, когда я к его надушенной ручке приложился: так уж у нас заведено было, то ли по старинке, то ли воспитания моего ради. Но взгляд его уловил. Суровый взгляд, надо сказать, как при штурме Рымника. Ладно, думаю, сейчас потеплее станет.

— Ан и нет, — говорю, нахально улыбаясь. — С таким позором я бы и в людскую заглянуть не решился.

Уж так мне рукой лоб прикрыть хотелось, так хотелось. Но помнил я, что батюшка про эту воспитательную меру отлично знает, а потому — терпел и не прикрывал.

— А что на депешу, мною полученную, скажешь? — батюшка с прищуром спрашивает.

— Это насчет семи тыщ под олексинское слово? — нагличаю, аж самому совестно, потому как мысль засвербила: «Это ж какому подлецу в голову пришло депешу послать?..» — Так слух тот я сам и распустил. Только ради того, чтобы вас с матушкой повидать. Я, батюшка, карты за версту на рысях объезжаю, лишь бы вас не огорчать.

Признаться, жду не дождусь, когда рявкнет: «Лгать не смей!..» Вот тогда и выложу все десять тузов одной червенной масти. Но он не орет, а улыбается.

— А командир твоего конно-егерского обратное утверждает в депеше своей.

Тут уж я соображаю, что пора пришла — по банку:

— Вот, батюшка, десять тысяч, что вы мне на Рождество пожаловали.

Пересчитал он. Хмуро и старательно, пальцы мусоля. Он совсем не скряга, он широкой души старик, но уж очень ему

хотелось меня приструнить. Поди уж и сочинить успел, как именно приструнивать будет. Кинул мне мои же деньги, буркнул:

— Дерни сонетку.

Дернул. И тотчас же на звонок матушка вошла: условились они так, видимо.

— Сашенька! Сыночек ты мой!..

— Вот, Наталья Филипповна, пред вами личность, нашу дворянскую честь в грош ломаный не ставящая, — вдруг радостно этак объявляет мой родитель. — Воспитали скупердя себе на позор. За четыре месяца и трех тысяч прокутить не решился!..

Такой уж нрав. Никогда не угодишь.

— Стало быть, у вас будет о чем порассуждать у Сергея Васильевича сегодня вечером, — улыбается матушка и целует меня еще крепче. — Похудел-то как, Сашенька...

— Большой эконоом! — тотчас подхватывает мой родной бригадир. — Но вечером непременно пойдет с нами, чтобы я мог похвастать сыном не за глаза.

— Куда?..

И упало мое сердце на самое дно правого ботфорта. Будто предчувствие.

— К Сергею Васильевичу Салтыкову, — с доброй улыбкой поясняет маменька. — Уж такой хлебосол...

Улизнуть не удалось. Поехали к хлебосолу.

Правда, там не задержались. Потолкались в прихожей, родительница радостно целовалась, родитель добродушно ворчал, руки пожимая, а я — кланялся старшим, поскольку до молодежи и бокала, а уж тем паче — до карточных колод еще не добрался. Но твердо решил добраться, чего бы это мне ни стоило. Очень уж хотелось отцовские прилюдные шуточки святой истиной изукрасить.

Да не судьба. Только в залу шагнули, только я общий поклон отдал, только глазами окрестности обзрел...

— Подлец!..

Глянул и обомлел. Граф передо мною. Лично, в полный

свой рост. Лицо в пятнах, руки дрожат, и голова как-то неестественно назад откинута.

— Это — подлец, господа! — нервным фальцетом продолжает выкрикивать граф. — Принимать не рекомендую! Ни в коем разе! Решительно не рекомендую!..

И с размаху влепляет мне пощечину. Звонко и хлестко. У меня искры из глаз, рука сама собой сразу вверх взмыла... И опустилась по швам. Дело не в почтенном графском возрасте: не мог же я Аничкиного отца родного... Поэтому и о барьере промолчал, растерянность и оскорбленное удивление свое из последних сил изображая. Правда, недолго, по счастью.

— Завтра жди моих секундантов. Простите, Бога ради, гнев мой праведный, бригадир, и вы, почтеннейшая Наталья Филипповна. Имею основания.

Ушли мы, естественно. Но молчания, которое мне и отцу вытерпеть пришлось, я никогда не забуду. Матушке куда легче было тихие слезы лить, чем нам языки прикусывать.

В карете она и вовсе в голос разрыдалась, так ее в дом и увели. И мы с батюшкой прошли следом прямо в его кабинет. Он терпел, ожидая, когда в себя придет, и я — терпел, только мне хуже было. Я о родительском прилюдном позоре страдал, об Аничке страдал и о графе — тоже страдал, потому что подобное можно было решить только пулей наповал. Тогда бы через год, глядишь, и забыли бы, как младший Олексин пощечину получил на глазах отца и матери. Правда, о себе я тогда не думал. Хотите — верьте, хотите — нет.

Ни о чем я не думал. Я стоял и терзался, а отец трубку раскурил, налил себе анисовой, выпил, поелозил бровями по лбу и как-то очень уж спокойно спросил:

— Ты и в самом деле подлец?

— Да. Потому что дал вам повод задать своему сыну именно этот вопрос.

Кажется, слишком запальчиво это прозвучало. Батюшка глянул из-под бровей, сурово глянул. Потом налил анисовой, пальцами рюмку ко мне придвинул. Как камердинеру, что ли.

— Выпей. Можешь сесть.

Выпил и сел. Помолчали.

— Рассказывай. Жду.

— Не подлец. Не вор. Не карточный шулер. Не трус. Не клеветник. Не, не, не. Все будет — «не».

— А что же будет «да»?

Я промолчал.

— Значит, ни с того ни с сего тебя, офицера, и нас с матерью граф прилюдно на позор обрек?

— Вас с матушкой — безусловно.

— А тебя?

— А меня прилюдно — под горячую руку. Видно, только что прикатил. Дорожный костюм на нем, обратили внимание?

— Не до того мне было, — вздохнул батюшка. — Сына по морде били. Как... как лакея проворовавшегося.

— Я ничего не украл.

— Коли так, стало быть, он целил в меня, — помолчав, изрекает батюшка. — Стало быть, мне с ним и к барьеру идти. Стало быть, дело решенное, и удались с глаз моих.

Явно двери в матушкину половину открыты были, как явно и то, что матушка все слышала. И при этих словах вошла.

— Подожди, Илья Иванович, на себя грех чужой брать. У графа дочь, именем Анна, за которой наш богоданный сыночек откровенно на всех псковских балах волочился. Он ведь давненько с ней знаком, еще с детства. Так или не так, Александр?

— Аннет здесь ни при чем, — кое-как выдал я из себя.

— Посмотри матери в глаза. И лоб не вздумай ладонью прикрывать при этом.

Посмотрел. И сказал для себя неожиданно:

— Только не волочился я, матушка. Я люблю ее. Всем сердцем люблю. И умру, любя.

— И что же у тебя с этой Аннет... — начал было старик мой с неким внутренним запалом.

— Не надо ни о чем более спрашивать, — грустно так вздохнула матушка. — Все ясно, Илья Иванович, все ясно.

И медленно вышла, всю статью свою дородную в батюшкином кабинете оставив.

24-го то было. 24-го апреля, рамкой день обведите.

Ночью не спалось мне. От жгучего стыда и заболевшей совести. Ныла она. Как зуб, ныла.

Не о себе я думал тогда. Я получил, что заслужил. Даже меньше, чем заслужил, но довесок из свинца заслугу мою должен был уравновесить. Я о родителях думал. О милой, спокойной, всегда прощающей меня матушке своей. О батюшке, редкой отвагой и честью незапятнанной заслужившем глубокое искреннее уважение всей русской армии. Всей, хоть депешу посылай: «Бригадиру Олексину» — доставят. Из любого полка доставят, тотчас же курьера отрядив. Каково-то ему публичный позор сына единственного, офицера гвардии, перенести? Каково?.. Это же таким рубцом на душу его, израненную и усталую, легло, который никогда не рассосется, дни земные его из него вычитая. И я, я вычел из его жизни эти дни, я, единственная надежда и тайная гордость его, в любви и счастья им зачатый! Я!..

Вьюном я на постели вертелся, крахмальные простыни в хрустящий ком сбивая. И жарко мне было, и холодно, и снова жарко, и снова холодно. Уж и вскакивал я, и по спальне метался, и снова в постель падал, и воду пил, и трубку курил, и что только не вытворял тогда в одиночестве своем и ночной тишине. Будто возможно совесть собственную, добела раскаленную, метаниями, табаком да водой притушить. Особенно когда знаешь, что и родители твои, любимые и искренне почитаемые, точно так же в своих постелях мечутся и ты — тому причина. Только ты, и никто больше. И уж никоим образом не вспыльчивый граф: у него своя правда.

А потом вдруг заснул. Ну вдруг, как провалился, точно прикладом по голове меня ударили.

Сколько в провале том обретался, не знаю. Снов не было, чувств — никаких, время тоже куда-то исчезло. И лежу ничком: как упал, так и не пошевелился ни разу.

Но затем как бы светлеть стало, и время вернулось. Как бы издалека, как бы с разгону, как бы из тьмы уходящей, что ли. Голос матушки вдруг услышал:

—...Он ведь давненько с нею знаком, еще с детства...
С детства. Знаком. С детства...

И всплыло детство. Зыбко, туманом дрожащим...

Мне — лет тринадцать или даже двенадцать. Из Корпуса в отпуск приехал. Гордый собою, а особо — военной формой. Басом говорить старался, но бас мой еще не прибыл, и я хрипел перехваченным от старания горлом.

— Как вовремя ты, Сашенька, — матушка говорит. — Назавтра к добрым соседям в гости приглашены, дочке их восемь годков как раз исполняется.

— Девчонка!.. — старательно прохрипел я.

— Девочка, — поправила матушка. — Ее в пансион отправляют, завтра — проводы.

Наутро выехали. Конец мая, пора божественная, а я — в форменном мундире. Суконном. Настоял, чтоб с девчонкой этой именной дистанцию соблюсти.

— Пусть попарится, — батюшка сказал.

Парюсь мужественно. Хотя пот — уже ручьями по спине. А в природе — ни дуновения. Природа в сладкой дреме млеет, а я — в казенном сукне. Слава Богу, ехать не очень далеко. Часа два прел, не насквозь все же. Точнее сказать, не совсем насквозь.

Прибыли наконец.

Лужайка перед господским домом вся в детях, как в цветах. Штанов почти не заметно: одни разноцветные платица. Взрослых, полагаю, тоже было достаточно, но я их как-то не заметил. Я платица разглядывал.

— Это — Аничка. Именинница наша.

Что-то воздушно-розовое приседает передо мною. Из розового газа, как из облака, — синие глазищи с косичками на висках, и больше ничего не помню. Щелкаю каблуками, резко

склоняю голову. Как учили. Но учили и резко поднимать ее после поклона, а я только склонил, а... а поднять не могу.

Из-под юбочки у нее панталончики на два вершка выглядывали. И кружева на этих двух вершках горели натуральным золотом в тот солнечный день...

Вот за этим ажурным золотом я потом и бегал. Правда, старался не бегать, а этак солидно перемещать себя в пространстве, как то и подобает военному человеку. Но когда панталончики с кружевами вдруг исчезали, переходил на несолидную растерянную рысь. Как собачонка, потерявшая след.

А заговаривать не решался, даже когда рядом оказывался. Не потому, что не знал, как беседе завязать: к тому времени мои воспитатели уже натаскали меня вести пустопорожние разговоры. А потому, что мужественно хрипеть мне вдруг расхотелось, а голоса своего — этакую помесь валторны с гобоем — смущался. Не убежден был, что он самовольно тембра не изменит. Так бы ничего и не произошло тогда, если бы Аничка сама со мной не заговорила.

— А у нас на прудах — ручные лебеди. Из рук у меня разные вкусные кусочки берут. Хотите посмотреть?

— Хочу...

От волнения пискнул в тоне прусской флейты времен Фридриха Великого, но именинница весьма благородно не обратила внимания на мою фистулу. И повела меня к прудам: там их целый каскад оказался. Очень мелодично покрякала, и к нам из-под плакучей ивы выплыли лебеди. Штук пять, не меньше.

— Ах, покормить их нечем! — всполошилась Аничка. — Какая же я растяпушка!

— Принесу! Только не уходите, не уходите...

Галопом помчался, но куда — неизвестно. Забыл спросить, а сам вовремя не разведal. Недосуг мне было, я за кружевами бродил как пришитый. Повертелся вокруг разных хозяйских пристроек, вокруг дома, уж в отчаяние было начал впадать, как вдруг на столе в открытой терраске обнаружил блюдо с только что испеченными эклерами. Схватил его и — пулей через парк к прудам, лебедям и девочке с золоты-

ми кружевами. Следовало бы, конечно, цели поменять местами, но так — убедительнее порыв.

А блюдо тяжеленным оказалось. Еле доволок.

Ах, какое волшебство! Сидели на травяном откосе у пруда, лопали эклеры и кормили лебедей. Правда, кормила одна Аничка: меня вожак пребольно ущипнул, когда я попытался ее заменить. Больше не пытался: палец кремом лечил по Аничкиному рецепту. А она кормила — ее не щипали и даже позволяли себя гладить. Я регулярно мазал кремом палец, сосал его и молчал, зато Аничка болтала за двоих.

— Вы любите мечтать? Я обожаю. Я читаю, читаю, а потом закрываю книгу и мечтаю о рыцаре без страха и упрека. Я увижу его и сразу влюблюсь навсегда, потому что любить — значит жить, а жить можно только один раз...

Только один раз, подумал я почему-то. Вспомнил, ей-Богу, вспомнил, что подумал тогда именно так.

— А почему вы ладошкой лоб прикрывали, когда с этой противной Полин беседу вели? — вдруг спрашивает Аничка. — Смешно очень прикрывали, ладошкой наружу.

Я тогда еще и впрямь лоб ладонью прикрывал, когда что-то скрывать приходилось. Матушка мне, маленькому еще, сказала, что у меня все на лбу написано будет, если я когда-нибудь скажу неправду. Вот я и прикрывал всегда, когда очень уж хотелось в чем-то не признаваться, и долго от этой привычки отделаться не мог. Но в миг тот мне лгать совсем не хотелось. Мне хотелось этой девочке говорить только правду. И я рассказал про матушкино предупреждение, разъяснив в конце причину, почему вынужден был прибегнуть к этому способу в беседе с противной Полин:

— Она спросила, был ли я в Париже. А я не был, но прикрыл лоб и сказал, что был.

— Ой, как это славно! — Она аж пальчики от восторга перед грудью сцепила. — Я своих деток непременно этому обучу.

И так искренне воскликнула, что я решился, всю свою смелость собрав:

— А кружева у вас из настоящего золота?

— Какие кружева?

— Вот. На ваших панталончиках.

Она рассмеялась. Будто колокольчик прозвенел.

— Они — бабушкины. Хотите потрогать?

Сердце у меня почему-то заколотилось, и я потрогал. Мягкие, а на ощупь тяжелые. И хрипло изрек:

— Тяжелые. Значит, золотые.

— Брюссельские. Маменька так сказала.

Неизвестно, как бы закончилась эта беседа, если бы не закончились эклеры. Но все вкусное в детстве быстро кончается, и пирожные закончились тоже, остались крошки да кусочки, но хозяйственная Аничка решила отдать их лебедям. И с тяжеленным — я-то знаю! — серебряным блюдом в руках наклонилась к воде, ласково этак крикая. А блюдо перетянуло ее, Аничка вскрикнула, выпустила его со страху из рук, но я успел ее схватить и даже прижать к себе, пользуясь древним правом спасателя.

А блюдо совершенно беззвучно исчезло под водой...

Кончилось видение. Очнулся я, но все ясно стояло перед глазами. Аничка, брюссельские кружева, лебеди и тяжелое блюдо, без всплеска канувшее в пруд... «Почему же я раньше об этом не вспоминал? — думалось мне. — Потому что девочки волшебным образом превращаются в барышень? Потому что я в тех девах запутался, которых успел на пути повстречать?.. И ты мне напомнить решила, любовь моя, что влюбились мы друг в друга целую вечность назад?..»

«Нет, это — прощание, — вдруг грустно и спокойно понял я. — Я буду убит. Убит... Это — прощание...»

Через два дня мы стрелялись. От батюшки избавиться не удалось, как мы с матушкой его ни умоляли. Так вдвоем и приехали в его карете. И молчали всю дорогу. И, приехав на место, тоже молчали в ожидании графа. А когда появилась его карета, батюшка сграбастал меня, прижал к груди своей:

— Ступай, Александр. Храни тебя Господь.

Я вылез, а он в карете остался. И даже все шторы задернул очень старательно.

А я подошел к графу и молча поклонился. И все дальнейшее делал, будто одеревенев. Секундантов благодарил, пистолет брал, к своему номеру шел, стоял там, ожидая, когда граф место свое займет. И ни о чем не думал, потому что первый выстрел мне принадлежал по всем правилам дуэли. Меня публично оскорбили, меня же вызвали к барьеру, мне и надлежало первым на курок нажимать. И я знал, что дуэль наша одним моим выстрелом для меня и закончится. Давно знал, еще с того злосчастливого вечера у хлебосольного Салтыкова.

И когда наконец-таки сигнал к началу услышал, поднял пистолет и выстрелил в синее апрельское небо.

Кажется, закричал кто-то из секундантов, требуя остановиться, потому что один из соперников отказался от своего права уцелеть.

— Нет!.. — рявкнул граф.

Это я расслышал и впервые глянул в его глаза. А граф поднял пистолет да и бабахнул считай что навскидку. И меня так по голове садануло, что отлетел я куда-то, вмиг сознание потеряв и в черноту провалившись.

Очнулся в отцовских объятьях. Карету трясло и раскачивало, в голове у меня тоже что-то тряслось и раскачивалось, и боль была такой, будто голову мою расплавленным свинцом залили до краев. Расслышал только бормотание отцовское:

— Бог упас. Бог упас...

...И снова отчалил от ясного берега...

АССО, АССО, ВСЕГДА — АССО!

Май. Ну, скажем, 15-го

Графская пуля лоскут кожи с головы моей снесла. Но череп не пробила, только чиркнула по нему и дальше унеслась, неведомо куда... Череп у меня как у зубра, что в молдавских кодрах мне как-то повстречался. Меня на охоту господарь ясский Дмитрий Мурузи однажды в свои уголья пригласил.

— Только в голову ему не стреляй, Сашка. Пуля от его головы отскакивает, как от каменной стены. И зубр тогда очень сердится. Под левую лопатку целясь.

В глаза зверя смотрели когда-нибудь? Да не медведя, не волка, не барса даже. Настоящего зверя, доисторического, в очи которого наш прапрашур глядел, дубину в потных руках сжимая? Не через решетку, разумеется.

Иное у них выражение глаз, взгляд иной. Допотопный, лишенный всякого выражения. Ни злобы во взгляде их нет, ни ярости, ни ненависти — ничего нет. Пусто. Завораживающе пусто, взора не оторвешь, всей душою своей ощущая при этом, как в твою, в собственную душу твою ужас вливается, до краев ее заполняя. Потому что глаза их — мертвые только для нас, а для себя, для ледникового своего бесчувствия глаза у них живые. Только для себя и живые, а для всего прочего живого — мертвые.

А обычные звери, мохнатые и теплые, совсем иные. Они и соседи наши, и ровесники, и даже — дальние родственники, потому что Господь человека и зверей для него в одну неделю создал с разницей в один день. И общими чувствами

наделил: страхом, болью, злобой, яростью. И на нас они с нашими же чувствами и смотрят, и мы их взгляд понимаем: нам и страшно порою, очень даже страшно, а вот пещерного ужаса перед ними не возникает. Возникает ужас спасительный, а не ужас обреченный.

Значит, зубра не Господь Бог создал, а кто-то другой. И не для нас создал, а — против нас. Не для украшения жизни нашей, а для устрашения ее.

Почему я — вдруг о зубре? Нет, нет, с головою у меня все в порядке, только болит очень. Но все я соображаю и сейчас не заговариваюсь, а вспоминаю. Глаза графа вспоминаю в тот самый миг, когда палец его на курок нажимал.

— Да Бог с тобой, Сашка, — скажете. — Да кто ж на дуэли выраженье глаз противника увидеть может? Разве что сокол поднебесный да горный орел...

А я — видел, хоть и не сокол я поднебесный и не горный орел. Зубром он был у барьера, зубром, господа, взгляд его тому свидетель неоспоримый. И стрелял навскидку, не как все. Из дуэльного пистолета и — навскидку...

Только почему же он промахнулся?.. Нет, не так, не так спросил. ЗАЧЕМ он промахнулся?..

Меня после дуэли быстренько в родовые Опенки отвезли, а затем в Санкт-Петербург доставили. Дня четыре я в нашем в санкт-петербургском доме без сознания провалялся, а чуть в себя стал приходиться, снова — в карету. Сквозь боль дикую и сотрясенное сознание свое помню колени матушки, на которых всю дорогу голова моя лежала.

А больше ничего не помню...

А увезли меня потому, что батюшка всеми силами следы заметал, неистово веря в выздоровление мое и беспокоясь о дальнейшей моей карьере. А для этого меня для начала от государевых очей требовалось спрятать подальше, и как можно скорее. И мобилизовать всех добрых знакомых, чтоб словечки свои бормотали кому надо и где надо. И, проделав все

это, бригадир мой единственный, родной и любимый, в Новгород ринулся, чтобы договориться о моем переводе в иной полк. А некто, хорошо знающий Государя, посоветовал батюшке, чтобы новый полк тот оказался армейским.

— При надобности можно будет осторожно намекнуть Государю, что сын ваш уже наказан достаточно серьезно. Из гвардии в сермяжную армию перелететь — это, знаете ли...

Еще кто-то усиленно рекомендовал с графом переговорить на предмет моего прощения. Но тут уж родитель мой рассвирепел и рявкнул окончательно:

— Лучше Сибирь!..

Не знаю, как уж там все разворачивалось, а только дуэль нашу остороженько спустили с вершинки в лоцинку, где и оставили до лучших времен. И все обошлось, только я из гвардейца стал армейцем и зачислен был в поручики Псковского полка. И когда я, малость самую придя в себя, узнал об этом, то стыдом обжегся и сразу же матушке начистоту все выложил:

— Долг. Семь тысяч подполковнику Затусскому и пять сотен — Мишке.

— Сделаю, голубчик, все сделаю, не терзай себя. Сегодня же человека pošлю.

И я сразу успокоился, потому что матушка никогда меня не обманывала. Ни разу в жизни.

...Надо непременно кому-то верить с самого маленького, что ли, детства. Верить без всяких клятв и слов, верить всем сердцем и всю душою своею в жизни своей практической. Скажете — отцу, мол, и матушке вместе? Хорошо бы так, да не получается. Дитя так устроено, что раздвигаться еще не умеет. Может быть, поэтому и дитя? И батюшка может стать тем камнем, на который потом совесть ваша всю жизнь опираться будет, и матушка, и дедушка, допустим, или там бабка. Но кто-то один. Двоих детская душа вместить не способна. Мала она еще очень.

У меня основой этой матушка оказалась. Может быть, потому, что батюшки перед глазами не было. Воевал батюшка.

Только голова моя не желала успокаиваться. Болела, трещала, мутилась. И мысли мои бились в ней и тоже болели, трещали, мутились и рвались на части.

— Ты о приятном думай, Сашенька. Гони, из сил последних гони черноту из головы.

О приятном?.. А у меня — дуэль перед глазами. И — зубр с «Лепажем» в руке. Но я поднатужился...

...и вспомнил, как хохотал Пушкин, когда я ему однажды про матушкино предупреждение рассказал.

— Да тебе нужно не ладонью лоб загоразживать, а конское ведро на голову надевать, Сашка! У тебя же на физиономии все написано!..

...Ох, как болит голова... Каждый толчок сердца болью отзывается. Нет, уходить надо из больного этого мира, уходить...

...— Не стискивай шпагу, Сашка, не сабля. Пальцами ее держать надо, только тогда она продолжением руки твоей станет. Аппель! Готов к мулине? Тогда держись.

Ах, как играла шпага в руке Александра Сергеевича! Трижды сверкнула в воздухе, кругом прошла перед глазами, и... и мой клинок со звоном отлетел в гол.

— Сашка, ты же ручищами своими подковы гнешь, а шпаги удержать не в силах. Пальцы у тебя слабые.

— Слабые?.. — обиделся я тогда. — Да я пальцами волошские орехи давлю дамам в диковинку.

Улыбнулся Александр Сергеевич:

— Принеси-ка трость мою.

Пошел я за тростью вразвалочку, со всей гвардейской небрежностью. Изящно этак поднял ее и... И чуть не выронил. От неподготовленности, что ли. Такой неожиданно тяжелой она оказалась. Ну с полпуда, ей-Богу.

А Пушкин от хохота изнемогает. Он очень смешлив был, когда в добром расположении.

— Она тяжелого железа, Сашка, — пояснил он, с

хохотом своим управившись. — Мне ее по заказу отковали.

— Зачем?

— Зачем? Затем, чтобы пистолет в руке не дрожал. Не все же гвардейцами рождаются.

Взял у меня трость и завертел ее мельницей меж пальцев правой руки. Ну будто петербургский фат перед гризетками. А вздохнул совсем невесело:

— *Noblesse oblige* («положение обязывает»), Александр. *Noblesse oblige*.

И в миг единый переменялся. Глаза стали колючими, неприветливыми какими-то. Толстые губы оттопырились еще больше, даже брови будто друг на друга наехали.

— Что это с тобой, Александр Сергеевич?

— Уйди.

Я тогда еще не привык к тому, сколь быстро Пушкин переходит из одного настроения в другое, казалось бы ни с того ни с сего. Вдруг это с ним случалось, мгновенный переход, будто с аллюра на аллюр. То был — сама улыбка, само остроумие, сама любовь к окружающим. То вдруг — мрачный демон, резкий, а подчас и невыносимо резкий, колючий весь, язвительный. То молчаливым и задумчивым внезапно станет средь дружеской попойки: хоть кричи ему — не откликнется. То — и опять вдруг, будто из себя самого фонтаном взрывается, — озорной, веселый, живой, остроумный. И все — вдруг, вдруг...

Это я потом понял, что стихия внутри его бурлила. Это у нас нрав, характер, воспитание, оглядка да прикидка, а у него — сама стихия перевозданная.

Но тогда я этого еще не ведал, а потому сразу же и сама удила закусил.

— Как вам угодно будет, милостивый государь, но больше я сюда — ни ногой.

То ли он в тот раз со стихиями своими справился, то ли меня, юного простака, пожалел, а только улыбнулся как бы через силу. И снял с левого мизинца длинный золотой наперсток.

Он под ним ноготь старательно и любовно отращивал. Слабость у него такая в те кишиневские времена была. Слабость и гордость одновременно, потому что наши гордости и есть наши слабости. А чего больше в Пушкине было — слабости или силы, этого уж никто не в состоянии измерить: не нашего измерения Александр Сергеевич был, не земного. Но так сужу, что слабости и были силой его, а силы — слабостями. Гений — всегда парадокс, которого не разрешить и самым мудрым из мудрецов.

Да, так снял он колпачок с мизинца, а ногтя-то там и нет. Под корень обгрызен. Он ведь ногти не только отращивал, но и грыз порою. Но уж коли отращивал, то очень этим гордился:

— По две линии за сутки отрастают.

И вдруг — огрызок под золотым наперстком.

— Сломал?! — ахнул я.

Александр Сергеевич аккуратно мизинец колпачком прикрыл и тяжело вздохнул:

— Если бы. Хлыщ один вчера у Гольды в бильярдной сломал. И не случайно, а — обдуманно и нагло, поэтому никаких извинений его я и не принял.

— И чем же дело закончилось?

— Завтра отношения будем выяснять.

— Располагайте мною, Александр Сергеевич, — говорю. — Где и когда? Я готов.

Усмехнулся он. Добро и грустно.

— Нельзя тебе, Сашка, секундантом моим быть. Ты же как раз за дуэль и сослан в палестины эти.

— А я все равно там завтра буду. Буду! Я все ваши тайные местечки здесь знаю.

Ничего он на это не ответил. Помолчал, покивал красной своей феской, сказал неожиданно:

— Знаешь, кто секундантом у этого хлыща? Дорохов. Руфин Иванович, собственной персоной. И думается мне... Знаешь, что мне думается? Что до меня они могут добраться. На дуэли проще простого к человеку придраться, ты это не хуже меня знаешь. И не ссоры опасаюсь, а не к месту она сейчас. Так-то, Сашка, так-то. Дорохов — игрок отменный,

на зеленом сукне с ним бы счастья попытать, куда бы как любопытнее было.

С Руфином Дороховым я в знакомцах не состоял, но был хорошо о нем наслышан, очень даже хорошо и — с разных сторон. Кто-то им восхищался, кто-то его и на дух не выносил, но никто не отрицал ни его отчаянной смелости, ни петушиной драчливости, ни холодного расчетливого бессердечия, ни восторженной преданности дружбе. Следовательно, был он фигурой, о которую все глаза спотыкаются, а потому и запоминают. А кроме того, слыл он и картежником, и до того при этом азартным, что любой себя уважающий игрок почел бы за счастье великое выудить из него хотя бы полсотни червонцев за вечер. Однако рассказывали, что понтировать с ним было все едино что пытаться пообедать вместе с бенгальским тигром одним куском кровавой добычи. И когда я в рассуждениях своих дошел до карточной колоды, то, как мне показалось, сразу же и понял озабоченное беспокойство Пушкина. Затаенною мечтою Александра Сергеевича было не желание с волнующим кровь риском обменяться с Дороховым пулями. Нет, нет и вовсе нет! Заветной мечтою его было урвать у знаменитого бретера и игрока добрый кус принадлежащего лично ему мяса. Пообедать с бенгальским тигром на зеленом сукне одним куском добычи.

И это желание следовало осуществить до вероятной дуэли между ними, а не после нее, вот что Пушкина тогда беспокоило. После возможной дуэли одного из партнеров почти наверняка не оказалось бы за карточным столом...

Насколько мне тогда было известно, с Александром Сергеевичем Дорохов никогда не приятельствовал, наедине они не встречались, в компаниях не пикировались, а если меж ними что и могло быть когда-либо, то как бы снаружи, но никак не изнутри. К примеру, даму сердца не поделили, сами не ведая об этом. Возможно? Вполне возможно. Что еще? Насмешка, через третьи уста перешептанная?.. Ну, это вряд ли, Дорохов — мужчина очень даже серьезный был, на слухи не падок. А вот эпиграмма... Щедр на эпиграммы, подчас и

злые, и колючие, был в то время Александр Сергеевич, ничего не скажешь. Сыпал ими направо и налево, в дамские альбомы их записывал, в списках они широко расходились, в собраниях разных их наизусть читали, помирая с хохоту, — что было, то было. И даже если в адрес самого Дорохова и строчки не прозвучало, то вполне могло про его друга закадычного прозвучать, про доброго знакомца, про его пассию, наконец. Могло, вполне могло: Пушкин в стихах своих никого не щадил. Ни друзей, ни недругов, ни дев цветущих, ни седовласых старцев. И по этой особенности своей, сам того не желая и не ведая даже, ненароком мог очень чувствительно задеть всегда ищущего повода для обид высокомерного гордеца, коим и был Руфин Дорохов...

А еще Руфин Иванович Дорохов был средоточием откровенного, ничем не прикрытого порока. Всегда откровенно — да с вызовом! — говорил то, что думает, нагло ухаживал, а если уж прямо сказать — то не просто волочил, как то принято было, а чуть ли не приставал к дамам, грубил генералам и чинам, не признавая ни заслуг их, ни возраста, ну и так далее. Вплоть до матерщины в мужской компании, столь затейливо чудовищной, что свечи порою гасли. Правда, не столько от круто пересоленных выражений его, сколько от хохота клеветов. Иными словами, Дорохов открыто делал то, о чем тайно мечтаем мы, мечтаем и — не решаемся, и мучительно завидуем тому, кто оказывается на это способным. Мужчины все в той или иной мере порочны, это так, но порок вызывающий — это и магнит для нас. Всегда — магнит невероятной мощи притяжения. И Пушкина с несодолимой силой тянуло к Дорохову, к пороку, на грань мерзости именно поэтому.

Не мастак я думать, а потому неизвестно еще, до чего бы додумался тогда, если бы Александр Сергеевич не перебил заплутавшие мысли мои:

— Ты где квартируешь, Сашка?

— Мазанку снял, крайнюю в Кишиневе. За нею — уже виноградники, сады да вольные цыганы.

— Цыганы? — оживился Александр Сергеевич. — И ты в знакомствах с ними?

— Кое с кем в знакомствах. С табором одним, что в лощинке возле берега стоит. Большой табор довольно, Кантарай вожак их. Ром-баро, как они его называют.

— Один в мазанке живешь?

— Один, если Савку, слугу моего, не считать. А хозяйка, мама Каруца — так уж она просила себя называть, — в халупе, посреди виноградника.

— Мама Каруца?

— Не знаю, то ли имя это, то ли прозвище какое. Она меня с цыганами и познакомила, бывают они у нее.

— В гости напрашиваюсь, Сашка. — Пушкин в непонятном волнении пометался по фехтовальному залу. — Может, прямо сейчас и поедем? У меня ренского — целый ящик...

Выключился я вдруг из дорогих воспоминаний. Почему выключился, не могу объяснить. Мысли скакали взбешенно...

...А почему граф меня прилюдно подлецом обозвал? Родителей моих во внимание не приняв и не пощадив при этом. А ведь приятельствовал с ними, давно и добро приятельствовал. Ну ладно — я. Шут, фанфарон, хрипун гвардейский. Но — батюшка с матушкой, почтенные и всеми уважаемые родители мои?..

Стало быть, рассвирепел до крайности. Настолько рассвирепел, что даже за неблизкую дорогу не успокоился. Скорее наоборот, растревлял себя, до иступления доводя. Что за причина терзала его столь мучительно? Что за причина?..

Вспомнил:

—...Я все маменьке расскажу...

И Аничка все откровенно рассказала своей маменьке. А маменька, всполошившись, тут же все графу и выложила, не

затруднившись подготовить его к разумному восприятию того, что уже свершилось. И я графа вполне понимаю: как же, честь дочери единственной, света в окошке, любви его и надежды...

...Если бы у меня такая дочь была, как Аничка моя бесценная, и прощелыга какой-нибудь... Я бы убил его прилюдно без всякой дуэли. Убил бы, и рука бы не дрогнула. А там — хоть Сибирь, хоть Петропавловка навечно...

А он — зубром обернулся, Бога из души вытеснив. Только промахнулся почему-то...

Нет, нет, уходить надо от мыслей таких, прочь их гнать, а то голову мою, и до сей поры воспаленную, они окончательно разорвут. А еще лучше — убежать в другие времена, в места другие, к людям, дорогим сердцу моему...

...И в тот же день прямо из фехтовального зала поехали мы сперва к Александру Сергеевичу за ящиком ренского, потом — за другом его майором Раевским и уж только после всех заездов прибыли, наконец, в мазанку мамы Каруцы.

— Бояре, красавцы мои, радость-то какая!

Сама на стол начала накрывать, Савка только подавал ей, что требовала. А мы, чтобы не мешать им, по окрестностям бродили. Я виноградник показывал, сад...

— А цыганы где? — в нетерпении спросил Пушкин. — Ты про цыган, помнится, обмолвился. Заманивал, что ли?

— Никакого замана. Идем покажу.

Вышли на окраину виноградников. Вечерело уж, тишина на шумную Бессарабию опускалась. Вдали — Днестр, а в низине, возле берега — шатры, костер, фигуры вокруг него. Песен, правда, не было: видно, к ужину готовились.

— И вправду — цыганы, — удивленно говорит Раевский. — Бесшумные только.

А Пушкин замер. И смотрит, смотрит.

— Когда поедят да выпьют — запоют, — пояснил я. — Вот тогда и шумно будет. Вплоть до рассвета.

Глянул на меня Пушкин. Чуть ли не с мольбой.

— Пойдем к ним, как запоют, Сашка? Песни цыганские послушать хочу.

— Нет, с ними так не получится, Александр Сергеевич. К ним подход нужен. Я маму Каруцу пошлю.

А тут и мама Каруца сама заголосила:

— Стол накрыт, бояре мои!..

Уснул я на этом рубеже воспоминаний. И голова во сне не болела и вроде бы молчала даже. А утром опять будто в голос застонала, но я постарался поскорее в тот кишиневский вечер вернуться. Не сразу, правда, это у меня получилось, но — вспомнил. Вспомнил все же тот цыганский вечер...

16-го. Или — 17-го. Словом, в мае

Тогда, помнится, я маму Каруцу сразу же к цыганам наладил, просьбу пушкинскую исполняя. Мы пока перекусывали, ренское пили, местное, мамы Каруцы вино пробовали. Красное, густое, как кровь, и терпкое, как нешуточная дуэль...

Мама Каруца быстро вернулась. У нее свои тропки были, короче наших.

— Милости просят, бояре мои. Я провожатого взяла, роса богатая сегодня.

Позвала то ли по-цыгански, то ли по-молдавански, и вошел молодой цыган в ярко-желтой рубаше с косым — через всю грудь, от правого плеча к левому боку — воротом, застегнутым на множество мелких перламутровых пуговиц. Вежливо склонил голову и улыбнулся столь ослепительной улыбкой, что в мазанке нашей вроде как и светлее стало. А Пушкин сразу вскочил, воскликнув громко от всей полноты вдруг осенившего его открытия:

— Вольный человек! Вольный, во сто крат нас вольнее!

Любуйтесь, господа, любуйтесь и завидуйте воле, России неведомой!

— Est-ce que vous prenez la parole («Вы выступаете»), Александр? — насмешливо спросил Раевский, вслед за ним пожимая руку молодому цыгану.

Пушкин страшно разобиделся, надулся, молчал всю дорогу, идя вслед за проводником. Но у цыганского костра вмиг позабыл про все свои обиды.

— Мы в сказочном раю, господа. В сказочном раю тысячу лет назад...

Мы и в самом деле были тогда в раю. Тысячу лет назад.

Ах, как пели цыганы! Никогда вам таких песен не слышать более, потому что для себя они пели. В России — в Петербурге ли, в Москве ли — они для нас поют, а там, на берегу реки уснувшей в Бессарабии, на воле, ночью, у костра, — для себя. Только для себя, вековую боль свою вспоминая...

Пушкин плакал. Раевский обнял его за плечи, но не утешал. По-моему, глотал собственный ком в горле. Я свой глотал, помнится. Гулко, мучительно и сладостно.

Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют...

По-моему, он тогда эту строфу и прошептал нам. Сквозь слезы непросохшие, но уже — с улыбкой. Тогда, тогда! Слышу голос его и эти четыре строчки. В миг тот поэзия души его слилась с поэзией природы. Настоящего и прошлого, тоски и восторга. Всего мироздания и себя самого.

Помнится, когда мы однажды в фехтовальном зале после доброй схватки отдышали, сказал мне вдруг Александр Сергеевич с непонятной для меня грустью и печалью:

— Ах, Сашка, Сашка... Баловень ты судьбы, сажень сто-

еросовая. А я у самого Инзова на квартире стою. Почет!.. Искренне любит он меня, знаю, только с глаз исчезнуть некуда. Кочую из салона в салон, как цыган во фраке...

Помолчал, добавил неожиданно:

— На что хорошо мне было в Гурзуфе, среди милых моему сердцу друзей, так и там однажды сорвался с места, для себя совершенно неожиданно, и версты две бегом бежал по дороге в горы. Жара была страшная, а я бегу, а куда бегу, зачем бегу... От себя самого, Сашка. От себя самого убежал, что ли... *Le sinistre trébuché quelquefois sur le ridicule* («печальное иногда спотыкается о смешное»). Нелепо все, мой друг, нелепо.

Вот почему он тогда плакал у костра. У него было чувство, что он добежал туда, куда так стремился. К вольному берегу, распаханному небу, вечным звездам, яркому костру. К людям, вольным не по вычитанной в книгах идее, а по натуре своей. У него была невероятная тяга к природно, естественно, что ли, свободным людям. Вольным не по Государеву Указу, не по бумаге помещика, не от рождения даже — от природы вольным. А потому и гордым.

...Мы ведь совсем не гордые, не обольщайтесь, дети и внуки мои. Нельзя быть гордым не от естества своего, как, к примеру, индейцы американские. Мы — спесивые гордецы, и только. И выше надутой горделивости собственной подняться не можем, как бы ни пытались, как бы ни старались и как бы ни прикидывались. И Александр Сергеевич мучительно ощущал эту безвольность и беспомощность духа нашего всем существом своим.

И — песня еще звучала — подводит ко мне мама Каруца старую-престарую цыганку.

— Предсказать судьбу твою тебе хочет, белокурый боярин. Все, говорит, для нее на лице твоём написано. А я порусски слова ее переведу.

Я еще и согласия не дал, как старуха та цыганская ко-

ричевыми, сухими и костлявыми руками своими за виски меня взяла и к свету костра повернула.

— В очи ей смотри, взор не отводя, — очень строго сказала мама Каруца.

Глаза у цыганки были — без дна. Будто два отверстия в какой-то иной, неизвестный мне мир. А может, и не мир то был вовсе, а — мироздание?.. Пристально смотрела, долго, испытующе. Но — заговорила наконец.

— Тяжкая судьба у тебя будет, витязь русский, — неторопливо, задумчиво и певуче переводила мама Каруца. — Раны тяжкие она видит, но не они тебя в могилу сведут. Казенный дом с железными решетками видит, но не в нем ты сгинешь. Шинель солдатскую на тебе видит, но не обессилит она тебя.

— Ну а радостное хоть что-нибудь она в жизни моей усматривает? — спросил я с усмешкой.

— Любовь тебя ожидает великая. И любовь эта и будет наградой за все страдания твои. Сын от той любви рожден будет, и род твой славный продолжит. Не бойся жизни своей, счастье потом все искупит. И ничего боле она тебе не скажет.

— Что ж, и на том спасибо, — признаться, вздохнул я невольно. — Вот ей червонец за гадание.

— Не!.. — вдруг гневно сказала старуха и ладонь свою сухую передо мной растопырила.

— Деньги за гадания берут, — строго сказала мама Каруца. — А это — не гадание. Это — пророчество.

Повернулись и ушли. А я с разинутым ртом остался. И с мыслями растревоженными.

Впрочем, я никогда мыслей растревоженных в себе не хранил. Не умел хранить, так уж я устроен. И уже через минуту и в себя пришел, и все из головы выбросил, и... и обнаружил, что Александра Сергеевича рядом нет. Один майор Раевский остался.

— А Пушкин где? — спрашиваю.

Засуетился Раевский, заоглядывался, вскочил даже. Сказал с испугом растерянным:

— Понятия не имею.

— Сидите здесь, майор.

Кинулся искать. Глазами, разумеется, языка-то не знаю. Но как раз в это время пляски затеяли начинать, которые цыганы так любят. И цыганские девочки для затравки первыми к костру выскочили. За ними девицы готовились, и все в радостном оживлении начали пересаживаться, круг для плясок расширяя. Поднялась сумятица, и я понял, что в толкотне этой веселой Пушкина мне никак не разыскать. И ринулся к центральному шатру, который для вожака всегда отдельно ставили. А потому ринулся, что ром-баро Кантарай мамой Каруцей был уже вовремя лично представлен.

Перед входом в шатер — два пожилых цыгана с трубками сидят. Нет, вход не загородили, не спросили ничего, но посмотрели на меня вопрошающе.

— Мне ром-баро, — говорю. — Друг у меня пропал.

Не знаю, то ли по-русски они понимали, то ли просто оценили волнение мое. Но оба полотнища входа на себя молча потянули, доступ в шатер мне предоставляя.

В шатре небольшой костер горел. И у костра того ром-баро Кантарай и Александр Сергеевич Пушкин мирно распивали вторую бутылку ренского. Поклонился я у входа — вожак передо мною все-таки — и говорю весьма возмущенно:

— Александр Сергеевич, докладывать надо, если уходишь! Мы с майором с ног сбились...

Пушкин послушно встает, что удивительно, потому что послушанием он никогда не отличался. А тут — оживленный, улыбчивый, сияющий даже — без всяких возражений.

— Je demande pardon («прошу прощения»), Александр.

Я не успеваю ничего сказать, как он с вежливым почтением — вожаку Кантараю:

— Je vous suis très reconnaissant, baron («Я вам очень благодарен, барон»).

Я малость ошалеваю, а он кланяется и почтительно пожимает вожаку руку. И мы выходим из шатра.

— Кантарай что, по-французски понимает? — спрашиваю весьма обалдело.

— Мы с ним превосходно объяснялись на всех языках разом! — смеется Пушкин и вдруг крепко обнимает меня. — Спасибо тебе, Сашка, великое тебе спасибо!..

20-е мая

Вчерашний день, поутру начавшись почти безмятежно, к вечеру весьма осложнился. Пушкин, как и обещал, секундантом меня не взял, но я из не признающего никаких уверток майора Раевского без труда вытянул, где именно они стреляются. Прискакал туда заранее, осмотрел место, нет ли где преимуществ в высоте да удобно ли стоять на номерах. Затем спрятал арендованную лошадь в кустах и уселся в тени волошского ореха с бутылкой прихваченного вина.

За Александра Сергеевича я почему-то не беспокоился. Правда, стрельба его очень уж от настроения зависела, но мне думалось, что в это тихое, безмятежное утро настроение Пушкина будет, как обычно, в равновесии с настроением самой природы. В таком настроении Александр Сергеевич, бывало, в пиковый туз попадал (почему-то он именно в него стрелять предпочитал), а вот если, не дай Бог, раздражен он, если не в духе или в тревожных мыслях, тогда не то что в туза — в корову мог промахнуться. Но, повторяю, верил я, что сегодня все обойдется. Либо вообще миром, либо вообще — мимо. Александр Сергеевич уже перестал горевать по поводу поломанного ногтя, а обидчик его и поводов-то для дуэли никаких не имел, если Пушкин сказал мне правду тогда, в фехтовальном зале.

Я о другом беспокоился. Я беспокоился, что Пушкин, с Дороховым лицом к лицу столкнувшись, не удержится либо от дерзости, либо от насмешки. И невероятно, даже ненормально обидчивый бретер воспользуется этим, тут же пригласив Александра Сергеевича к барьеру. Это для нас Александр Сергеевич там, в Кишиневе, уже Пушкиным был, а для свет-

ского общества — неказистым, подчас ядовито остроумным некрасивым человечком во фраке с дурацкой красной ермолкой на голове. Он раздражал тупых и чванливых, потому что всегда умел подчеркнуть, что они — тупые и чванливые. А тут — встреча с магнитом, который и отталкивал Пушкина, и к себе тянул одновременно с силой неумолимой. В зависимости от того, какой из полюсов господствовал в этот момент в непредсказуемой пушкинской душе.

И если это так, если я не ошибался в предположениях своих, то мне одно оставалось: отвести от Пушкина эту возможную ссору. На себя адрес ее переписать, но уберечь любезного моего приятеля от дороховского пистолета...

...Доктор пожаловал, и меня извлек из воспоминаний моих. В самый неподходящий момент извлек...

Во время перевязок да исследования раны к моей внутренней головной боли досадно внешняя прибавляется. Тут уж зубы покрепче стискивай, Сашка, стонать да вскрикивать дворянину только в беспамятстве дозволено...

— Зер гут, — бормочет врач наш Фридрих Карлович. — Очень карашо. Рана чиста, гной нет. Организм силу имеет достойно сопротивляться. Можно вставать очень немножко в один день.

Встал, а меня как мотанет в стенку.

— Постель, постель! — заволновался старательный немец. — Три день лежать, потом — вставать. Чуть-чуть. Третий день.

Признаться, я обрадовался. Я в прошлое хотел вернуться, додумать, помнится, что-то хотел...

...Сижу под орехом, вино из бутылки попиваю. По-гусарски, прямо из горлышка. И на девятом добром глотке вижу, как скачет кто-то прямо ко мне.

Время разглядеть было, и я — разглядывал. В английском костюме для верховой езды, с английским стеклом в правой руке... И, еще лица не различив, понял: он, Дорохов. Секундант противной стороны. Только почему же он вдруг

один сюда прискакал? Да еще заведомо раньше, вроде меня.

Подлетает, спешивается в десяти шагах. Привязывает лошадь и направляется ко мне, пощелкивая стеком по коротким голенищам. Вот, думаю, Сашка, тебе и все козыри в руки, ради чего ты и появился сюда спозаранку...

— Bonjour («здравствуйте»), прапорщик, — говорит он, передо мною остановившись. — Отдыхаете на пленэре? Давно ли здесь и долго ли намерены предаваться сему удовольствию?

— Полагаю, сударь, что это — мое дело.

Иду прямо на рога: ссориться — так уж лучше с глазу на глаз, пока Пушкин не приехал. Но Дорохов неожиданно улыбается вполне добродушно и говорит:

— Ценю вашу независимость. Однако ж вынужден просить вас прекратить сие занятие.

Ну вот, думаю, и предлог появляется...

— Вынужден признаться, сударь, что мне здесь очень нравится, а посему прекращать сладостного моего удовольствия никакого желания не испытываю. Не желаете ли вина отхлебнуть?

И протягиваю ему бутылку, чтобы он окончательно расвирепел. А он не свирепеет, подлец. Он преспокойно берет бутылку из моих рук и с наслаждением делает глоток.

— Благодарю, прекрасное вино.

И возвращает мне бутылку. От неожиданности я глупею, слова не могу вымолвить, а он преспокойно продолжает:

— С большим удовольствием прикончил бы с вами эту бутылку, прапорщик, и еще бы за полудюжиной съездил, да только обязанности мешают. Человек вы весьма воспитанный, а потому скажу без обиняков. Через полчаса на этом месте некие обидчивые молодые люди намерены выяснить свои отношения. Согласно дуэльному, безусловно вам известному, кодексу зрителей при сем выяснении быть не должно. Только это обстоятельство и дает мне право убедительно просить вас своевременно покинуть сие роковое место.

— Да что вы, сударь! — с восторженной улыбкой от-

ветствую я. — И мечтать не смел, что когда-либо получу шанс ощутить себя древним римлянином. Попивать вино и любоваться ристалищем!.. Согласитесь, это куда забавнее и куда как пикантнее, нежели пресловутое *panem et circenses* («хлеба и зрелищ»).

Ну, думаю, теперь-то ты просто вынужден... А Дорохов улыбается и сам переходит на латынь:

— *Dura lex, sed lex* («закон суров, но это закон»), прапорщик. Но вы мне нравитесь: люблю людей *cum grano salis* («с крупинкой соли», то есть ироничных, язвительных). Выберем *augea mediocritas* («золотую середину»). Вы ощутите себя древним римлянином на одной линии с доктором и каретами. По рукам, юный патриций?

И протягивает мне руку. И я ее пожимаю. А что мне оставалось делать, когда он этим, и признаться, довольно изящным, финтом атаковую рапиру из рук моих вышиб?.. А тут уж и пыль вдали показалась: дуэлянты спешили к месту поединка. Ладно, думаю, проиграл я свою первую партию вчистую, но робер-то из двух партий состоит, как должно Дорохову знать. Стало быть, и рипост (укол в фехтовании после взятой защиты) пока еще за мной.

Поначалу прятаться пришлось, как мальчишке в крапиве возле дамской купальни, чтоб Пушкин меня не заметил. Но его сразу же на место дуэли провели, и я вернулся к пожилому и очень недовольному всем происходящим доктору.

— Обстоятельства заставляют, сударь, противному для профессии моей капризу служить. Семья большая, жалование грошовое, да и то не вовремя выдают...

В двадцати шести шагах им барьеры поставили, сабли в землю воткнув. Лица Александра Сергеевича я не разглядел, но по ужимкам его понял, что он в отличном настроении пребывает. И не то чтобы окончательно успокоился — дуэль есть дуэль, а пуля есть дура, — но как-то внутренне уверовал, что все обойдется.

Выстрелили они по сигналу почти одновременно и — оба стоят. И Пушкин, и хлыщ тот, ноготь ему сломавший. Ну, думаю, может, помирятся теперь.

Какое там!..

— С шестнадцати шагов! — орет Дорохов. — С шестнадцати, господа! Мы, как сторона оскорбленная...

О, Господи!.. Стали на шестнадцать, пальнули — и опять мимо. Тут доктор сорвался с места, к ним побежал:

— Все, господа, все!.. Либо миритесь немедля, либо дуэль переносите!..

Помирились. Пушкинский обидчик извинения принес, усадил Александра Сергеевича на радостях в свою карету и умчал праздновать мировую.

А ко мне Дорохов подошел. Злой и безулыбчивый. «Так, — обрадовался я. — Кажется, мой рипост...»

— Плохо стреляют, — говорю. — Ваша школа?

— А вы, прапорщик, попробуйте в щелкопера этого попасть. Мал, тощ и вертляв, как мартышка.

— И пробовать никогда не стану, — ядовито улыбаюсь, всю наглость свою призвав. — А вот в вас — с удовольствием. Вы что, обжора, что ли? Или от карточного стола оторваться уже неможете по тряпичности характера?

Вот тут-то он и взбеленился наконец. Покраснел, потом побелел, потом рот разинул, сказать что-то пытаюсь. Но попытка была безрезультатной, и он сделал то, чего я и добивался. Отпустил мне пощечину и только тогда силы обрел заорать:

— Присылай секундентов, мальчишка!.. И любовницам своим скажи, чтоб загодя *pleureuses* («траурные нашивки на платьях») готовили!..

Свершилось! Или — почти свершилось, потому что мне необходимо было, чтобы не я его на дуэль вызвал, а он — меня. Тогда у меня и право первого выстрела, и чести больше. Ведь не кто-нибудь, а сам Руфин Иванович Дорохов к восемнадцатилетнему прапорщику снизошел, к барьеру его пригласив: представляете, какие разговоры по всему Кишиневу пойдут?..

И еще одно обстоятельство волею моею тогда двигало: не мог я дороховского крика забыть. В ушах он у меня звучал: «С шестнадцати шагов!..»

Не мог простить жестокости этой. Шестнадцать шагов — либо верная смерть, либо верное увечье.

Вот потому-то я сразу же, не раздумывая, возвращаю ему пощечину. С той лишь разницей, что я и вправду на спор подковы гнул и в данном случае силы не сдерживал.

Отлетел он шага на три от моего внезапного ответа. Вскочил, почему-то отряхнулся сначала. И как-то странно — потрясенно, что ли? — молчал при этом.

— Ваши секунданты всегда найдут меня, сударь. Проще всего — в фехтовальном зале.

Поклонился я ему и пошел к своей лошади, не оглядываясь.

21-е мая. Кстати, день рождения моего

Начался он совсем невесело: матушка депешу прислала, что отец у моего Савки помер. На похороны он, естественно, не успевал, на девять дней тоже, но к сороковинам поспеть мог. И я ему все бумаги выправил, подорожную оплатил, денег с собой дал да и отправил в Псковскую губернию.

— Памяти отцовской поклонись за меня. И мамке нашей слезы оботри.

Знал я его отца Игната с детства, когда он мне и Савке свистульки из вербы делал. Хорошие свистульки, голосистые... Потом батюшка мой на оброк его во Псков отпустил — головастым был мужиком, грамоту сам осилил...

— Поцелуй мамку за меня.

Помахал Савке вслед и занялся своими делами.

Секундантом своим я майора Раевского попросил быть. Рассказал ему все обстоятельства, вызову предшествующие, ничего не утаив. Он выслушал молча, подумал, вздохнул.

— В словах ваших нисколько не сомневаюсь, но любопытно, по какой такой причине Дорохов столь долго ваши выходки терпел?

— Сам удивляюсь.

— Не похоже это на него, — продолжал размышлять майор. — Прощения прошу, одно на ум пока приходит.

— Что же именно?

— А то, прапорщик, что в вас он копию свою увидел. Себя — молодого, фанфаронистого и, пардон, не слишком умного.

— Нелестного же вы обо мне мнения, майор. Что ж, извините, что беспокоил просьбой.

— Да перестаньте вы со мной-то фанфаронить, — вздохнул Раевский. — Коли б не сообразил я, что таким путем экстравагантным вы Пушкина прикрыть пытаетесь, а в результате за него же и под дороховский пистолет пойдете, так уж давно и разговору этого не было бы. Ну не нравитесь вы мне, Александр, что уж тут поделывать. А Пушкину — нравитесь, стало быть, есть в вас что-то, мне пока недоступное. А потому — вот вам моя рука.

Пожали мы друг другу руки, крепко пожали, от души, хотя я, признаться, с трудом обиду проглотил. Да и то потому только, что Раевский был на редкость прямодушным человеком.

— Только Пушкину — ни слова.

— Ни полслова, майор, — сказал я.

И от полной раздвоенности чувств своих вдруг ляпнул:

— А у меня день рождения сегодня.

— Что ты говоришь? — засиял майор, неожиданно перейдя на «ты». — Вот уж об этом мы ему обязательно скажем!..

...С прямодушными трудно дружить, дети мои далекие. С теми, кто под тебя подлаживается, умалчивая о просчетах, ошибках, а то и грехах твоих, куда как просто. И просто, и лестно, и душе покойно. Только опасно спокойствие это. Покойника оно спокойствие, а не живого человека. А душа работать должна, а не в уюте на лаврах почивать. Не тягучий приторный мед подхалимства пить должно человеку — пусть лучше он всегда по усам течет, — а тяжким трудом заниматься во спасение свое. Как на святых небесах, так и на грешной земле в особенности. А потому цени-

те прямодушных друзей своих, никогда не щадящую самолюбия вашего прямоту их всегда с благодарностью им же прощая без единой занозы про запас. Они — самородки в пустой породе человеческой, и уж коли повезло вам с ними встретиться, то берегите дружбу их, как компас души, как зеницу ока собственного...

Раевский и впрямь сказал Пушкину о моем дне рождения. Как раз в день тот я на фехтование наше обычное не явился, не желая встретить там секундантов Дорохова, а пошел к Белле в гостиницу — мы с ней добро сдружились, милая была дама и куда как меня постарше, а горничная болгарка Светла — чудо как хороша! Из-за нее-то и с Беллой познакомился... Впрочем, прощения прошу, упоминал об этом вполне своевременно...

Да, так пошел я к Белле и условился с нею, что вечером навещу ее с добрыми друзьями.

— Есть у меня уютная комната, Саша, — сказала она. — Велю там накрыть стол, и уж поверь, никто не помешает.

— Спасибо, — говорю и запинаясь, этак со смущенной значительностью на нее глядя.

— Девочки? — невозмутимо спрашивает она. — Разумеется, и прехорошенькие. Сколько вас будет?

— Да трое всего-то.

— Трое и составят компанию вам, — улыбается Белла. Выхожу от нее и нос к носу сталкиваюсь с Пушкиным.

— Дорохов тебя вызвал?

Хмуро спросил, не поздоровавшись даже. И кто ему разболтать успел?..

— Так уж случилось, Александр Сергеевич.

Идем по улице, неизвестно куда и зачем.

— Кого попросил в секунданты?

— Раевского. Он противников в фехтовальном зале ждет. Так условились. А вы-то откуда о сем пустячке узнали, Александр Сергеевич? Какая сорока на хвосте принесла?

— Да приятель его, мой вчерашний противник. Ох, Саш-

ка, Сашка... — Пушкин вздохнул, помолчал. — Рассвирепел Дорохов, говорит, потому тебя и искал. Нельзя тебе промахиваться, хотя и дурно это. Дурно, дурно!..

Разозлился я, признаться, от опеки такой.

— Не беспокойтесь, — говорю, — Александр Сергеевич, понапрасну. Не промахнусь.

— Тогда — либо солдатская шинель, либо Петропавловская крепость!

Тут-то я слова гадалки и вспомнил.

— Стало быть, — говорю, — верно мне гадалка в таборе нагадала, пока вы с Кантараем подряд на всех языках беседу вели.

— Гадалка? — Пушкин вдруг оживился. — И что же она тебе наворожила? Тут за углом Думиреску погребец винный держит. Вино у него доброе, пойдем? Там и расскажешь.

В погребеце у Думиреску было прохладно и тихо. Только два безусых вроде меня гусарских корнета друг с другом в углу чокались. Громко, мрачно и беспрестанно.

Там я все ему и рассказал. И про казенный дом, и про солдатскую шинель. Все грозные пророчества старой цыганки выложил, только об обещанной мне великой любви умолчал. Слишком уж не верилось мне тогда, в мои-то восемнадцать лет, в любовь до гроба. Думал в то время, признаться, что и всем не верится, а потому и решил не говорить об этом, чтобы недорослем не показаться. Особенно — накануне пальбы с Руфином Дороховым.

...Ах, дети мои любезные, не скрывайте же никогда добрых помыслов, надежд да мечтаний собственных от себя самих! Из молодечества, из глупой боязни юнцом прослыть, из ложного страха потерять уважение в глазах усатых, хрипачих, дуэльными шрамами покрытых кумиров молодости своей. Любовь — не тела вашего застоявшегося восторг, любовь — торжество души вашей. Высший взлет ее и парение над обыденностью, над мелочностью жизни, над скотством ее парение. Ничто более не способно сил человеческих в

такой мере приумножить, как всепрощающая, терпеливая преданность и нежная вера в собственную половиночку вашу, коли выпало вам сказочное счастье обрести ее в юдоли мирской...

... — Странно, — сказал Александр Сергеевич, внимательно выслушав меня. — Мне ведь тоже судьбу мою предсказали. Правда, не по глазам, а по линиям на ладони, но это все равно. В Петербурге это было. Гадала старая немка Кирхгоф Александра Филипповна. Свидетелей на сей предмет предостаточно имею: вместе с братьями Всеволодскими, Павлом Мансуровым да актером одним, Сосницким, к ней ввалился. А вывалился ошарашенным.

— Что ж так?

— А так, что она уж очень многое мне предсказала. И изгнание на юг, и тяжкую здесь болезнь, — он снял феску и показал мне свою обриту голову, только-только начинавшую отрастать кудрявыми каштановыми волосиками. — Видишь? Побрили после горячки. И, Сашка, главное она тогда мне предсказала. Что погибну я от руки высокого белокурого человека. И когда я тебя впервые увидел, все во мне как бы оборвалось: вот он, мне предсказанный, подумал сразу.

— Да стоит ли им верить, гадалкам этим, Александр Сергеевич? Только себя растравливать.

— Представь, и я ей с улыбкой то же самое сказал. А она мне в ответ: «Сегодняшним вечером вы деньги получите, и коли случится сие, то и остальное непременно случится, мною предсказанное». А я только рассмеялся, потому что ну ни от кого, ни от кого решительно не ждал и копейки. А домой прихожу — письмо от лицейского товарища моего Корсакова: «Милый Александр, посылаю тебе должок свой лицейский. Прости, что запамятовал...»

— Просто совпадение, — говорю я в надежде отвлечь Пушкина от сих дум роковых.

— Совпадение? А как объяснишь, что дня через два после этого встречаю знакомого одного, капитана лейб-гвардии Измайловского полка, и он мне со смехом рассказывает,

что фрау Кирхгоф эта самая нагадала ему, будто он очень скоро умрет смертью насильственной? И что ты думаешь? На следующее утро после встречи нашей солдат его штыком проткнул в казармах. Тоже совпадение?

Вздыхнул я. В некотором смущении, что ли.

— Давай лучше вино пить, Александр Сергеевич.

Пушкин нехотя отхлебнул вина, помолчал. Потом вдруг озабоченно покачал головой.

— Знаешь, чего она мне всю жизнь опасаться велела, Сашка? Белой лошади, белой головы и белого человека. Трижды повторила: «Weisser Ross, weisser Kopf, weisser Mensch». И с тех самых совпадений после гадания ее я прямо-таки с отвращением ногу в стремя ставлю, если лошадь — белая. Прав Шекспир: «В мире есть много вещей, которые и не снились нашим мудрецам».

Словом, невесело мы тогда вино пили. Пушкин как углубился в мрачность свою, так более из нее и не вылезал.

Я не решался молчания его нарушить, но безусые гусары спьяну готовы были на что угодно решиться. В юном возрасте настигает человека порою жужжащая потребность во что бы то ни стало обратить на себя внимание. Нечто вроде острого приступа почесухи, что ли. И, нестерпимый зуд вдруг в душе ощутив, поднялись корнеты, стукнувшись плечами, и нетвердо направились к нашему столу.

— Вы — сочинитель Пушкин? — спросил один из них, с трудом, как мне показалось, сдержав икоту.

— Вам потребовалось что-нибудь сочинить? — холодно полюбопытствовал Александр Сергеевич.

— Н-нет, — с трудом промолвил второй, все-таки не удержавшись и громко икнув при этом.

— Тогда в чем же дело?

— Вышвырнуть их, Александр Сергеевич? — на всякий случай поинтересовался я.

— Успеешь еще...

— Скажите-ка нам, сочинитель, — вновь перехватил разговор первый, — как правильнее выразиться: «Эй, чело-

век, подай стакан воды» или «Эй, человек, принеси стакан воды»? —

И оба заржали, как стоялые жеребцы.

— Ну, вам не следует этим свои головы занимать, — совершенно серьезно сказал Пушкин. — Вы можете выразить подобное желание свое значительно проще. Крикните только: «Эй, человек, веди нас на водопой!..» — и вас сразу же поймут.

— Что-о?.. Да как вы сме...

Я начал неторопливо подниматься, и оба гусара тут же с завидной поспешностью выкатились из погребка, так и не закончив фразы. Пушкин расхохотался:

— Нахально племя молодое!

Чтобы окончательно отвлечь его от грустных недавних размышлений, я про свой день рождения вовремя ввернул и добавил при этом, что отмечать решил у Беллы.

— Сколько же тебе исполнилось, Сашка?

— Осьмнадцать, Александр Сергеевич.

— Прекрасная пора, — наконец-то Пушкин улыбнулся. — Ну, тогда я домой пойду. К Инзову в клетку золоченую. Отдохну немного, а вечером у Беллы и встретимся...

...Что-то о прошлом я расписался. Надо бы и о настоящем вспомнить.

А в настоящем — не в Кишиневе, а в Опенках родовых — тоже о моем дне рождения не забыли. Вообще батюшка четыре дня в году меня особой ласковостью отмечал: день рождения и именины — 21-го и 23-го мая и дни тезоименитства моего — 30-го августа и 23-го ноября. А посему 21-го и приехал из Петербурга. Радостный, руки потирая. Обнял меня, расцеловал, поздравил и говорит:

— Слава Богу, утряслось все. Тёперь ты — армеец, но зато в этом роде Государь наш прощение тебе пожаловал. Так-то, Псковского полка поручик. Так-то.

А тут и верный мой Савка из Пскова прибыл:

— Квартиру снял, вещи из Новгорода перевез, новую армейскую форму доброму портному заказал.

— Толковый ты парень. — Батюшка расщедрился, червонцем отблагодарил его, разрешил сегодня с дворней мое рождение отметить, но чтоб завтра же во Псков отправлялся.

Следом за Савкой из Антоновки Архип и мамка моя Се-рафима Кондратьевна примчались с поздравлениями. Архипа батюшка к дворне праздновать отправил, а кормилицу к семейному столу пригласил:

— Чай, не чужая ты нам, Кондратьевна.

К столу тому праздничному и меня в креслах усадили. Доктор разрешил.

А того ради пишу о сем, что тем же днем милая моя кор-милица шепнула наедине, как бы совершенно между прочим:

— А соседи-то наши, графья, слыхала я, в Париж уехали. Говорят, дочка их, Аннушка, уж так рыдала, так убивалась...

Защемило сердце мое, в железных тисках защемило. Прощай, стало быть, Аничка, любовь моя единственная. На веки вечные прощай: родитель твой нашего с ним барьера никогда не переступит...

Невеселый, ох, совсем невеселый день рождения у меня в Опенках оказался...

А тогда, в Кишиневе — особо веселый и особо памятный.

Вечером Александр Сергеевич пожаловал. Раньше Раевского и — в полном мажоре. Обнял меня, расцеловал в обе щеки.

— За стол, Сашка, за стол, не пристало нам опаздывающих майоров дожидаться. Ну, пробку — в потолок, именинник!

Открываю я шампанское, разливаю. А Александр Сергеевич из кармана бумагу достает и читает мадригал, мне посвященный.

— Осьмнадцать лет! Румяная пора...

(Приписка на полях: Увы, пропало то стихотворение, как, впрочем, и три других, мне посвященных. Не моя в том вина, потомуки мои любезные. Тяжкая жизнь на долю вашего

предка выпала, пророчица оказалась права. Так что не обессудьте...)

Вскоре и майор объявился. Выпил шампанского за здравие мое и к делу перешел:

— Секундантов ждал, потому и вынужден был задержаться. Ситуация по меньшей мере странная: Дорохов просил тебе свою личную просьбу передать.

— Просьбу?.. — крайне удивился я, признаться. — И в чем же сия просьба заключается?

— Он просит тебя в качестве оружия избрать шпагу.

— Шпагу?.. — я даже рот разинул.

— Шпагу, — подтвердил майор.

— Не пояснил, почему? — спросил Александр Сергеевич.

— Пояснил, — с некоторой неохотой, что ли, сказал Раевский. — Буквально — и секундант клялся в этой буквальности — объяснение звучало так: «Жаль портить свинцом столь античное тело, сотворенное не без вмешательства небесных сил».

— Нет, он и впрямь *bête noire* («черный зверь»), — вздохнул Пушкин.

А меня в краску загнало. По самую шею.

— Этому не бывать! Только пистолеты!

— Не горячись, Александр, — негромко сказал майор и улыбнулся. — Во-первых, проткнуть Дорохова шпагой — разговоров на всю Россию: бретер сам на вертел попал. А во-вторых, у тебя — несомненные преимущества.

Пушкин расхохотался:

— Чудно! Чудно, Сашка! Бретера — на вертел!..

Словом, дал я согласие на шпагах драться: уговорили они меня. Хотя, прямо скажу, против моей воли.

— Ну, допустим. Какие еще условия у Дорохова?

Раевский объяснил. Дуэль наша должна была состояться 28-го мая, ровно через неделю. И — на том же месте, где Пушкин со своим оскорбителем мимо лупили изо всех сил.

А покончив с этими, прямо скажем, не очень приятными

для меня делами, мы вплотную приступили к ужину, и особо усиленно — к шампанскому. Пушкин читал стихи, Раевский говорил спичи, я тоже пытался бормотать что-то веселым языком. В разгар нашей пирушки — и очень вовремя! — пришли девицы. Молодые и все понимающие, как раз — под шампанское, хотя вдовушка Кликко, вероятно, морщилась от наших острот и шуток. И в момент самого шумного восторга этого и столь дорогого для меня веселого и озорного застолья Белла неожиданно заглянула в дверную щель и таинственно поманила пальцем.

Я вышел. Белла выглядела весьма озабоченной, испуганной и растерянной одновременно.

— Помоги мне, Александр Ильич, — шепотом сказала она. — Если не поможешь, меня ждут большие неприятности, а одного человека — не только арест, но возможно, что и виселица. Вот. Откровенно все тебе выложила.

— Откровенность за откровенность, Белла, — говорю. — Кто этот человек?

Некоторое время она молчала, покусывая губы. Дважды поднимала глаза и, наконец, решила:

— Урсул.

— Урсул?.. — Я был поражен. — Предводитель молдаванских гайдуков?

— Да, — убитым голосом призналась Белла. — Неделя уж, как я прячу его в гостинице, и до сей поры все как-то обходилось. Но сегодня мне успели передать, что вечером непременно придут с обыском.

— И как же я могу тебе помочь?

— Посади его за свой стол. Он в мундире капитана Охотского полка, тебе останется просто выдать его за своего гостя, если вообще возникнет такая надобность.

— Белла, — как можно спокойнее и убедительнее сказал я. — Если бы я был только с девочками, я бы тотчас же согласился. Но со мною двое друзей, и я обязан поставить их в известность.

Хозяйка долго молчала, по привычке кусая губы. Потом с мольбой глянула на меня:

— А по-иному никак невозможно?

— Невозможно.

Опять — молчание. Правда, на сей раз не такое уж продолжительное.

— Я вынуждена, вынуждена. Позови их в коридор, Александр Ильич. Девки там обождут.

Позвал. Вышли. Белла им все откровенно выложила и руки заломила чуть ли не со стоном:

— Спасите его, господа! Спасите ради Христа!

Майор хмуро молчал, а Пушкин в восторге на месте устоять не мог. Меня обнял, Раевского подергал, Беллу почему-то расцеловал. И ей же строго напомнил:

— Про четвертую девицу не позабудь. Для капитана Охотского полка.

— Весьма рискованное предприятие, — сухо сказал Раевский. — Я понимаю, Белла, и вашу озабоченность, и ваши надежды, но...

— Никаких «но»! — воскликнул Александр Сергеевич. — Это же дело чести — с носом жандармов оставить! И об Урсуле наслышан: отменного благородства и отваги человек.

— Да поймите же, господа, я рискую поставить под удар всю... — майор вдруг запнулся (испуганно запнулся, как мне показалось), махнул рукой. — Впрочем, это уже не имеет значения. Хотя бы сделайте так, Белла, чтобы этот гайдамак с дамой к нам вошел с дружеским поздравлением, а не свалился бы как снег на голову. И очень было бы кстати, если бы наши приятельницы с его дамой не оказались бы добрыми знакомыми при этом.

И тут же ушел в комнату. Весьма не в духе, по-моему.

— Parfait («прекрасно»)! — воскликнул Пушкин, он пребывал в восторженном настроении. — Давайте сюда вашего героя. Да не позабудьте о еще двух приборах: у жандармов — глаз прищуренный!

Белла все сделала как надо. И дополнительные приборы на столе появились, и два кресла лакей втащил, и мне дала время наших девиц подготовить («Ко мне вне-

запно друг пожаловать должен...»), и успела Раевскому шепнуть:

— Не беспокойтесь. Даму, с которой он придет, ваши девицы не знают.

И наконец вошел Урсул. Стройный, с черными бакенбардами, в ловко сидящем мундире капитана Охотского полка. И с ним — премиленькая брюнетка лет шестнадцати с такими умненькими черными глазками, что Александр Сергеевич вмиг развернул во всю красу свой павлиний хвост:

— И юная звезда взошла на небосклоне...

— Здравствуй, Александр, — невозмутимо говорит тем временем мне Урсул. — От всей души поздравляю.

Целует в обе щеки, преподносит корзинку с полудюжиной шампанского и знакомит с девой:

— Моя невеста. Представь же меня милым дамам и друзьям своим, Александр.

— Дамы и господа, мой друг капитан пехотного Охотского полка... — начинаю я, одновременно мучительно сообщая, каким же именем мне его наградить.

— Ура, дамы и господа! — вдруг кричит обычно сдержанный Раевский, поднимая бокал. — Нашего полку прибыло, стало быть, за пополнение!

Премило пьем шампанское, премило Александр Сергеевич обвораживает и без того обворожительную брюнеточку, премило звучат и шутки, и стихи. И я, хозяин, вовремя что-то подходящее случаю бормочу, а сам двум вещам не перестаю удивляться. Хладнокровию Урсула и неожиданной живой непосредственности сдержанного Раевского.

— До первого луча светила! — кричит Александр Сергеевич. — Кто первым узрит сей знак, тому и желание загадывать, для всех обязательное! Раздерни шторы, Сашка!

— Вы упрощаете задачу, — улыбаясь, говорит Урсул. — Этак все первыми и окажутся. Не лучше ли в полутьме да при свечах солнечного луча дожидаться?

— Совершенно согласен с вами, капитан, — тотчас же подхватил Раевский. — Чем сложнее задача, тем драгоценнее награда.

«Им полумрак нужен, — соображаю я сквозь туман шампанского. — Да и нам не помешает...» И горячо поддерживаю:

— За полумрак, пособник юного веселья!..

Сидим в полумраке. Пьем, шутим, смеемся..

И вдруг постучали в дверь. И хотя все, кроме девиц, стука этого ждали, а все равно, стук как выстрел: и ждешь его, а он всегда — вдруг...

Да, так вдруг — стук, и дверь распахивается.

— Доброе утро, господа.

Чиновник, два жандарма, перепуганная Белла.

— Извольте представиться, господа. По очереди, разумеется, и неторопливо.

Пауза крохотной была, а в добрую версту мне тогда показала. Да не на лошади версту, а — пешком. Секунда за секундой, как шаг за шагом. И неизвестно, сколько бы молчание это, угрюмо зависшее, продолжалось тогда, да тут совершенно уж неожиданно вскакивает Александр Сергеевич. Вдруг вскакивает и с радостным криком бросается к чиновнику:

— Иван Иванович, ты ли это?

Обнимает его, тормошит, смеется.

— И как ты о дне рождения Сашки Олексина узнал? Сашка, шампанского неожиданным гостям!

— Что ты, Александр Сергеевич? — растерянно бормочет чиновник. — Мы — на службе...

— Осьмнадцать лет юноше нашему!..

Я упрасивать да руки пожимать бросился. Раевский тем временем шампанское разливает, девицы смеются, аплодируют...

Выпили они по бокалу за мое здоровье при всеобщих веселых уговорах. Выпили, непрошенные гости что-то объяснить пытались, но все весело шумели, даже девицы. Майор вновь бокалы наполнил, и то ли они еще одной порции шампанского испугались, то ли и впрямь ничего особенного в пирушке не усмотрели, а только поспешно откланялись и ушли. А мы изо всех сил веселую шумиху поддерживали, пока Белла, проводив их, не вернулась к нам.

— Ушли.

Урсул тотчас же встал:

— Вечный должник.

Поклонился и вышел. И дева, таинственная и черноглазая, вышла вместе с ним.

А мы почему-то долго молчали. Девушки, пошебегав, тоже примолкли, а потом Раевский сказал:

— Первым я сегодня солнечный луч увидел, а потому и желание загадываю. Нежно благодарим хозяина, Беллу и — расходимся по квартирам. Спать, сколько сможем.

— Знаете, друзья мои, а я — горд, — вдруг тихо и задумчиво произнес Пушкин. — И чувство такое, что нет чище этой гордости ничего в душе моей.

28-е мая. И звон в ушах

Звон рапир. Неделю мне Александр Сергеевич спуска не давал. Точнее — почти неделю.

— Резче выпад, Сашка, резче! Он неожиданным быть должен, а ты загодя к нему примериваешься.

Впрочем, не сразу мы к иступленным своим занятиям приступили. На следующий день после нашей пирушки у Беллы Пушкин велел мне отоспаться, но я его не послушался. Поспал не более двух часов и побежал к Белле. Зачем побежал? За черными глазенками, уж очень пронзил меня взгляд их.

— Забудь, Саша, — серьезно сказала Белла. — Это сестра Урсула. Он определил ее... к одной почтенной даме, и она никуда не выходит, довольствуясь прогулками по саду.

Вот с Урсулом мне почему-то ссориться совсем не хотелось. Вдохнул я и переменял разговор.

— Я об Урсуле был совершенно иного мнения. Упорные слухи ходят, что он чудовищно жесток. Ограбил с шайкой таких же головорезов какого-то купца, но был пойман. И будто в какой-то крепости сейчас в цепях содержится.

Белла улыбнулась:

— Тот Урсул действительно существует и действительно в крепости сейчас. А вчерашний... не могу сказать настоящего имени его, ты уж извини меня, слишком широко известно оно в Молдавии. Так тот, которого вы вчера от ареста спасли, просто имя того разбойника взял, чтобы свое родовое уберечь. За что и обещал разбойнику, что непременно побег ему устроит.

Ну ладно я перепутал, Пушкин такие проказы любит, но как же рассудительный майор? Мне было непонятно это, но я промолчал, принимая во внимание, что тайна не моя, а посему и вторгаться в нее не очень благородно. Но загадочность образа сего весьма меня заинтриговала. Весьма и надолго.

А на другой день явился в фехтовальный зал. Александр Сергеевич уже был там. Хмурый, озабоченный и серьезный.

— Узнал от верных людей, — сказал он, едва я порог пересек. — Дорохов шпагой владеет отменно, стало быть, никаких преимуществ в мастерстве у тебя нет. У тебя одно преимущество, Сашка, — в силе твоей бычьей. Стало быть, его изящной французской шпаге надо противопоставить шпагу итальянскую. Известна ли тебе разница в манере фехтования этих двух школ?

— Нет, — говорю. — Результат известен.

— Какой результат?

— Поразить противника раньше, нежели он поразит тебя.

— Корпусное обучение сказывается, — проворчал Пушкин и взял рапиру за рукоять, как гадюку. — Запомни. Французы держат шпагу двумя пальцами: большим и указательным. Остальные три пальца лишь управляют шпагой в поединке. *Doigte*. («Управление пальцами», фехтовальный прием.) При этом вся нагрузка падает на кисть. Итальянцы обнимают рукоять шпаги всеми пятью пальцами, а управляют — кистью. Что при этом более всего должно работать? Локоть. А это требует большей затраты сил. А поскольку сил тебе не занимать, значит, отрабатывать будем итальянскую манеру. А потому не за рапиру хватайся, а за мою трость.

— Что?.. За железную трость?

— Она для тебя теперь — учебная рапира. И все дни, что до поединка остались, ею фехтовать будешь. И трость моя в твоей ручище подобно рапире и сверкать должна.

Взял я прут его кованый. Примерился и говорю:

— В трости, между прочим, гарда не предусмотрена, Александр Сергеевич.

— Не беспокойся, в руку колоть не стану. Ан-гард! (боевая позиция). Готов? Аппель!..

Ох, как же ныло плечо мое после второго дня фехтования железной пушкинской тростью! Александр Сергеевич отрабатывал каждый прием до чистоты, будто поэму сочинял, щедро занимаясь вычеркиваниями да переписываниями. Посмотрите рукописи его, тогда поймете, какой муке он меня подверг, пока я чисто не стал выполнять все приемы боя. Всякие там батманы, дебаже, мулине, ремизы и репризы, рипосты и прочее, и прочее. Но в конце занятий наших справился я со всеми этими премудростями, и боль в плече прошла. И 26-го вечером Александр Сергеевич давал мне последние наставления:

— Главная твоя задача — оружие у него из руки выбить. Используй мулине: этот прием у тебя лучше всего получается. Только не рисуй концом шпаги полную восьмерку, а делай как бы девятку и в конце ее резко бей по его оружию поближе к эфесу. Возьми рапиру, покажу, чтобы ты окончательно уразумел.

Я взял рапиру, а он показал. Три раза, и за все три ни разу у меня рапиры не выбил. Но это его не смутило:

— Из твоей лапищи шпагу и оглоблей не вышибить. А у Дорохова — почти наверняка.

— Да уж постараюсь, — говорю.

— Вина не пить ни рюмки. Начиная с сегодняшнего вечера и до конца поединка.

— Александр Сергеевич...

— Это тебе не стрельба с места, это — тяжелая работа, Сашка! Слово мне даешь в этом?

— Слово, Александр Сергеевич.

— И последнее. В день дуэли рано ляжешь и рано встанешь. И не вздумай за девчонкой какой уволочиться! От них ноги слабеют, а тебе часа два прыгать да прыгать.

Попрыгать мне пришлось...

...Что это я прошлым увлекся, а о дне сегодняшнем как бы и позабыл вовсе? Нет, не позабыл. Просто тоскливо мне было в дне сегодняшнем. На Аничку он укоротился, а значит, как бы и вообще исчез. Исчезло время мое из жизни моей в то время...

Ну, а так — поправлялся помаленьку. И боли в голове почти прошли, и ходить я заново учиться начал.

Только Аничка моя была в Париже. И остался у меня один Кишинев. Потому что там был тогда Пушкин...

28-е мая

Утром того, 28-го, числа я ни росинки маковой не проглотил. Никогда не завтракаю перед дуэлью и вам завтракать не советую. От сытого кураж бежит, а голодного — любит.

В шесть за мной Раевский заехал.

— Готов?

— Готов.

Выхожу из мазанки своей, дверцу кареты открываю, а там — Пушкин. Съежился в уголочке.

— Я из кареты не выйду. Не выйду, Сашка. Мне бы в щелочку посмотреть, каков результат стараний моих.

Я было начал кричать, что не желаю его там видеть, что это нарушение правил, что, в конце концов, существуют же... А Раевский только вздохнул безнадежно:

— Не трать пыл понапрасну, дуэлянт. Меня Пушкин уже уговорить умудрился.

Замолчал я и в карету сел. А Пушкин довольно захихикал и от удовольствия руки потер.

От мазанки моей до места встречи с Дороховым путь

был неблизок. Скрасить его хотелось, да, признаться, одна мысль покоя мне не давала. Мыкался я с нею, мыкался да и спросил своего секунданта напрямую:

— А вы знали, Раевский, что Урсул на самом деле и не Урсул вовсе?

Пушкин живо ко мне оборотился:

— Не Урсул? А кто же, коли не он?

— Знал, — вдруг резко сказал Раевский. — Но настоящего имени его сказать не могу, слово дал. А вот историю некую... Историю, пожалуй, рассказать готов.

— Расскажи, непременно Расскажи, — завертелся на сиденье Александр Сергеевич: уж очень он в то утро вертлявым был, больше, чем обычно. — Люблю твои истории.

— Тогда представьте себе, что некий молодой человек, хорошо образованный и отменно воспитанный, но из порядком обедневшей семьи, на последние деньги, семьей собранные, уезжает учиться в Санкт-Петербург. Успешно заканчивает в университете, возвращается домой и узнает, что местный господарь разорил его отца до нитки, жалкое именье их на себя отписал, а юную красавицу дочь арнауты этого господаря украли и в дом господина своего увезли. Несчастный отец от позора сего тут же и помер, а мать добровольно в заточение к тому господарю ушла, чтобы к дочери быть поближе и тем от возможных посягательств ее уберечь. А молодой человек отважен и пылок...

Раевский неожиданно замолчал.

— Ну же, ну! — в нетерпении потребовал Пушкин. — Почему ты замолчал?

— Сочиняю, — сурово пояснил Раевский. — Это ты у нас песни свои слагаешь с мастерством соловьиным, а я так не могу.

— Коль начал, так уж изволь продолжать.

— Дальше слушайте, коли желание есть. Собирает тогда осиротевший и оскорбленный молодой человек этот отряд из арендаторов своих бывших, сильно обиженных на самоуправство господаря, и глухой осенней ночью поджигает отчий дом, отошедший ныне в чужие заграбастые

руки. И пока арнауты господаря тушат пожар, врывается в господарский особняк, отбивает сестру с матушкой и увозит их в неизвестном направлении. Матушка его, правда, помирает вскорости, не снеся потрясений, а молодой человек объявляется вне закона. И, будучи знакомым с английскими балладами о благородном разбойнике Робине Гуде, решает повторить подвиги его в родной Молдавии. И начинает грабить богатых, щедро раздавая награбленное беднякам, скрываясь в промежутках сих подвигов под сенью густых дубрав.

— Густых дубрав... — медленно повторил Пушкин.

И вздохнул.

— Вот, собственно, и вся история о некоем молодом человеке, — сказал Раевский. — Простите великодушно, что даром сочинительства не облагодетельствован в полной мере.

— Славно, славно, — снова задумчиво протянул Пушкин.

Приехали наконец. Дорохов еще не появился, но Раевский все же взял с Александра Сергеевича слово, что из кареты он не выйдет, а будет наблюдать в щелочку шторы.

Только вылезли из кареты — Руфин Иванович пожаловал, а с ним секундант и доктор. Дорохов молча пожал Раевскому руку, холодно кивнул мне и пошел на поляну. Место нашего предстоящего боя осматривать.

Что уж долго-то рассказывать. Раевский, как водится, нам помириться предложил, мы, как часто водится, отказались. Секундант Дорохова шпаги из кареты достал, мы с Руфином Ивановичем до рубах разделись, разобрали шпаги и стали на позиции.

— До первой серьезной раны, господа! — крикнул Раевский.

— А об этом уж позвольте мне судить, — холодно улыбнулся Дорохов. — Я — лицо оскорбленное.

Подумал, искоса бросил на меня оценивающий взгляд и добавил неожиданно:

— На перерывы, пожалуй, соглашусь. Через каждые полчаса, если то угодно противнику моему.

И на меня выжидательно смотрит. А я усмехнулся да молча плечами пожал.

Дали сигнал к поединку. Мы, как полагалось, отсалютовали секундантам и друг другу и — начали.

...Ах, сыны мои, никогда сил своих не переоценивайте. Две системы решений существуют: сложная и простая, а военным языком сказать, так стратегическая и тактическая. Сложная система прикидывает все возможные расклады событий будущих, храня цель, так сказать, задним умом. А простая всегда ищет наикратчайший путь для достижения цели, ни о чем ином и не помышляя. Но был я и молод, и глуп тогда, а потому ни о какой стратегии вообще не желал помышлять. За что и поплатился...

Я шпагу всей ладонью держал, по-итальянски, легко и сильно но выпады противника отбивая. Минут пятнадцать мы так плясали друг перед другом, приравниваясь да упругим звоном обмениваясь. Показалось мне, что понял я манеру боя соперника своего, поймал его на выпаде, ударом далеко шпагу отбив. И тут же применил мулине, помня совет Александра Сергеевича. Стал рисовать перед глазами противника восьмерку да и не закончил ее, неожиданно резко ударив по его шпаге вблизи эфеса. И — удалось, удалось!.. Шпага из рук его вывернулась, сверкнула в воздухе и упала в шаге от меня. Мне бы наступить на нее или отбросить ногою подальше, но гордость к горлу подступила. Отсалютовал я ему и сказал:

— Возьмите свое оружие, Руфин Иванович.

Странно глаза его блеснули. То колючими были, как два крыжовника, а тут вдруг — блеснули...

— Благодарю, — сказал он сдавленным голосом. — Но пощады не ждите.

...А Пушкин потом, в карете, расцеловал меня...

Дорохов поднял свою шпагу, занял позицию и вдруг с такой ослепляющей быстротой начал меня атаковать, что я

уж ни о каком там мулине или рипосте и вспомнить не мог. В глазах рябило от блеска его клинка, и я только тем поглощен был, что с трудом отбивался да отступал. Не знаю, чем бы штурм его закончился тогда, если бы секунданты не заорали хором, что — перерыв.

Разошлись мы по разным концам и сели, отдуваясь. Тяжелая это работа — с боевой шпагой по поляне скакать. Уж на что я молодой да здоровый бычина — и то дыхание сбил...

Раевский ко мне подошел. Улыбнулся:

— Богу молись, Александр, на большого мастера попал. Но поступил очень порядочно, позволь руку твою пожать. Учти, у Дорохова сил мало осталось, а это означает, что сейчас он усилия утроит, чтобы с тобой разделаться. Коли продержишься до второго перерыва, считай, что победил.

Легко сказать — коли продержишься...

Не продержался я. Сперва было в атаку бросился, но он не только ловко ушел от нее, но и сам внезапно на атаку переключился. Столь бешеную, что я мгновениями и шпаги-то его не видел. Уж и отбивать выпады его не мог, а лишь отпрыгивал, тело свое унося.

И — не унес. Увидел лезвие, хотел отбить, но лезвие вдруг ушло от моей шпаги. А когда сообразил, куда оно ушло, то и тут не увидел, а — почувствовал. В тело мое оно ушло. По счастью, правда, вскользь, по ребрам...

Упал навзничь. Но шпаги из рук не выпустил. И второй, колющий удар, лежа отбил.

Закричали тут секунданты наши:

— Остановить бой! Врача!..

— Время еще не вышло, — улыбнулся Дорохов. —

Коли признает себя побежденным и прощения у меня испросит, тогда...

Тогда вскочил я. Вскочил и на противника помчался, как бык на тореадора. Кажется, даже заревел по-бычиному. И не шпагу его, а его самого, Дорохова, только и видел. Видел и пер на него, как в самом последнем бою на противника

прут, ни о чем ином уж и не заботясь. Еще дважды он шпагой меня достал, но я и уколов-то не почувствовал тогда. Я ничего уже не чувствовал, но яростью своей ослепленной пробил-таки непробиваемую защиту его. Пробил и, падая уже, вонзил шпагу в его бедро...

В себя пришел уже в карете, в трех местах перевязанный. И ведь отчетливо помню, что сознание не терял, даже Дорохову руку пожал, подойдя к нему по его просьбе. И на вопросы доктора отвечал, когда он меня перевязывал, и даже говорил что-то, а... ничего не помню. Не в себе был.

А в себя вернулся в карете только. Голова моя на коленях Пушкина лежала, карету трясло, потому что кучер лошадей гнал, я боль ощутил и все начал соображать.

— Молодец, Сашка, — улыбнулся Александр Сергеевич и поцеловал меня. — Это — за то, что шпагу вернул. А раны у тебя пустяшные, кости нигде не затронуты. Я в Канцелярии скажу, что заболел ты, а потому просишь двухнедельный отпуск. На Антиноях как на собаках: все заживает!..

Доставили меня до мазанки мамы Каруцы. Она было ахать начала, но я лег и сразу уснул.

Проснулся в сумерки от шагов с сапожным скрипом. Увидел человека какого-то, который баул в комнату внес, и вернулся сон досматривать, глаза, естественно, прикрыв.

...Во сне мне Аничка улыбалась...

Но все слышал. Какие-то шаги, какой-то шепот. А потом и голос разобрал:

— Проснись, Антиной. Тебе плотно поесть надо. Да и вина выпить тоже не грех.

Открыл глаза: Пушкин мне улыбается. За ним — стол накрытый, с двумя свечами. И мама Каруца у дверей. И сразу в ясное соображение пришел:

— Александр Сергеевич?.. Вы-то что тут делаете?

Улыбается Пушкин:

— А я тоже на десять дней отпуск испросил. Надо же тебя, дуэлянта, развлекать.

— Садись, Саша, — улыбнулась мне мама Каруца. — Я барашка для тебя зарезала, ешь, пока не остыл.

Александр Сергеевич к столу мне помог перебраться: покачивало меня, видно, крови много потерял из трех-то дырок на теле. Мама Каруца таз с водой принесла, умыла лицо мое, на котором пот коркой засох, и начали мы пировать втроем.

...Пишу сейчас строки эти, и с глаз слезы смахиваю, тот пир вспоминая. Мама Каруца кормила меня, Пушкин вина подливал, шутил и стихи читал. И одно подарил тогда, мне посвященное...

(Сбоку — приписка: Увы, не оставил я вам в наследство ни единой пушкинской строки, святой для человека русского и бесценной для меня. И хоть нет в том ни грана вины моей, а все одно — жаль до боли потери сей невозстановимой, в чем вторично вам признаюсь. Потом расскажу, почему и как случилось это. Потом. В надлежащем месте «Записок» сих и в надлежащее время.)

Да, славно мы тогда попировали. И барашек отменным оказался, и настроение наше победное, и кураж из трех дырок, которые в теле моем дороховская шпага оставила, не полностью вытек из меня. Видать, с пира этого да с доброго молдавского вина я и пошел на поправку. Доктор наезжал, перевязки делал, разрешил во дворе гулять, но очень пока немного и — с провожатым. И я гулял с провожатым. С Александром Сергеевичем.

Вскоре и майор Владимир Раевский меня навестил: никак не мог раньше, служба, говорил, заела. А почти следом за ним какой-то арнаут — мрачный довольно-таки субъект, надо признать, — внес в дом большую корзину с отменным вином, поставил и вышел, не ответив нам ни на один вопрос. Пушкин первым ту корзину открыл (любопытен был невероятно).

— Никакой записки, — говорит. — Только — вот.

И достает из корзины зеленую дубовую ветку.

— Записки нет, зато хозяин теперь уж точно известен, — улыбнулся Раевский.

— Кто?

— Да тот, видать, кто в дубравах ночевать любит.

— Урсул?.. — почему-то шепотом спросил Пушкин.

— Полагаю, что так.

А на следующий день — Раевский уж уехал — новый подарок в мазанку нашу внесли. Правда, не арнаут на сей раз ее доставил, а — посыльный, да и не корзина то была, а ящик венгерского токая хорошей выдержки.

— Письмо — внутри, — сказал.

И удался. Мы вскрыли ящик и впрямь обнаружили письмо:

«ПОПРАВЛЯЙСЯ, ПАТРИЦИЙ. ОБИД ДЕРЖАТЬ НЕ УМЕЮ, СРАЖАЛСЯ ТЫ ОТВАЖНО, А ПОСЕМУ — МИР. ДОРОХОВ».

А через четыре дня Пушкин пропал. Я метался по двору, по саду, кричал до хрипоты, пока мама Каруца из виноградника не появилась на вопли мои.

— Зачем ты так кричишь, Саша? Пушкин на заре с табором Кантарая ушел.

— Как — ушел?..

— Велел передать тебе, чтобы ты не тревожился. На днях вернется, сказал.

И правда, появился через трое суток. Осунувшийся, усталый, молчаливый, в мятом сюртучке, прожженном в трех местах. Бросился я к нему:

— Александр Сергеевич!..

— Потом, Сашка, потом, — забормотал он, даже не улыбнувшись. — Не приставай ко мне сейчас.

Сел к столу, походную чернильницу свою водрузил и начал из всех карманов какие-то клочки бумажные извлекать. Разглаживал каждый, прочитывал бегло, клал на стол и тут же другой брал. А перебрал все, стал их по какой-то одному

ему известной системе раскладывать. Будто пасьянс. И бормотал при этом под нос:

— Это — сюда. Не хватает... Не хватает чего-то. По-метим...

Оторвался от бумажек, ко мне вдруг повернулся:

— Четыре строчки. Всего — четыре. Послушаешь?

И начал читать, не дожидаясь моего согласия:

Расти на воле без уроков;
Не знай стеснительных палат
И не меняй простых пороков
На образованный разврат.

Ровно четыре строки прочитал и уставился на меня с каким-то хмурым, что ли, ожиданием.

— Ну как? Что скажешь?

— Мне понравилось, Александр Сергеевич. «И не меняй простых пороков на образованный разврат...» Хорошо. Это я детям своим в назидание оставляю.

— В назидание?.. Вот то-то и оно, что в назидание...

Вздыхнул Пушкин. И опять своим странным пасьянсом занялся, от меня отвернувшись.

...Он из табора вернулся с первыми набросками поэмы «Цыганы». Может, даже не с набросками, а всего лишь с заметками к наброскам. Но прочитанное мне четверостишие в поэму не включил. Уж не знаю, по какой причине. Но я тогда с его голоса эти строчки запомнил. Дословно; понравились они мне очень...

Долго он так за столом сидел. Что-то правил, что-то вычеркивал, что-то менял местами. Мама Каруца дважды в комнату заглядывала, намереваясь на стол накрывать, но — не решалась. Потом Александр Сергеевич удовлетворенно вздохнул, распахнул свои бумажки по карманам и сам закричал:

— Есть хотим, мама Каруца!

Умылся, переоделся к столу, но оставался задумчивым и... отсутствующим, что ли. Будто не было его с нами...

А после обеда, когда мама Каруца уж со стола убрала, а мы вино попивали, сказал вдруг:

— Понимаешь, на месте они маршируют.

— Кто?

— Цыганы. Я раньше как бы только фасад и видел. Красивый народ, вольные фигуры, дикие пляски, диковатые песни. А потом изнутри на них же взглянул — Боже мой!.. Вместо законов — обычаи, вместо обычаев — привычки, вместо традиций — предания. Просвещения не принимают, детей грамоте не обучают, женщины — почти рабыни, на себе семьи тянут. Собственности не признают, даже не понимают, что она такое означает да и зачем она вообще. И ведь не скупцы, а одну лишь ценность постигли: золото. И народ не просто смысленый — способный народ. И к ремеслу, и к труду, и к занятиям, и к музыке, а словно застыли в пути своем вечном. На тысячу лет застыли. Движение ради движения. По кругу таборы их движутся, по кругу, который они и рвать не пытаются, да и не хотят. И существуют по привычке, что ли. Вопросов себе не задают, а значит, и ответов не ищут. И ведь у нас, на Руси, таких вот, им подобных, тоже предостаточно. Тех, которые ни вопросов задавать не желают, а уж ответов искать — тем более. Нет, это — не воля, Сашка, это — дикость. До воли еще дорасти надо...

Замолчал он. И я молчал, не очень, признаться, понимая рассуждения его. Долго мы так молчали, а потом Александр Сергеевич вздохнул и улыбнулся мне. Как бы через силу.

— Ты вроде окреп, Сашка, и я тебе уже не нужен. Да и дело у меня, признаться, появилось. Туманное пока, но чувствую, важное для судьбы моей. И — безотлагательное.

И после обеда уехал. Меня обняв да маму Каруцу расцеловав в обе толстых щеки.

Июня 12-го дня

Через неделю и я в Канцелярию явился, доложив, что избавился от всех хворей. Потом в фехтовальный зал зашел, но Александра Сергеевича там не оказалось.

Встретились лишь неделю спустя, не раньше. Я было спросил, почему он больше фехтованием не занимается, но Александр Сергеевич как-то очень уж странно глянул на меня. И, помолчав, сказал с весьма большим удивлением:

— Знаешь, Сашка, я роман в стихах начал...

И пропал с горизонта моего. А я мыкался. К нему привязался, в салоны не тянуло, даже карты позабыл. Маялся, метался, бродил. Пил — с кем-то, беседовал — с кем-то, понтировал — тоже с кем-то, сейчас уж и не упомнишь. И почувствовал вдруг странную потребность к Дорохову заглянуть.

Необъяснимое желание, но — заглянул. Благо предлог имелся: за подарок поблагодарить.

Руфин Иванович по квартире еще с палочкой передвигался, видно, глубоко я бедро его тогда проткнул, в последнем падении. Но посещению моему он явно обрадовался, хотя почему-то изо всех сил пытался это скрыть.

— Аве, патриций! На растущей молодости раны быстро затягиваются, не так ли?

Почему он меня патрицием прозвал, не знаю, но я не обижался. Спросил о здоровье, ответ получил невразумительный и поинтересовался, не скучно ли в четырех стенах натуре его, столь энергичной и к азартным действиям склонной. Усмехнулся Дорохов:

— Я более к покою склонен, патриций. По мне, так сидеть бы сиднем в имении, управлять бы крестьянами с разумной строгостью, а там бы, может, и на соседской помещицкой дочке какой жениться ради рода продолжения.

— А что же мешает вам, Руфин Иванович, мечту свою заветную осуществить?

— Так нет у меня ни имения, ни крепостных. Батюшка в лучший мир отошел, матушка с сестрой незамужней в Калуге

проживают, доходов у них — один его пенсион за тяжкое ранение в войне Отечественной. А у меня и этого нет. То есть вообще ничего нет, поскольку я — в отставке без мундира и пенсии.

— Это почему же так?

Спрашиваю растерянно, поскольку им рассказанное как-то не укладывается в образ знаменитого бретера и игрока. Да и просто в голову не укладывается.

— Долгим рассказ будет, — вздохнул Руфин Иванович.

— Мне терпению друзья учиться советовали.

Улыбнулся Дорохов:

— Впрочем, за парой бутылок доброго вина разве? Если вы и впрямь к дружеским советам склонны.

Заверил я его, что и склонен весьма, и спешить мне некуда. Лакей по знаку его три бутылки доставил. Выпили мы с ним по бокалу, и Дорохов начал свой неторопливый и, признаться, неожиданный для меня рассказ.

— Я из семьи небогатой да к тому же и разоренной порядком. Но — большой: отец, мать, три сестры да младший брат. Но как-то сводились у нас концы с концами: батюшка и я уже офицерами были, а младший брат мой вот-вот закончить должен был свое образование и первый чин получить. А тут — наполеоновское нашествие, и очень скоро батюшка мой получает осколочное ранение при обороне славного города Смоленска. Я — в драгунском полку, младший брат корнетом в гусарский определен, а война идет себе да идет. И по дороге своей проходит через наше имение.

И — замолчал.

— Разорили?

— Дотла, патриций, дотла. — Руфин Иванович не сумел сдержать вздоха, хотя отменно владел собою. — А затем...

И опять замолчал вдруг, голову опустив. А сказал для меня неожиданно:

— Помянем брата моего, а?

Я бокалы наполнил. Встали мы, помолчали торжественно и выпили до дна.

— Семнадцатилетнего мальчишку наши доблестные сельские гверильясы до смерти кольями забили. Он по-французски куда лучше, чем по-русски, говорил, вот они его за француза и приняли, в полковых наших формах не разобравшись. Как представляю себе гибель его под озверелыми дубинами, так...

Оборвал себя Дорохов, зубами скрипнув. Я поспешно вина налил, ему под руку придвинул. Он залпом бокал осушил, долго молчал, а усмехнулся невесело:

— В учебники для школяров это не попадет.

Промолчал я. Не до слов тут мне стало.

— Да. А я, представьте себе, уцелел в той кампании. За весь день Бородинского сражения только одно сабельное ранение и получил. А как выгнали французов из пределов Отечества, отпуск взял да и поехал на родное пепелище. Руины, патриций, руины. И от последней, единственной нашей деревни — одни головешки. Чтоб деревню, мужиков да именье поднять, капиталы нужны, а у нас с отцом — дыры сквозные во всех карманах. Написал батюшка прошение Государю с нижайшей просьбой о воспомоществовании. Какое там! С чиновничьей отпиской вернули: «Казна средствами не располагает». Расвирепел я, тут же Государю дерзкое письмо сочинил под горячую руку, красочно гибель юного корнета описав. Вот это послание до Государя дошло, и был я изгнан из армии без мундира и пенсии.

И опять сам себя оборвал. Мы некоторое время молча вино прихлебывали, а потом Руфин Иванович жестко весьма усмехнулся и продолжил рассказ свой.

— Знаете, как в приказе значилось? «За клевету на великий русский народ». И понял я, что правды Россия не приемлет. Россия мифами живет, патриций, и чем восторженнее мифы сии, тем больше в них верит. Даже не верит — раболепно им поклоняется. Не надоело вам слушать меня?

— Продолжайте, Руфин Иванович, — говорю. — Если вам не тягостны воспоминания сии, конечно.

— Наоборот. — На сей раз он усмехнулся скорее с грустью, нежели с жесткостью, столь свойственной ему. — Странно, но я некоторое облегчение, что ли, от исповеди своей испытываю. А еще то странно, почему я именно вас, столь юного и безмятежного, личным исповедником выбрал. Да не в том суть, вероятно. Наверно, в том суть, что батюшка мой, в отчаяние впав, решил пепелище наше продать вместе с крепостными, родовое гнездо наше. Я воспротивился было, а он: «О сестрах думать изволь! Образование им дать достойное, замуж выдать прилично!» И — продал. Но вскорости понял, что погорячился, да с горя и помер, едва старшую сестру мою замуж пристроив. Средняя сестра в монастырь послушницей-черноризкой ушла, без вклада, а матушка да младшая — на моей совести теперь. — Дорохов раскурил трубку, помолчал. — А коли уж до конца исповедь доводить, так сначала бокалы наполните. Потому как, боюсь, узнав всю правду, вы от меня на другую сторону улицы переходить станете.

— Вот уж и не думаю даже, Руфин Иванович, — говорю. — Я из тех русских, кои правды взыскиуют, а не мифов, национальную самовлюбленность ласкающих.

Вино мы неторопливо пили, каждый о своем думал. Ну, Дорохов — понятно о чем, а я... Я не знаю, о чем думал. О том, пожалуй, что одиноки мы в толпе человеческой. Страшно, пугающе одиноки. Как пустынные в пустыне...

— Пенсион у батюшки невелик был, — неожиданно начал Руфин Иванович. — А после смерти его и невеликость сия вдвое уменьшилась, поскольку дочери законами не предусматриваются. Стало быть, моя очередь пришла содержать их достойно. А как? От офицерской карьеры высшей волею отлучен. В чиновники идти? Так там воровать придется, иначе концы с концами никак не сойдутся. И я, подумав да рассудив, иную профессию себе выбрал.

Вдруг замолчал и уперся в меня ставшим враз колючим, выжидающим взглядом.

— Какую же, Руфин Иванович? — спросил я, ни о чем не догадавшись, да, признаться, и не желая ни о чем догадываться.

— Я — профессиональный игрок, Олексин, — жестко, с вызовом сказал он. — Дурачков богатых обдираю беспощадно, как липку, на что и существую, и матушку с сестрой безбедно содержу. А теперь уходите, пока опять к барьеру не подошли.

Растерялся я? Да, пожалуй, нет: что-то внутри меня готовым к этому признанию оказалось. Но — встал, руку через стол протянул и сказал:

— Я не чистоплюй, Руфин Иванович, хоть и из состоятельных. И вот вам моя рука.

Дорохов рассмеялся с огромным облегчением, как мне показалось. И руку крепко мне пожал, и обнял крепко.

— Что-то в тебе есть, патриций. Не пойму, что, но сквозь шкуру собственную ты просвечиваешь. Почему я изо всех сил и старался шпагой ее лишь продырявить, чтобы только глубже куда не попасть!..

Ну, посидели мы тогда еще немного — Руфин Иванович уставать начал, и я это заметил, — допили вино под смех и шутки, и я даже решил вопрос, меня мучивший, ему задать:

— А почему вы, Руфин Иванович, тогда, на дуэли, с шестнадцати шагов потребовали обмена выстрелами?

— Что, сурово слишком?

— Сурово, — говорю.

— Проверить их решил, хоть и жестокой могла стать проверка. Но возмущен был, до крайности возмущен. Благородное выяснение отношений в балаган превратили, изо всех сил стараясь друг в друга не попасть. Ну, коли жалеете друг друга или вообще крови избегаете, так принесите взаимные извинения, и дело с концом. Зачем же публичная комедия сия?

— А коли бы пролилась кровь с шестнадцати-то шагов?

— Натура моя половинчатости не выносит, патриций. И очень я тогда, признаться, рассердился. И решил, помнится, настоящую проверку господам дуэлянтам учинить, подозревая, впрочем, что они и с двух шагов промахнуться готовы.

— Возможно, вы правы, — говорю.

Тепло мы с ним распрощались, и я ушел.

Пока до мазанки своей добрался, уже окончательно стемнело. Смутно вижу — вроде лошадь оседланная, а всадника что-то незаметно. Насторожился, шагнул...

Фигура от мазанки отделилась:

— Александр? Это Раевский. Где ты шляешься, когда нужен мне позарез?

— А что случилось, майор?

— Урсула взяли. Прямо в дубравах его...

...Дописал до этого места, утомился, признаться. Только «Записки» эти припрятать успел — матушка на пороге.

— Нежданный гость к тебе, Сашенька.

И входит — Пушкин. Бросился я к нему, обнял.

— Александр Сергеевич! Какими судьбами?

— Твоими, Сашка. — Расцеловались мы. — Как узнал, что тебя едва на дуэли не убили, так и приехал.

Осунувшийся, почерневший даже. И глаза напряженные. Таким и запомнил его: не пришлось нам больше свидеться...

Но мы с ним тогда часок славно посидели, Кишинев вспоминая. А потом он заторопился — путь-то неблизкий — и достает из кармана несколько не по-пушкински аккуратно сложенных листов.

— Надумал тебе подарить, Сашка. Но, извини, с условием, что не только вслух посторонним читать не будешь, но и спрячешь подальше. Это — «Андрей Шенье» со всеми строфами, полностью. Цензура сорок четыре стиха выбросила от «Приветствую тебя, мое светило!» до «Так буря мрачная минет!». Сорок четыре стиха четырьмя строками точек в печати заменили. Ну, а я подумал и решил тебе полный авторский экземпляр преподнести...

(Приписка на полях: ...Рассудил я, любезные мои, что обязан включить в сей жизненный отчет свой полный список «Андрея Шенье», поскольку переплелся он с судьбою моею весьма причудливым и странным образом.)

АНДРЕЙ ШЕНЬЕ
Посвящено Н. Н. Раевскому

Ainsi, trist et captif, ma lyre toutefois S'éveillait...
(Так, когда я был печален и в заключении, моя лира все же
пробуждалась...)

Меж тем как изумленный мир
На урну Байрона взирает,
И хору европейских лир
Близ Данте тень его внимает,

Зовет меня другая тень,
Давно без песен, без рыданий
С кровавой плахи в дни страданий
Сошедшая в могильну сень.

Певцу любви, дубрав и мира
Несу надгробные цветы.
Звучит неизвестная лира.
Пою. Мне внемлет он и ты.

Подъялась вновь усталая секира
И жертву новую зовет.
Певец готов; задумчивая лира
В последний раз ему поет.

Завтра казнь, привычный пир народу:
Но лира юного певца
О чем поет? Поет она свободу:
Не изменилась до конца!

«Приветствую тебя, мое светило!
Я славил твой небесный лик,
Когда он искрою возник,
Когда ты в буре восходило.
Я славил твой священный гром,

Когда он разметал позорную твердыню
И власти древнюю гордыню
Развеял пеплом и стыдом;
Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу,
Я слышал братский их обет,
Великодушную присягу
И самовластия бестрепетный ответ.
Я зрел, как их могущи волны
Все ниспровергли, увлекли,
И пламенный трибун предрек, восторга полный,
Перерождение земли.
Уже сиял твой мудрый гений,
Уже в бессмертный Пантеон
Святых изгнанников входили славны тени,
От пелены предрассуждений
Разоблачался ветхий трон;
Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозглашал равенство,
И мы воскликнули: *Блаженство!*
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!
Но ты, священная свобода,
Богиня чистая, нет, — невиновна ты,
В порывах буйной слепоты,
В презренном бешенстве народа,
Сокрылась ты от нас; целебный твой сосуд
Завешен пеленой кровавой;
Но ты придешь опять со мщением и славой, —
И вновь твои враги падут;
Народ, вкушивший раз твой нектар освященный,
Все ищет вновь упиться им;
Как будто Вакхом разъяренный,
Он бродит, жаждою томим;
Так — он найдет тебя. Под сению равенства

В объятиях твоих он сладко отдохнет;
Так буря мрачная минет!
Но я не узрю вас, дни славы, дни блаженства:
Я плахе обречен. Последние часы
Влачу. Завтра казнь. Торжественной рукою
Палач мою главу подымет за волосы
Над равнодушною толпою.
Простите, о друзья! Мой бесприютный прах
Не будет почивать в саду, где провождали
Мы дни беспечные в науках и в пирах
И место наших урн заране назначали.
Но, други, если обо мне
Священно вам воспоминанье,
Исполните мое последнее желанье:
Оплачьте, милые, мой жребий в тишине;
Страшитесь возбудить слезами подозренье;
В наш век, вы знаете, и слезы преступленья:
О брате сожалеть не смеет ныне брат.
Еще ж одна мольба: вы слушали стократ
Стихи, летучих дум небрежные созданья,
Разнообразные, заветные преданья
Всей младости моей. Надежды, и мечты,
И слезы, и любовь, друзья, сии листы
Всю жизнь мою хранят. У Авеля, у Фанни,
Молю, найдите их; невинной музы дани
Сберите. Строгий свет, надменная молва
Не будут ведать их. Увы, моя глава
Безвременно падет: мой незрелый гений
Для славы не свершил возвышенных творений;
Я скоро весь умру. Но, тень мою любя,
Храните рукопись, о други, для себя!
Когда гроза пройдет, толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный,
И, долго слушая, скажите: это он;
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь, и вашими слезами

Упьюсь... и, может быть, утешен буду я,
Любовью; может быть, и Узница моя,
Уныла и бледна, стихам любви внимая...»

Но песни нежные мгновенно прерывая,
Младой певец поник задумчивой главой.
Пора весны его с любовью, тоской
Промчалась перед ним. Красавиц томны очи,
И песни, и пиры, и пламенные ночи,
Все вместе ожило; и сердце понеслось
Далече... и стихов журчанье излилось:

«Куда, куда завлек меня враждебный гений?
Рожденный для любви, для мирных искушений,
Зачем я покидал безвестной жизни тень,
Свободу, и друзей, и сладостную лень?
Судьба лелеяла мою златую младость;
Беспечною рукой меня венчала радость,
И муза чистая делила мой досуг.
На шумных вечерах, друзей любимый друг,
Я сладко оглашал и смехом, и стихами
Сень, охраненную домашними богами.
Когда ж, вакхической тревогой утомясь
И новым пламенем внезапно воспалюсь,
Я утром наконец являлся к милой деве
И находил ее в смятении и гнев;
Когда, с угрозами, и слезы на глазах,
Мой проклиная век, утраченный в пирах,
Она меня гнала, бранила и прощала, —
Как сладко жизнь моя лилась и утекала!
Зачем от жизни сей, ленивой и простой,
Я кинулся туда, где ужас роковой,
Где страсти дикие, где буйные невежды,
И злоба, и корысть! Куда, мои надежды,
Вы завлекли меня! Что делать было мне,
Мне, верному любви, стихам и тишине,
На низком поприще с презренными бойцами!

Мне ль было управлять строптивыми конями
И круто напрягать бессильные бразды?
И что ж оставлю я? Забытые следы
Безумной ревности и дерзости ничтожной.
Погибни, голос мой, и ты, о призрак ложный,
Ты, слово, звук пустой...
О, нет!
Умолкни, ропот малодушный!
Гордись и радуйся, поэт:
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет;
Ты презрел мощного злодея;
Твой светоч, грозно пламенея,
Жестоким блеском озарил
Совет правителей бесславных;
Твой бич настигнул их, казнил
Сих палачей самодержавных;
Твой стих свистал по их главам;
Ты звал на них, ты славил Немезиду;
Ты пел Маратовым жрецам
Кинжал и деву-Эвмениду!
Когда святой старик от плахи отрывал
Венчанную главу рукой оцепенелой,
Ты смело им обоим руку дал,
И перед вами трепетал
Ареопаг остервенелый.
Гордись, гордись, певец; а ты, свирепый зверь,
Моей главой играй теперь:
Она в твоих когтях. Но слушай, знай, безбожный:
Мой крик, мой ярый смех преследует тебя!
Пей нашу кровь, живи, губя:
Ты все пигмей, пигмей ничтожный.
И час придет... и он уж недалек:
Падешь, тиран! Негодование
Воспрянет наконец. Отечества рыданье
Разбудит утомленный рок.
Теперь иду... пора... но ты ступай за мною;
Я жду тебя».

Так пел восторженный поэт.
И все покоилось. Лампады тихий свет
Бледнел пред утренней зарею,
И утро веяло в темницу. И поэт
К решетке поднял важны взоры...
Вдруг шум. Пришли, зовут. Они! Надежды нет!
Звучат ключи, замки, запоры.
Зовут... Пстой, пстой; день только, день один:
И казней нет, и всем свобода,
И жив великий гражданин
Среди великого народа.
Не слышат. Шествие безмолвно. Ждет палач.
Но дружба смертный путь поэта очарует.
Вот плаха. Он взошел. Он славу именует...
Плачь, Муза, плачь..!

С ТОСКОЮ ЖИТЬ — НЕ ЗНАЧИТ ЖИТЬ ТОСКЛИВО

17-е июня. Птичий денек, шумный

А я — болею. Не только больным числюсь, но и с болями в голове еще не расстался. Но уже в постели не валяюсь. Читаю в креслах, в саду гуляю, и все еще на ногах. Попробовал в седло сесть — земля перед глазами поплыла, и доктор наш, Фридрих Карлович, опыты мои пресек категорически:

— Голова просит время. Ждите, когда позволит.

Карамзина перечитываю, и в этот раз — с большим вниманием. Гордая у нас история, ничего не скажешь. Если бы не татаро-монгольское нашествие...

(Приписка на полях: Это я так тогда думал. А сейчас перечитал мысли свои и — усомнился: да неужто ж, думаю, из-за ига этого проклятого мы и до сей поры в Европе чуть ли не варварами считаемся? Да не может так быть, почти что полтысячи лет со дня битвы Куликовской прошло, а мы никак оправиться от победы сей великой не можем, что ли? Нет, дети мои, невозможно сие предположить даже. Значит, думайте, размышляйте, прожекты собственные сочиняйте на сей предмет. История — не пропахший табаком да лавандой бабушкин сундук, а деловой портфель с документами, которые всегда следует держать под рукой, потому что они могут вдруг оказаться востребованными.)

И вот в день, обозначенный выше, батюшка мой, с Фридрихом Карловичем наедине потолковав, утром объявляет мне, что во Псков едем, но — в коляске.

— Пора тебе, Александр, командиру полка представиться.

Наверняка на него мой новый мундир подействовал: Савка этот мундир от портного вчера в Опенки доставил. Здесь местные женские ручки его на меня подогнали (а куда как лучше бы было меня под него подогнать, хоть и отошлал я слегка в бездельной своей болезни) и предъявили на высочайший родительский смотр. И родителю мой бравый пехотный вид настолько по душе почему-то пришелся, что утром и прозвучал приказ.

Едем, в рессорах покачиваясь. Жаворонки в небе, васильки во ржи, щебет птичий — со всех сторон.

— В каждой неприятности необходимо всегда приятность сыскать, потому как одно без другого не обходится, — говорит батюшка. — Офицер, в пехоте не послуживший, не есть офицер, безукоризненный во всех отношениях. Только серая пехота, столь несправедливо нами третируемая, способна оттачивать ремесло командирское, подобно точильному камню, придавая ему блеск и надежность.

«Пилюлю подслащивает, — лениво этак думаю я, разомлев. — А как относительно неоспоримых аргументов?»

— В пехоте солдату труднее всего службу нести, — продолжает мой многоопытный командир. — Почему, спросишь? Потому, мол, что тело свое, амуницией перегруженное, таскать на ногах приходится? Ан нет, не поэтому.

— А почему? — с ленцой спрашиваю, зевота вконец одолевает начинает.

— А потому, что нигде солдат себя одиноким столь сильно не ощущает, как единственно только в пехоте. В кавалерии у него вроде как бы семья имеется: конь. И почистить его надо, и напоить, и выгулять вовремя — чем не семейная забота? В артиллерии — орудие, которое тоже любви и заботы твоей требует: чистить, смазывать, драить, чтоб сверкало парадно и устрашительно. Стало быть, и там — вроде бы как семья. А в пехоте ты один как перст. Себя призван обихаживать, а это — скучно.

— А ведь и вправду, — говорю я, начиная соображать, что зазря болтать старик мой не любит.

— Истинно что так, Александр, — торжественно изрекает батюшка. — Из чего следует одиночество пехотной солдатской единицы. Стало быть, пехота от офицера куда большей заботы требует, чем кавалерия. Не оставлять пехотинца надолго один на один с его осиротевшей душой. Это — пункт первый.

— Запомнил, батюшка. А второй?

— Второ́й в том состоит, что тебе, ротному командиру, в атаку их водить доведется. Думаешь, впереди да на лихом коне? А то уже от обстоятельств сражения зависит. Под Бородином из-под меня лошадь в первой же схватке выбили, и в шесть последующих я солдатиков своих уже со штыком наперевес водил. Стало быть, и штыковой бой ты лучше всех в роте своей освоить обязан. Лучше всех, потому как первым на противника идешь, пример показывая и брешь во вражеской цепи прорубая. Вот этим и займись, времени не щадя.

(На полях — приписка: Ах, с какой же великой и искренней благодарностью я батюшкины слова впоследствии вспоминал! Потом, потом... Будто предчувствовал он судьбу мою и старался облегчить ее, как только мог. Земно кланяюсь тебе, отец мой земной, и вы низко поклонитесь всем дедам своим, прадедам и пращурам заодно. Кабы не они, не отвага их, не стойкость несокрушимая, не забота о детях — и вас бы на свете не было...)

В полку я командиру представился, но он особо разговаривать со мною не стал. Он ведь когда-то, еще юнцом безусым, под батюшкиной рукой службу свою нелегкую начинал, а потому быстренько и спровадил меня, задав приличествующие вопросы и выслушав вполуха ответы. Вызвал какого-то капитана, то ли помощника, то ли адъютанта, и велел меня в роту отвести да и оставить там наедине с солдатами.

Что капитан тот в точности и исполнил. И остался я один на один со своею ротой. С теми, которых вести мне во все баталии предполагалось, впереди шагая с ружьем напере-

вес, как батюшка разумно предостерег. И сто пар глаз тотчас же в меня уперлись, то же самое думая и то же самое представляя. И все молчат, слова моего командирского ожидая. Молчат настороженно, и я молчу настороженно, в глаза им глядя.

И, видит Бог, будто читаю вопросы их. «Каков ты, командир наш, нам покуда что неизвестный? Будешь ли терпеливо учить, как в бою выстоять, или все унтерам передоверишь, которым мы уже до смерти надоели? Постараешься ли беспокойства наши понять и сиротство наше постичь или по плацу гонять станешь, парадный шаг отрабатывая да розгами грозя?..»

И я, помнится, одно тогда сказал:

— Служить всем трудно. Вам — ваши двадцать годов, мне — всю мою жизнь. Давайте же взаимно постараемся облегчить трудности сии друг другу. Вопросы есть?

— Обзовитесь, ваше благородие.

Унтер спрашивает. Седоусый, кряжистый, глаза умные и — сабельный шрам на щеке.

— Верно, прощения прошу. Поручик Олексин Александр Ильич. В строю с восьми лет. В офицерском чине — с семнадцати. В бою быть ровно один раз случилось, но под пулями стоял больше.

Заулыбались солдаты. Видно, чем-то ответ мой им понравился. Может, откровенностью своей.

— Слава Богу, повезло нам, значит, — вздохнул унтер. — Трое до вас было, да каждый — по три месяца. Отметится, что служил, день на плацу покрутится — да и поминай, как звали. Прощения прошу за то, что прямо вам все выложил, но пополнения к нам много пришло. А пополнение не столько учить, сколько приучать к солдатской жизни пока еще требуется.

— Как командир полка мне скажет, так оно и будет. А о себе одно могу сказать: коли за гуж взялся, то воз вытасу.

Засмеялись мои солдаты. Я же на голову выше любого из них. Бывший гвардеец как-никак.

Но начало занятий моих с ними отложилось надолго, хотя я, честно скажу, намеревался к новой службе своей приступить прямо с завтрашней побудки. Но...

Но командир мне трехмесячный отпуск предписал для поправки здоровья. Будто жалобу унтера того, седоусого, подслушал и службу мою поелику возможно решил осложнить. И уже на следующее утро отбыли мы с батюшкой восвояси...

1-е июля

В тот день переезд мой состоялся в дарованную мне Антоновку. Не по моему желанию, что уж скрывать. Я под матушкиным крылышком еще долго бы с удовольствием вздоравливал, лишь бы подальше от графских угодий. Не тянуло меня к ним, воспоминаний боялся, если напрямую говорить. Но батюшка сказал как-то за ужином, вскоре после возвращения из Пскова:

— Поместье твое без призора, помещик. А потом — служба. Займись ты хозяйством своим, пока люди твои окончательно в разор не вошли.

И поехал я хозяйством, лично мне принадлежащим, заниматься. Вместе с Савкой и Карамзиным.

Архип добрым заместителем моим оказался — да и знал я о том, что умный он мужик, — но батюшку огорчать не хотелось. Отчитался Архип передо мною, как водится, ничего в делах его я предосудительного не нашел, и все пошло, как шло и без меня.

А я — силы копил, хотя уже и ощущал их (впервые, если уж признаваться, еще тогда, когда меня женские руки вертели, новый мундир по фигуре подгоняя). Но, поверите ли, держал себя в строгости. Пассий не заводил, гостей не приглашал, к соседям не ездил и вином не увлекался по совету Фридриха Карловича. Монах монахом жил.

И терпеливо прожил этакой святой жизнью недели две. Земли свои объезжал, хозяйство осматривал, читал. Много

читал, кстати... И чем спокойнее и привычнее жизнь моя помещицья становилась, тем труднее мне было с нею мириться. Ну не землевладелец я по натуре, нет во мне ни грана от Адама Смита, и деньги я считать только на зеленом сукне умею, что уж тут поделаешь.

И — затосковал. А затосковав, начал круги своих ежедневных прогулок расширять. То ли вольно, то ли невольно. И Лулу, умница моя, однажды вывезла меня к графскому особняку.

Долго я из кустов на него смотрел тогда...

Заброшенным особняк выглядел. Окна на первом этаже досками забиты, парк замусорен, дорожки зарастать стали. Все правильно: стареет дом без хозяев...

А вот крыло второго этажа мне живым показалось. И хоть и не увидел я жизни той в яви, но решил проверить, а не живет ли там какая-либо дальняя родственница, оставленная графом, чтобы хоть как-то за родным гнездом приглядывать.

На обратном пути я об Аничке думал. Но — как о покойнице, что ли, прости ты меня, Господи. Точнее, конечно, как о погибшей любви, но любовь тогда любовь и есть, когда она не понятие, а — реальность. С теплом, улыбкой, смехом, тебе одному предназначенными. Для нас, мужчин, любовь — всегда живая женщина, а не мертвый схоластический постулат. А в Антоновку вернувшись, Савку позвал и велел ему осторожно навести справки, кто ныне проживает в том доме, где я впервые востребованным к жизни себя ощутил.

Через сутки докладывает. Парень исполнительный.

— Месяц назад приехал господин с доверительным письмом самого графа. Кто — никому не известно. Живет покойно, в хозяйство не вникает, но за домом следит.

День я голову ломал, кто же этот господин, а наутро решил идти в атаку. Предлог был: сосед, мол. Надо бы друг другу представиться, что ли. Для порядка.

А представляться-то и не пришлось.

— Оексин?.. Гьязам не вегью!..

Засядский. Хлыщ картавый. Графский прихвостень. Вот уж этого пшюта никак увидеть не ожидал. Но — обрадо-

вался он, со скуки, что ли? Велел стол накрыть, как для гостя дорогого.

— А я — из Италии. Его сиятельство пьосил за домом прыгядывать и дал письменное погыючительство.

Вот бы кого нашим сельским гверильясам укокошить. С великим отвращением речь его слушаю, а потому, вас щадя, не стану больше язык ломать.

— Два месяца с ними в итальянском раю. Чудно, чудно. Кампочино по утрам, фрутти ду маре...

Ну, обормот. Но слушаю, каждое мгновение нетерпеливо ожидая, когда же он об Аничке заговорит. А он не говорит. Он о себе только говорить умеет и стрекочет, как сорока. Даже глаза чисто по-сорочьи закатывает.

— Нет, не умеем мы жить в такой приятности, не предназначены к ней. Окраинные мы люди. Думаете, мое наблюдение? Что вы, что вы! Графские слова...

Пьем вино — хорошее, кстати, вино, из графских подвалов, не иначе. Ну, пьем, сорока трещит, а я — жду... А когда понимаю, что ничего путного от него не дождусь, бью в лоб:

— Да, да, одиночество, окраина, глухомань, провинция. Может быть, банчок?

На миг глаза его блеснули. Только — на миг. Вздыхнул, щипаные свои бровки на лбу собрал и — отвечает:

— Прощения прошу, никак невозможно.

— Что ж так-то?

— Слово графу дал.

— Святое дело, — говорю. — Однако засиделся я. Пора и честь знать.

— Знаете, почему слово дал? — захихикал он, глазками заблестев. — Помолвлен я с дочерью его. Да вы же знаете ее, Олексин. Да, да, с очаровательной Аннет...

А меня — будто молотом по голове. Но каким-то образом выдавил-таки из себя улыбку:

— Что ж, поздравляю.

— Да, да, такая партия! Такая партия...

Для кого — такая любовь, а для кого — такая партия. Вот так, стало быть, вот так...

Домой почему-то шагом возвращался. Лулу очень удивлялась. А воротившись, буркнул Серафиме Кондратьевне, не глядя:

— Настюху пришли. Подушки поправить.

А кормилица моя вздохнула с великим облегчением и даже перекрестилась:

— Слава Богу, поправляешься ты, Сашенька мой...

...Не сторонник я жизни монашеской, да и тебе ее не рекомендую. Однако пить да понтировать — то страсть личная, но девы милые всегда пусть станут для тебя страстью только с избранницей твоею совместно. Как бы пополам, что ли. Иначе чем ты тогда от скотов отличатся будешь? Не говорю здесь о любви с твоей стороны (лучше не влюбляйся, хотя и трудно это поначалу). Говорю о стремлении естества твоего, бороться с коим должно, лишь союзника в лице любви обретя. Долго быть девственником противно сути мужской, а коли прямо сказать, так и попросту вредно. Но помни: любая избранница твоя — живой человек, с душою, сердцем и мечтами. Не губи их, поелику возможно это. Да, историческое право...

(На полях — приписка: *Возможно, что историческое бесправие: вечное проклятие России, которое скажется, ох как скажется потом!..*)

...сделало тебя господином не только над судьбами их, но и над жизнями одновременно. Да, в твоей власти отослать любую на скотный двор — за дерзость ли, за раздражающее стремление покуситься на свободу твою (взять реванш — свойство, присущее очень многим женщинам, к сожалению), за глупость или потому просто, что надоела однообразием, — подумай сначала. Очень хорошо подумай, потому что — живые они. Живые, страдающие и беспомощные и полностью в капризе твоём. Не давай воли ни капризу, ни минутному раздражению своему. Беря тело ее, ты и душу ее берешь, ибо неразделимы сущности эти. Да, нео-

бразованны они, темны, подчас и раздражающе темны, но отдали все, что могли, — не тебе, страсти твоей, — за что долг твой как мужчины озаботиться о дальнейшей их судьбе. Непременно замуж их выдавай, мужа сурово предупредив, что всю жизнь приглядывать будешь. Ну, а уж коли ребенка тебе она родила — ни денег, ни земли не жалея ради дитяти собственного.

Полевые цветы куда как оранжерейных лучше. По личному опыту говорю, верь. И чести мужской не урони.

17-е, июль

Вот так и жил... нет, существовал так. Настюхи, Варюхи, Дашеньки, Машеньки. Без любви, без страсти, без смысла да, в общем-то, и без радости.

А в означенный день матушка приехала. Мы с Лулу где-то по полям мотались для убиения времени и тоски ради. И за время отсутствия нашего матушка не только приехать успела, но и все разузнать и встретила меня взглядом неодобрительным:

— Погнал во все тяжкие?

— Тоска заела.

— Стало быть, верно мне сердце подсказывало. Лекарство тебе привезла.

— Какое лекарство, матушка? — не удержался я тогда от вздоха. — Какое лекарство?..

— Такое, что, надеюсь, встряхнет тебя. На бал мы приглашены к людям, весьма достойным. И очень прошу тебя не усаживаться за карточный стол, едва порог переступив. Будет слово с тебя такое или сам с собой справишься?

— Слово, матушка.

Мне, признаться, все равно тогда было. Все решительно: балы, дамы из общества, музыка и танцы, девичьи глазки и красноречивые веера их, флирты и игры, застолья широкого русского гостеприимства и умные разговоры бывалых стариков. Все, даже карточный азарт. Покинул меня смысл жизни моей.

...Задумайтесь на досуге, для чего человек на свет Божий рождается. Для удовольствия тела своего? Так оно же, удовольствие это, с телом вместе и меняется. В детстве — одно, в отрочестве — другое, в молодости — третье. Стоит ли суетиться при такой переменчивости? Коль карты вразнобой, так и банка не сорвать. А банка не сорвал — в проигрыше остался, и скулить тебе в старости, в своей же бессмысленно прожитой жизни кого-то непременно осуждая. Не себя же. Себя человек никогда не осудит. Чтобы себя осудить, Человеком быть надо. Ну, а коли ты сквозь все соблазны Человека в себе пронес, так и в старости брюзжать не будешь. Плоды будешь пожинать трудов своих, твердости своей, упорства своего, любви своей, преданности делу своему на любом, добровольно избранном поприще. А главное — чести незапятнанной. Многое я вам, дети, оставляю, весьма многое. Можете все по ветру пустить: прогулять, в карты проиграть, крестьянам собственным раздарить или в монастырь отдать на помин души — воля ваша полная. Только честь свою никогда не прогуляйте, не проигрывайте, не дарите и никому не отдавайте. Честь — алмаз души вашей, который вы всю жизнь сами огранивать обязаны, в сверкающий бриллиант его превращая...

В доме к предстоящей поездке на бал готовились. Собственно, готовилась одна матушка, новые, из Петербурга доставленные платья без устали ежедневно примеряя. Меня тоже было во фрак обрядить решили, но я отбился. Да и то чудом. Исключительно с помощью вовремя подъехавшего батюшки.

— У офицеров — один фрак на всю жизнь.

— Неказист армейский-то мундирчик, Илья Иванович, — вздохнула матушка.

— Не мундир офицера красит.

Вот и весь разговор. Бригадир на пустые споры слов тратить не любил.

И во дворе суматохи хватило. Батюшка, погоду учитывая,

в ландо ехать решил. Вот его и чинили, и подкрашивали, из Опенков в мою Антоновку перегнав. Почему в Антоновку? Бригадир в ответ на мой резонный вопрос ответил, что-де отсюда ближе к балу, но я подозревал, что он, случаем воспользовавшись, поглядеть решил, как я тут с хозяйством управляюсь.

А я никак не управлялся. Не до того мне было, я с самим собой управиться не мог. Но батюшка все обследовал и дал мне хорошую выволочку.

— У дурного хозяина люди голодные. Вот о чем думать следует в первую голову. Если и с солдaticами безответными так поступать намереваешься, так лучше загодя в отставку просись.

Но все кончается, и в назначенный день мы ранним утром выехали к дальним соседям на бал.

Августа 5-го дня

Точнее, вечера, поскольку ландо сломалось по дороге. Судьба часто ломает экипажи, в которых вы намеревались добраться до цели, казавшейся вам совершенно третьестепенной. И не целью даже, а так, увеселительной прогулкой, что ли. Скажем, прокатиться по Фонтанке, попутно навестив господина N. А у вашей коляски летит ось, как то и случилось с нами в чистом поле.

— Эт, барин, не починишь, — доложил кучер после долгого осмотра. — Эт кузня нужна.

Поначалу батюшка хотел послать его за помощью к тем, к кому мы так стремились в гости. Но, поразмыслив, решил, что это будет не совсем учтиво.

— Понимаешь, Наталья Филипповна, я с ним не просто давно не виделся, я служил под его командой. И гонец должен сему обстоятельству соответствовать.

И послал меня. Спорить в подобных случаях было делом совершенно безнадежным — чем больше с бригадиром спорили, тем основательнее он убеждался, что прав, как все-

гда. Почему я безропотно взгромоздился на лошадиную спину и затрусил в направлении, кое-как мне растолкованном. Без седла затрусил, охлюпкой.

Указанного пункта достиг без приключений: нас в Корпусе охлюпкой препятствия заставляли брать, а не просто ездить верхом, да и с лошастью управляться, аллюры ее шенкелями меняя. Особняк вполне пожилой, давно в этой земле корни пустил, два крыла полукругом от центрального двухэтажного дома раскинув. Пареньку какому-то из дворни высыпавшей лошадь отдал, несколько уже прибывших экипажей приметил и сказал дворецкому в ливрее, чтобы он мне тотчас же хозяина вызвал ради дела неотложного.

Вышел седоусый, весьма и вполне крепкий еще хозяин в генеральском мундире, а следом за ним — полная, искренней приветливостью лучась, и хозяйка пожаловала. Я и представиться не успел, как она — с радостью огромной:

— Как мы вам благодарны! У внучки единственной именины...

— От всей души поздравляю, — бормочу, к ручке припав.

Засим докладываю, кто я есть и что с нами стряслось. Генеральша разахалась, генерал собрался было тотчас же карету выслать, а меня просил проходить и быть как дома.

— Церемоний не признаем, поручик. Прошу чувствовать себя отнюдь не в гостях.

А я отказался, насочиняв, что наше ландо никакой посланец не сыщет потому-де, что ехали мы особой дорогой, спеша к дорогой имениннице. Дал слово, что поторопимся, поелику возможно, и отбыл в хозяйской карете за родителями своими.

Почему не остался, спросите? Да потому, что ни матушка, ни батюшка и словом не обмолвились, по какому поводу бал. Не знаю, уж по какой причине такая забывчивость с ними приключилась, а только мне совестно стало к единственной генеральской внучке без цветов заявиться. Как гарнизонный замотанный офицеришко на дармовой стол с дармовой же выпивкой.

Глупость? Только с мужской точки зрения. А с точки зрения дам любого возраста — весьма приятный знак внимания. Вопрос, правда, в том заключался, где же мне эти цветы взять...

А места нашего крушения достигнув, вышел из кареты, огляделся... Да цветов-то — поле целое! Правда, не признанных в качестве подарка в провинциальном дворянском обществе, но лучше прослыть оригиналом, чем явиться вообще без ничего. И пока батюшка с матушкой в присланную генеральскую карету пересаживались, я нарвал целый сноп, сообразуясь с собственным вкусом.

— Веник твой неприличен, — строго сказала матушка.

— Что же вы мне загодя-то не сказали?

А батюшка лишь усмехнулся в усы. По-моему, вполне удовлетворенно.

С этим веником я в залу и вперся, где гостей уж было предостаточно, поскольку все только нас и ожидали. Радостный шум, приветственные возгласы. И подводит ко мне генеральша худенькую деву, милую почти во всех отношениях исключительно вследствие своих осемнадцати или там девятнадцати лет.

— Это — Полин, наша именинница. Полиночка моя. Внученька наша единственная.

Я звякаю шпорами, бормочу что-то галантно-французское. Девушка рушится в низком реверансе, а когда выныривает из него, я грузжу в ее объятия охапку полевых цветов.

— *Merci pour attention* («Спасибо за внимание»), — слабым голоском, а посему и как-то растерянно говорит именинница, зардевшись до весьма скромного выреза платья. — *Vous êtes très gentil* («Вы очень любезны»).

И вдруг ринулась от меня к подругам, к дамам, завертевшись по всей зале.

— Господа, господа, посмотрите, какое чудо! Ко мне пришла сама природа! Сама природа!..

И я сразу же делаюсь центром дамского разноцветия и разноголосия. Щебечут наперебой, как птицы в теплый майский вечер. Не потому, разумеется, что я уж этакий утончен-

ный ценитель прекрасного. Все куда прозаичнее: в провинции всегда с женихами трудности великие, потому что женихи эти в большинстве гарнизонную лямку тянут вдали от родных пенатов. А тут — вчерашний гвардеец да к тому же (глухомань только для посторонних глухомань, слухов в ней бродит больше, чем в Петербурге) сын единственный весьма и весьма состоятельных и известных родителей.

А дворянство-то вокруг — мелкопоместное большей частью. Детей, как правило, рожают много, дележи наследство кромсают, как торт именинный, и каждому — по кусочку. Только для скромного прожития. И землицы-кормилицы — по кусочку, и рабочих рук, то бишь крепостных, — по пальцам перечесть. И ажиотаж вовсе не моим букетом объяснялся, а этим именно обстоятельством.

Правда, хозяев это не касалось. Два сына на Отечественной войне в боях погибли (Полина — единственная внучка генеральская — старшего сына дочь, а младший и жениться-то не успел), но о них — потом. Успею еще.

Потому и общество оказалось дамским в своем подавляющем большинстве. Девы, матушки, вдовы... Много вдов: французские сабли, пушки да штыки смертной косой прошлись по дворянским фамилиям. На провинциальных балах это особенно тогда заметно было.

И еще одно было заметно: провинция предпочитала говорить на родном языке в отличие от столицы. И образование было не ахти чтоб, и практики маловато, и, мой французский услышав, умненькие от соревнований сразу отказались. Но мне это, признаться, очень понравилось, и я свой языковой багаж распечатывать не спешил. Да и Кишинев многому меня научил: Александр Сергеевич и друзья его, безукоризненно французским владевшие, по-русски спорили меж собой. А спорить начинали едва ли не по каждому поводу...

— Нет уж, друг мой, ты совершенно не прав. Влезать можно не только на крышу, но и в карету. Ты видишь в этом одну лишь простонародность, не желая внимания обратить на стилистическую насмешку, в простонародности заключающуюся...

Ну, и так далее. Не помню уж тонкостей споров этих, поскольку ровно ничего я тогда в них не понимал, но смысл передаю верно. За что и поручиться готов...

А матушка, как вскоре выяснилось, напрасно относительно карт беспокоилась: совсем не до карточных страстей мне тогда оказалось. Нарасхват я шел в тот вечер. На дамский расхват, и мне это было, признаться, весьма даже лестно. И бал я вальсом открывал с именинницей и с нею же закрывал его Большой мазуркой.

Да, так о Полин. Об имениннице и хозяйке бала. Живая, неглупая, по-своему очень милая девица с грустными, какими-то... сиротскими, что ли, глазками. Фигурка даже не худенькая, а щупленькая скорее, и в этой фигурке что-то щемящее было. Настолько, что основной мужской инстинкт срабатывал: оберегать. Мужской, подчеркиваю, не жеребьячий. И движения порывистые, в мазурке это особенно заметно: она чуточку задыхалась и очень уж стеснялась сего досадного обстоятельства. Почему я и не оставил ее после финального поклона, а пригласил к открытому окну, сославшись, естественно, на то, что, пардон, запыхался и без свежего воздуха никак не обойдусь.

— Может быть, на веранду?

Кажется, она чуть покраснела при этих словах, но пошли на веранду. Вечер таким густым был, что хоть ножом его режь. Ветерок как чуть прогретый бархат — настолько ласков и мягок. Аромат... нет, для русского августовского вечера иностранное слово никак не подходит, не вмещает его в себя... Запахи. Копна запахов на тебя рушится. И всплески на близком озере. Только в России такие всплески, ей-Богу. Редкие, таинственные, тугие какие-то, что ли. Ни в одной стране я таких всплесков не слышал, о чем и сказал Полин.

— А я ни разу не была за границей.

И лба при этом ладошкой ей прикрывать не пришлось. И что-то во мне... екнуло, что ли...

...— А почему вы ладошкой лоб прикрывали, когда с этой противной Полин беседу вели?..

Другие именины. Пруд. Аничка. Лебедей кормит, а я палец сосу, кремом сначала его смазывая...

А именинница говорит вдруг, вдаль глядя. Точно воспоминания мои прочитав:

— Мы с вами давно знакомы. Даже немножко беседовали. У графинюшки Аннет на именинах. Мы с Аничкой — кузины. А потом вы с ней ушли. И кормили лебедей на пруду. Я подсмотрела. Это, конечно, очень стыдно, но это так.

Господи, никогда я доселе с прямотой такой не встречался. Ну, у мужчин, правда, она изредка попадалась, но у дев — никогда. И я был убежден, что она девицам вообще несвойственна. Так сказать, органически. И вдруг — откровение настаеть.

...Откровение заразительно, никогда не замечали? Стало быть, прививку вам сделали от откровения, как от оспы. А мне — не сделали. И слава Богу...

— Я потерял ее, — говорю. — Навсегда потерял. И никогда мы более не встретимся...

Замолчал, вдаль гляжу. И вдруг чувствую, как ее ладонь легла на мою и чуть ее сжала. Без всякого дамского намека, кокетства — что там еще? Как друг, как товарищ руку мою пожалала, чужую боль как свою ощутив.

И я все ей рассказал, вообразите себе это! Все, все решительно, лба ладонью ни разу не прикрыв. Нас на ужин звали, но Полин даже бабушке своей сказала: «Пожалуйста, не прерывай...» Твердо, признаться, сказала, с характером...

— Почему граф промахнулся? Почему, Полин? Он ведь в лоб мне стрелял тогда.

— Здесь? Где седые волосы?

А у меня шрам почему-то седым клоком зарос. След смертного ужаса плоти моей.

И нежные, до хрупкости тонкие пальчики коснулись тогда шрама моего, прикрытого седой прядью.

Мы как-то оба примолкли. Как дети. И долго стояли

молча. А потом пошли в столовую, где все уже заждались именинницы. И то ли так получилось, то ли нас вполне осознанно так усадили, а только мы оказались за столом рядышком. И я нисколько не пожалел об этом, потому что разговаривать с Полин было интересно. Не болтать, а говорить с нею и слушать ее. Она любила книги, много читала и умела не просто помнить прочитанное, но и чертить собственные параллели и делать неожиданные умозаключения.

— Пушкин представляется мне Гулливером. Даже в ваших, очень мужских рассказах.

— Что вы, Полин. Александр Сергеевич, увы, совсем не гвардеец. Два аршина пять вершков с половиной. Сам его измерял: тогда он еще мечтал подрасти хоть на полвершка.

— Вы читали Свифта как сказку, а между тем это — грустная метафора. Судьба гения, которого обыкновенные лилипуты своими лилипутскими правилами и представлениями опутывают лилипутской паутиной с ног до головы. Попробуйте перечитать в такой плоскости, и вы убедитесь, что это — предупреждение на все времена. Просто потому, что лилипутов всегда будет больше...

Засиделись мы до рассвета. Не помню даже, о чем вели беседы за столом, потому что после нескольких настойчивых попыток нас оставили в покое. Мы сидели на веранде, я принес ей шаль. И говорили, говорили... О чем только мы не говорили...

Потом всех отправили спать, а на следующее утро мы выехали домой в починенном за ночь ландо. И прощание получилось каким-то торопливым, скомканным, как то всегда бывает по утрам...

6-е августа

Стало быть, едем, сидя друг напротив двух. Батюшки и матушки в данном случае. Матушка дремлет, батюшка хмур и сосредоточен, а я все еще как бы веду беседу с Полин.

— Знал ли ты в Бессарабии некоего Раевского Владимира Федосеевича? — вдруг довольно резко спросил мой визави.

— Начальника дивизионной школы майора Раевского? — я улыбнулся. — Больше чем знал. Смею сказать, добрыми были приятелями.

— Уж лучше не смей сего говорить, — проворчал мой бригадир. — Вчера слух прошел, будто арестован он и ныне содержится в тираспольской тюрьме.

— Господи, да за что же? — вырвалось у меня. — Умнейший и образованнейший человек, друг Пушкина ближайший. Александр Сергеевич Спартанцем его называл...

— Болтуны! — рявкнул батюшка. — Мы за отечество жизней своих не щадим, а как закончилась святая Отечественная наша, так и зашептались, зашептались кругом. И это нехорошо-де у нас, и то не славно, и третье в странах заграничных куда как лучше выглядит. Там, там, на полях Отечественной нашей, истинная цена проверялась, а не в умствующих лепетах ваших. Нет бы вино пить да за дамами волочиться — мало вам, не ценится уж ноне сие! А грязь на власти лить — то в цене, то — прогресс, то уж так современно, что и модой ныне заделалось. И Пушкин — такой же. Ну, дан тебе талант от Бога, так патриотизм народа воспевай, отцов да братьев своих старших. Певцом быть во стане русских воинов — вот каков долг любого русского таланта...

Что он там дальше бурчал, я уж и не слышал. Я о Раевском думал. О глухом каземате его, тощей свечой освещенном...

...Я, признаться, спорами тогда мало интересовался, а Пушкин с Раевским постоянно о чем-то спорили. О стихах, о народах, об истории: Раевский, помнится, как-то при мне Пушкину пенял, что тот в стихах бесконечно эллинских богов да героев воспевает, а о своих — будто и не было их у нас. О Великом Новгороде говорил, о Вадиме, о Марфе Посаднице...

И вдруг иное припомнилось. Вечер, конь оседланный возле моей мазанки. И — голос Раевского:

— Урсула взяли. Прямо в дубравах его...

...Я тогда как-то сразу понял, что майор попытается спасти нашего романтического Медведя («Урсул» — медведь на местном наречии) во что бы то ни стало. Да он и не скрывал этого:

— Могу я на помощь твою рассчитывать, Александр?

— Вполне, майор.

— Тогда никому ни слова. Я попытаюсь разузнать, где Урсулу содержание определено, а там и тебя извещу.

Разузнал быстро: уже на третий день мы с ним встретились. В том же погребке, у Думиреску. Безусых гусарских корнетов, к счастью, там на сей раз не оказалось.

— В крепостном каземате в Бендерах. Окно каземата выходит во двор, где три караула даже ночью. А, заметь, казематы, выходящие на Днестр, пустуют.

— Но там же стены прямо в реку обрываются.

— То-то и оно, что в реку, — вздохнул Раевский. —

Рыбу ловить любишь?

— Терпения не хватает.

— Придется полюбить.

— Зачем?

— Добрые люди просили глубину реки у самого замка замерить. А удобнее всего сделать это с удочкой в руках.

И — в полной войсковой форме.

— Да кто же в офицерском мундире рыбу ловит, майор?

— Оригинал ты, Александр, понимаешь? Большой оригинал. Часовой со стены увидит офицера и даже не окликнет.

— Готов допустить. Но как ее замерять, глубину эту? Удочкой, что ли? И где именно?

— С тобой два гребца будут. Молчаливых.

А вот рядом молчания у меня не было:

...— Дурно крепостное право, спору в том нет, согласен. Но размах наш российский надо во взоре умственном дер-

жать, земли тощие, морозы. Морозы да снега — из-за них Россия спать обречена по полугоду. Как медведь. И чтоб медведь этот с голодухи лапу не сосал, им управлять нужно! Вот в чем роковая особенность наша, вот в чем, как бы сказать, особый путь. Ну, не Европа мы. Не Европа! И не будем ею, сквозняк один от этих окон прорубленных...

Батюшка все ворчал, матушка все дремала. А я опять в прошлое, в прошлое ушел, ощущения свои вспоминая...

...И главным в этих ощущениях тогда было — мистификация. Залавливают меня, юнца доверчивого, в некую веселую игру, которая и закончится развеселой пирушкой с хохотом и остротами. Правда, Раевский мало для подобной роли подходил: был и весьма образован, и сдержан весьма, даже суров подчас — недаром Пушкин его Спартанцем именовал. Но розыгрыши очень тогда ценились, любили их придумывать, кишиневское общество и удивляя, и развлекая, а то и фраппируя. «Ладно, думаю, почему бы не поучаствовать...»

— Такова первая твоя задача, Александр. Когда решишь ее, скажу о второй.

Поскакал в Бендеры задачу исполнять. Лодка — в условленном месте, два гребца в ней, молчаливых и настолько черноусых, что так и тянуло за усы эти их подергать. Но — воздержался: играть — так по правилам. Молча поплыли к крепостным стенам. Один лодку на течении удерживает, чтобы не снесло, второй — глубину веревкой с грузом замеряет, а я усердно червячка в воде отмачиваю.

Часовой на стене появился. Постоял, посмотрел на нас, но не окликнул. Решил, видно, что офицер и впрямь в тихое помешательство впал.

Замерили беспрепятственно, о чем не без тайного азарта и доложил я майору, а где-то в глубине мелькнуло: «Ну, мол, еще что удумал?»

И впрямь, не унимается Раевский:

— Задача вторая, Александр. Прутья, из коих решетки сделаны, разогнуть сумеешь?

— Чтобы решетки гнуть, надо сначала в каземат попасть, майор. Даже если я, предположим, и подстрелю кого-нибудь на дуэли, меня в кишиневский острог определят, но уж никак не в крепость.

— Тимофей Иванович Эбиевский, комендант крепости в Бендерах, большой любитель понтировать. Но — в своем кругу. А круг — полицмейстер Бароцци.

— Не имею чести быть знакомым.

— Евдокия Ивановна Бароцци — родная сестра Пушкина. Мы с Пушкиным как-то навещали их. Почему бы ему не повторить посещение? Разумеется, с нами вместе?

— Откажется, — сказал я, подумав. — Он мне говорил, что какой-то роман начал. Значит, его уже не оторвать.

— Попытаюсь.

Признаться, не по душе все это мне стало. Зачем в мальчишескую затею Александра Сергеевича втягивать? За ним и так в шестнадцать пар глаз наблюдают.

— Может, избавим Пушкина от этих забав, Раевский?

— Пушкин уедет до всех наших авантюр, Александр. Подальше. Скорее всего, в Одессу.

— Ну, и сколько я должен проиграть этому коменданту, чтобы согнуть решетку?

— Сердишься? — Раевский улыбнулся. — Прости, Александр, не мой это замысел. Я всего лишь звено в цепи.

— А чей же?

— В Молдавии есть хорошие люди, но кое-какую помощь просили им оказать. Ты одну задачу, для них весьма трудную, уже решил, осталась последняя — согнуть прутья решетки. Затем ты сразу же уезжаешь охотиться с господарем Мурузи, Пушкин — в Одессу, я — на лагерный сбор дивизионной школы. Остальное — если удастся, разумеется, — будет сделано без нас.

— Да я же в Канцелярию каждое утро являться дол-

жен, — напоминаю с этакой все уже постигшей усмешкой.

— Завтра явишься и получишь десятидневное разрешение отправиться на охоту по личной просьбе господаря Мурузи.

Как ни странно, но все именно так и случилось. Я получил вольную на десять дней, а Раевский каким-то образом уговорил Пушкина навестить в Бендерах семью полицмейстера Бароцци. На следующее утро мы выехали: Александр Сергеевич вместе с майором в карете, а я — верхом на арендованной лошади, к которой привык, потому что частенько пользовался ею для конных прогулок.

Пушкин был хмур и, казалось, очень недоволен собой. О чем они толковали с Раевским по дороге, не знаю, но майору удалось улучшить его настроение. Мало того, едва объявившись в доме полицмейстера, он тут же признался, что намеревается писать поэму о дерзком бегстве разбойников из тюремного замка, почему и просит непременно замок этот ему показать.

Однако гостеприимные хозяева сперва пригласили нас отобедать, сказав, что к трапезе непременно пожалует и сам комендант крепости. Это решало дело, мы дождались пожилого и весьма добродушного Тимофея Ивановича Збиевского, тут же, еще до обеда пригласившего нас к себе в крепость.

— На чашку, господа любезные, на чашку единую. Не обижайте старика.

— Берегитесь, — шепнула нам Евдокия Ивановна. — Он так называет пунш, который сам же и варит неизвестно из чего.

— Он понтирует? — спросил я, беспокоясь о задаче, решить которую был обязан.

— Только скажите, до утра не отпустит!

Я и сказал. Тимофей Иванович невероятно возбудился, что резко сократило время нашего пребывания за столом. Евдокия Ивановна была несколько обижена, а супруг ее, бо-

лее похожий на углубленного в себя схимника, нежели на полицмейстера, напротив, даже не скрывал известного облегчения, что ли.

Одним словом, мы быстро перебрались в крепость, где комендант тотчас же занялся подготовкой к «чашке единой», о которой не переставал бормотать.

— А ром — не с желтком, а с белтком...

Почему-то он именно так говорил, помню. «С белтком...» Смешило это меня...

— Неплохо бы нам ознакомиться с замком, пока хозяин столь увлечен, — тихо сказал мне Раевский. — Оставим ему Пушкина для утешения и первых проб варева.

А Пушкин и так уже ходил хвостом за Тимофеем Ивановичем, слушая рассказы его о шведском лагере в бывшей Варнице, короле Карле XII и Мазепе, который, по слухам, там умер. Старик выдавал рассказы малыми порциями, связанными меж собой весьма замысловато, как, скажем, соленые огурцы с ванильным мороженым.

— Мы заплутаемся в этой турецкой крепости без провожатого, — говорю я майору.

А сам думаю, что кто-то на меня поставил неплохой заклад. На пари, что я умудрюсь разогнуть прутья решетки не где-нибудь, а в самой крепости. И что такой серьезный, разумный и весьма сдержанный господин, как майор Раевский, оказался каким-то образом втянутым в это пари. Но я Раевскому не только был обязан, но и любил его искренне, а потому решил сделать все, чтобы он выиграл.

Пока размышлял, майор с комендантом беседовал. И кончилась эта беседа тем, что Тимофей Иванович, увлеченный варевом своего зелья и отвлекаемый любознательностью Пушкина, вызвал какого-то кряжистого немолодого усача унтера и велел ему показать нам все казематы второго яруса.

— Только исключительно второго яруса, — подчеркнул он, передавая ключи. — Там — пусто, аки в раю, предназначенном для душ русских офицеров.

Прошли во второй ярус вослед за унтером, молчаливым,

как сфинкс. Длиннющий широкий коридор. Справа и слева — двери казематов, все почему-то запертые на огромные висячие замки, к которым подходил один и тот же ключ, столь же огромного размера. Левые казематы, как тут же выяснилось, выходили на Днестр, правые — во двор, и этими правыми живо заинтересовался Раевский, как только унтер открыл двери левых. И увел в них за собою тюремщика, а я вошел в первый же правый каземат.

Странно, но там было сухо. Странно потому, что я почему-то представлял себе, что в казематах, предназначенных для содержания узников, всегда должно быть сыро и мрачно. Мрачно было, но сухой какой-то мрачностью. С густой пылью на каменном полу.

Впрочем, это все — как-то мельком. Меня окно интересовало, и я пошел его изучать.

Оно оказалось забранным не решеткой, а тремя вертикальными железными прутами, вделанными в каменную кладку стен. Пруты были толсты порядочно, но весьма изъедены ржавчиной и, к счастью, не из каленого железа. Я уперся левой рукой в один, а правой — на распор — потянул средний на себя. Дело оказалось нелегким, пришлось поднатужиться, но в конце концов середины обоих прутьев дрогнули и пошли, начав этак нехотя гнуться. У меня ломило плечи, стучало в висках, но в три приема я раздвинул старый железный забор настолько, что в него мог бы вполне протиснуться ловкий молодой человек.

Дело было сделано, но, признаюсь, покачивало меня совсем не от гордости. Двери казематов я старательно прикрыв, унтеру осталось лишь запереть замки, и мы пошли следом за ним к обещанному комендантскому пуншу. По дороге я цеплялся за стены плечами, да и в висках у меня постукивало, но о подвигах своих я доложил Раевскому не без некоторого самодовольства.

А чаша с пуншем, которую Тимофей Иванович пустил вкруговую, дрожала в моих руках. Да и захмелел я быстро, откровенно говоря. То ли пунш оказался непривычно забористым, то ли и впрямь я уморился... От игры мы как-то

улизнули, пуншем увлекшись. Ну и слава Богу, потому как ломота в плечах доброму понтированию не соответствует, а проигрывать я, признаться, не люблю. Так уж устроен.

Однако к утру все закончилось благополучно, кроме ощущения, откуда именно растут плечи. Но я надеялся, что забуду об этом к началу королевской охоты, обещанной мне.

Ан не вышло. Ни разу ни в кого не попал: ни в зубра, мне господарем показанного, ни в оленя, ни в коосулю. В зубра Мурузи тоже, правда, промазал, но, думается, вполне сознательно, потому что стрелял он отменно, несмотря на вполне серьезный возраст. Не то что я после крепостных своих развлечений...

Затем — костер, челядь суетится, коосуля целиком на вертеле жарится, а мы с господарем и добро закусываем, и доброе вино пьем, и по-доброму беседуем.

Только не пришлось мне тогда коосулю эту попробовать. Подлетает неожиданно конный арнаут хозяина моего, спешивается и что-то негромко ему докладывает...

— Не дают турки честным христианам плодами охоты своей мирно насладиться, — невесело усмехается Мурузи. — Извини, Сашка, сначала проучить их придется.

— Я с вами, господарь, — говорю.

— Там, юноша, без боя не обойтись.

— Неужели, господарь, вы можете гостю своему в его желании отказать?

Усмехнулся Мурузи:

— Гостю могу, офицеру — нет. Арнауты мои оружия достаточно привезли. Выбери себе саблю по руке да пару пистолетов не позабудь в седельные кобуры сунуть.

Пока мы собирались, господарь дозоры по двум направлениям выслал. Воякой он был опытным, турок колошматил, где только мог, но плетью обуха не перешибешь. Выжили они его все-таки за Прут, где он от них и укрывался. Но надежда голову его самому султану доставить их не покидала, поскольку оценена голова была весьма высоко. По достоинству оценена, турки считать умели.

Арнаутов собралось человек до сорока. Проводники вели без дорог, ехали неторопливо и осторожно, ожидая сведений от дозоров. Мурузи поглядывал на меня, потом спросил:

— В сражениях участвовал?

— Надеюсь вечером ответить на ваш вопрос утвердительно, господарь.

Рассмеялся Мурузи. Только хотел ответить, как подсказывает арнаут и что-то негромко ему говорит.

— Турки в полуверсте, Сашка, за этим лесочком, — объясняет мне господарь. — Атакуем встречной атакой, у них кони приморились. Под тобой лошадка молодая, но игривая. Особо повод ей не отдавай, она скачку очень любит.

Но я отдал, едва турецкий дозор увидел. Тоже был молод и тоже скачку любил. Одного дозорного из пистолета снял, второго игривая моя из седла выбила, с разгону в круп его лошади врезавшись. Азартная лошадка, ничего не скажешь, но заодно и я из седла вылетел. И, слава Богу, вскочить не успел: господарь Мурузи со своими арнаутом следом за мной на боевом галопе в атаку шел...

А я лежал, как упал, не шевелясь: этому нас в Корпусе неплохо научили. Лежал и копыта считал: сорок лошадей на четыре копыта — сто шестьдесят конских кованых ног над головой. Когда пронеслись, вскочил и... турка, разможенного конскими копытами, увидел. Не обучался он, видно, в Корпусе для дворянских детей...

— Вы давеча спрашивали, господарь, не участвовал ли я в сражениях? — нахально объявляю вечером. — Тогда недосуг было ответить: да, участвовал.

Расхохотался Мурузи:

— За здоровье моего дорогого гостя русского офицера Сашки Олексина! Ура, господа!..

Три дня я тогда у господаря гостил, три веселых и шумных дня. А потом в Кишинев выехал. Чтобы каждое утро в Канцелярию генерала Инзова являться...

На следующее по прибытии утро явился, а мне Смирнов, чиновник Канцелярии, и говорит:

— Новость слышали, Олексин? Урсул из крепости сбежал.

— Как, — искренне поражаюсь, — сбежал?

— Представьте себе, силища какая! Прутья раздвинул, прыгнул в Днестр и поминай как звали.

— Может, утонул?

— Если бы. За две ночи две почтовые кареты ограблены. Сопровождающие все живы, деньги и ценности исчезли, на дверцах каждой кареты — его визитная карточка.

— Визитная карточка?

— Дубовая веточка.

Вот тебе, думаю, и пари, вот тебе, думаю, и розыгрыш... Или я ничего не понял, или Раевский не все мне говорил, а только вместо озорного пари совсем неплохо придуманный план вдруг явственно обозначился. И характер старого коменданта Тимофея Ивановича учтен, и его влюбленность в пунш по собственному рецепту, и Пушкин для отвода глаз, и я — для сокрушения решеток. И Тимофей Иванович при этом никогда в жизни не признается, что допустил посторонних в крепость, потому как вылетать со службы без мундира и пенсии ему совсем не хочется. Настолько это ему не хочется, что унтеру своему он только три слова произнести разрешит в ответ на все вопросы: «Не могу знать!» И Пушкин — уже в Одессе, и Раевский — на дивизионных сборах, и я — на королевской охоте...

(На полях — приписка: Да было ли все это на самом деле? Порою мне кажется, что и не было вовсе, что легенда это, в которую я был вовлечен, а потому и сам же в нее уверовал. Не знаю, не знаю, и спросить уж не у кого...)

И еще одно вспоминается — еще до этого, до этого. Костер, я перепелов настрелянных жарю на шомполе, как умею, а за спиной у меня разговор.

— Рим сгубила несвобода, но отнюдь не нашествие вар-

варов. Деление собственного народа на патрициев и плебеев лишает гражданских чувств как первых, так и вторых.

Пушкин, Раевский и капитан Охотников. Признаться, очень этот капитан почему-то невзлюбил меня, но — терпел. Ну, и я его — соответственно.

— Упрощаешь, Владимир Федосеевич, упрощаешь...

— Тюремщик меж ними, — вдруг говорит Александр Сергеевич. — Меж патрициями и плебеями непременно тюремщик появляется. Только к одним — лицом, а к другим — затылком.

— Любая несвобода есть слабость государства, но никак не мощь его...

Это — Раевский.

А я слушаю во все уши и перепелов на шомполе во что-то совершенно несъедобное превращаю...

...И почему вспомнилось вдруг?..

22-е августа. Очень памятный день

Утром являюсь в Канцелярию, а мне:

— К Его превосходительству.

Проводят. Вхожу. Докладываю.

— Ваше превосходительство, прапорщик...

— Простил тебя Государь, Олексин, — добродушно улыбнулся Инзов, по-отечески. — И повелел служить в Новгородском лейб-гвардии конно-егерском полку. Выезжай немедленно.

Подорожную и все бумаги на руки тут же выдали, собраться мне было что голому подпоясаться, а попрощаться... С мамой Каруцей расцеловался, с Беллой да Светлой... Всплакнула она над неожиданной свободой моей.

— Краев у тебя нет, Саша. Ну ни в чем...

Еще кое-кому добрые слова сказал. А вот Руфина Ивановича Дорохова в квартире его не оказалось.

Но я разыскал его в конце концов. За одним из карточных

столов. То ли на охоту вышел Дорохов, то ли на работу — это уж кому как судить. Увидел он меня, нахмурился почему-то. Поначалу показалось, что рассердился даже. Карты отложил и отвел меня в сторонку. Я рассказал ему о новостях, столь радостных для меня, и добавил в конце:

— Пригласите за стол, Руфин Иванович. За ним и прощаемся ко взаимному удовольствию.

— Нет, — отрезал он весьма жестко, но — улыбнулся. — Я проигрывать не умею.

— А я — не люблю. Чем не пара?

— Прощай, патриций, — обнял он меня на дорожку, сказал вдруг: — Я — не мистик, но у меня сейчас такое чувство, что мы непременно с тобою встретимся.

(Приписка на полях: *Как в воду глядел...*)

Сентябрь, что ли. Желтая листва

Тоскую в своей Антоновке. И потому, как ни странно, еще тоскую, что матушка с батюшкой что-то к своим пенатам не торопятся. А я, признаться, при матушке не могу очередной Марфуше или там Дуняше сказать, чтобы подушки мне на ночь взбила. Ну не в силах. И это пройдя огонь, воду и медные трубы. Боюсь, что утром, с матушкой глазами столкнувшись, лоб ладонью прикрою, что ли...

А еще потому тоскую, что в сторону графского особняка сам себе дорогу заказал. Каждое утро Лулу по полям, лугам да опушкам гоняю, но туда — ни под каким видом. Да Лулу и сама не идет, проверял. Понимает. Уверен, что понимает.

Батюшка днем усердно хозяйством занимается, а вечерами — мной. С тем же усердием.

— Что есть родина и что есть отечество?

— Одно и то же.

— Ан и нет. Отечество — под ногами. Святая память о доблести и чести предков твоих, а с их помощью и о са-

мой Руси. А родина — место, где родиться довелось да вырасти до осмысления, что родился именно тут. Две березки, сосна корявая за околицей да ракита над прудом. И никуда от сих предметов не денешься, сколько бы ни жил. А коли деться довелось, так о них и тосковать будешь всю солдатчину, как о знаках родины своей.

— Ну и слава Богу, — говорю. — И я...

И — замолкаю, подумав: а о чем, собственно, тосковал я, скажем, в Бессарабии? Об Антоновке? Нет. Об Опенках родовых? Да тоже нет. О... о Корпусе, что ли?

— Вот-вот, — говорит батюшка, будто мысли мои прочитав. — Да ни о чем ты не тосковал по той простой причине, что все твое было с тобой на манер багажа. Отечество, память о великой его истории, которую никакой околицей не ограничишь, потому что ни в какую околицу она и не вмещается.

А ведь прав в чем-то мой бригадир, думаю. Не свойственна нашему брату офицеру тоска по чему-то предметному...

— Никогда крестьян своих на вывод не продавай, — строго говорит вдруг батюшка. — Только с землей, коли уж нужда заставит. Только с землей, с березками их и прочей видимой атрибуцией.

Omnia mea mecum porto («Все свое ношу с собой»), думаю. Похоже, что так, по себе сужу. Только хорошо это или плохо? Хорошо или плохо?..

Вероятно, я — в основе, что ли, — не самый плохой сын. Из любви к матушке и почтения перед нею — все терплю. И не просто терплю, но и порывы свои ограничиваю. И батюшку терплю, и назидательные беседы его — тоже. В конце концов, на то и дети, чтобы на них выводы из собственных ошибок изливать.

...А может быть... может быть, признаем за каждым право на собственные заблуждения? В конце концов, человек живет только один раз. Ровно — один раз. Станный счет, не правда ли? Очень уж смахивающий на первый пункт какой-то нам неведомой программы...

Однако и мое почти ангельское терпение исчерпалось до дна. Почувствовав это, я не стал дожидаться, когда взбунтуется муть души моей, и объявил, что намерен приступить к своим обязанностям ротного командира досрочно, поскольку отпуск, дарованный мне командиром полка, еще не истек.

— Нетерпение твое понятно и весьма лестно для меня, — сказал батюшка. — Однако существуют обстоятельства.

Обстоятельства поведала матушка:

— Вот ужо гостей примем, Сашенька.

— Каких еще гостей?

Что это я насторожился вдруг тогда?..

— Рассудили мы с батюшкой, что окажутся они для тебя весьма даже приятными.

Ничего более не сказала, но улыбнулась как-то особенно. Я велел Лулу подседлать и поскакал неизвестно куда. Обдумывать, что же это за весьма приятные...

Не столь важно, каким путем шли мысли мои. Не столь важно потому, что путь был прям, как шеренга линейных на парадном плацу. Приятными гостями для молодежи во все времена являются только их ровесники противоположного пола, какими бы словами эта простейшая истина ни прикрывалась. Аничка была не просто далеко, а как бы за гранью возможного, и, следовательно, таковой приятностью могла быть только ее кузина. Полин.

...Огорчило это меня? И да, и нет, однако совсем не по принципу «на безрыбье и рак — рыба». Любовь к Аничке я замкнул на все замки в душе своей, как Кощей — смертную иглу в ларце. И любовь эта жила в душе, но как бы не имела никакого отношения к худенькой, умненькой и душевно какой-то... какой-то открыто бесстрашной, что ли, Полин. Нет, не пыл страсти телесной толкал меня к ней, а тихое и спокойное стремление души. Женщина-друг нужна мужчине нисколько не меньше, чем женщина-любовница, хотя бы

просто потому, что другу-мужчине вы никогда не откроетесь столь широко и беспощадно, как другу-женщине. Да никакой мужчина и не поймет вас так, как поймет женщина, если, разумеется, Господь не обошел ее умом и пониманием. Так вот, Полин Господь не обошел...

И я не то чтобы повеселел — нет, веселеть мне было не с чего, и тоска моя никуда не делась, все так, и все же... Все же светлее мне стало. Стало кого ждать.

...Ах, как это важно для человека — кого-то ждать. Важнее, чем «чего-то». Уж поверьте мне...

Поэтому и спросил не очень обдуманно:

— Когда Полин приезжает, матушка?

Странно она тогда на меня посмотрела. С долгой и доброй полуулыбкой.

— На той неделе ожидаем. Дня на три, а там, может, и на четыре, если понравится им.

Сентябрь то был. И уже срединный. Уж и листва звенела на ветру...

И не три дня они гостили в моей Антоновке. И — не четыре. А неделю да плюс еще один особый день.

Гости загодя казачка прислали, чтобы точно свое прибытие обозначить. Я у казачка дорогу их выведал, Лулу велел подсесть и выехал им навстречу. Признаться, скорее из вежливости, нежели от нетерпения, если, конечно, не учитывать, что вежливость для того и придумана, чтобы порывы нашей искренности скрывать. И в данном случае помчался я не столько из желания Полин поскорее увидеть, сколько из стремления от тоски по Аничке подальше убежать.

(Приписка на полях: *А может быть, мне так тогда казалось?*)

Осень сухой выдалась, цветы в полях пожухли и составились. Зато всюду цвел бересклет, и я наломал порядочный веник. Сознательно пропустил карету их, в кустах схоронившись, а потом догнал ее и сунул этот веник в открытое окно. И услышал сквозь бледно-розовые сережки бересклета детски восторженное:

— Бабушка, это он!..

Карета остановилась, обе дверцы распахнулись. Я с седла спрыгнул, бросив поводья. И поклонился по-французски, шляпой осеннюю траву причесав:

— Счастлив приветствовать вас в своем углу!

— Это — твоя земля, поручик? — Генерал обнял меня, расцеловал в обе щеки. — Какой предмет, чтобы по чарке выпить, Прасковья Васильевна!

— Предмет, предмет. — Генеральша по-родственному расцеловалась со мной, Полин из-за обширных юбок вперед выдвинула. — Целоваться — так со всеми.

Полин, зарозовев, щечку подставила, я приложился к ней. Выпили мы по чарке, генерал о здоровье матушки с батюшкой спрашивает, я что-то отвечаю, а сам, признаться, слушаю, о чем это внучка с бабушкой шепотом спорят.

— Ну что с тобой поделаешь, баловница! — в конце концов говорит генеральша Прасковья Васильевна с улыбкой.

И — громко, хотя прежде шептались. Будто для посторонних ушей сие предназначено.

А Полин, смотрю, вдруг резво этак на козлы лезет. И кричит мне оттуда:

— Ко мне — на коне!

Я вскакиваю на Лулу, подъезжаю к карете. Полин с козел протягивает мне руки, и я легко сажаю ее впереди себя.

— За нами! — командует Полин, как-то очень естественно и невесомо обнимая меня за шею правой рукой.

Скачем впереди на легкой рыси. Полин что-то говорит, я что-то отвечаю, странно ощущая, что сердце мое бьется столь же ровно, как билось до сих пор. И наплевать ему на то, что в моих объятьях — милая, хрупкая барышня...

Появились мы первыми — карета еще где-то позади громыхала. Родители уже встречали гостей на крыльце, а нас, передовых, увидев, батюшка поспешил навстречу и галантно принял в свои объятия мою то ли добычу, то ли спутницу. И осторожно поцеловал в щечку, хотя я был убежден, что таковое наше появление ему не очень-то понравилось. Брови выдали, заерзав на лбу.

Но раздвинул он их по местам, когда подъехала карета. И ничего никому не сказал, а уже на другой день в моей конюшне обнаружилась смиренная лошадка, коей доселе здесь не было. А заодно и дамское седло. Видно, в Опенки бригадир мой за ними посылал.

— Так оно удобнее, — сказал он наезднице моей вчерашней следующим же утром. — Лошадка смиренная, иноходец. Дамская, коли с седлом в комплекте.

Четыре дня пролетели в конных прогулках и разговорах. Полин отлично держалась в дамском седле, лошадка-иноходец отлично была выезджена, а я... Я почему-то непрестанно об Аничке думал. Скорее, не столько думал, сколько мечтал.

...Ах, кабы она сейчас подле моего стремени скакала... Не до разговоров бы нам было, Аничка моя...

Но мечты мечтами, а разговоры — разговорами. Сказать, что неинтересны они мне были, что с живостью не поддерживал я их, — значит неправду сказать. И поддерживал, и смеялся, и удивлялся, и... И радовался, искренне радовался, что — не один. Что рядом — живая, умненькая, бесстрашная и беззащитная одновременно... кузина. Двоюродная сестра любви моей.

— Вы торопитесь жить, Александр? Я часто ловлю себя на том, что — тороплюсь. Что мне жаль стало часов, которые я трачу на сон. Я все время хочу жить. Все время, каждое мгновение! Бывало ли такое с вами?

— Не поручусь о прошлом, но и не заручусь на будущее.

Рассмеялась Полин. Искренний смех, звонкий, девичий, но... Но не колокольчик. Не колокольчик, серебром своим пробуждающий все силы и все желания ваши.

— Не торопи воспоминаний, но догоняй свою мечту? А если нет воспоминаний, но есть в тебе одна мечта?..

Хлестнула свою иноходную кобылку и помчалась вперед. Я Лулу-любимицу никогда не понуждаю следовать желани-ям моим: она сама в них разбирается. А я ей обязан: жизнь мою она спасла, из великого оледенения вытащив. И я моей спасительнице только повод отдаю — сама разберется, куда, зачем и на каком аллюре. Умная лошадь — половина судьбы офицерской, как однажды мне батюшка сказал. Расчувствовался тогда бригадир.

И понесли нас кони куда-то. Лулу на полкорпуса позади иноходки держалась, гордясь отпущенным поводом, и так скакали мы по пониженным полям. И хотя осень сухую выда-лась, утренние росы травы все же положили, листву с деревь-ев обрушили. Осень есть осень. Слезы года.

Я, признаться, так и не успел заметить, когда заяц порскнул из-под копыт кобылки-иноходки. Но лошадка заметила и испугалась. И рванулась в сторону, вдруг на дыбки вскинувшись и выбросив Полин из седла.

Это, так сказать, с точки зрения лошади. А с моей — Полин скорее не вылетела из дамского седла, а — выпорхнула, как птенчик выпархивает. И что поразительно — даже не вскрикнула при этом, хотя вскрикивать девицы прямо-таки обожают. И не столь важно, по какой именно причине: от испуга, боли, неожиданности или восторга, вдруг неистово всю натуру их охватившего. Важно, что вскрик девичий — всегда призыв. Требовательная полковая труба. В отсутствие представителей противоположного пола они, заметьте, почему-то не вскрикивают. Призывать некого.

А тут — было кому призыв адресовать, а — не вскрикнула. И, откровенно говоря, мне это молчаливое ее терпение очень тогда понравилось.

Я возле нее оказался, когда она еще встать не успела. Протянула руку, улыбнулась (по-моему, через силу улыбнулась, внезапный испуг превозмогая), и я помог ей подняться.

— Благодарю.

— За что же, Полин? За то, что не уследил за вами?

— Думаете, вас благодарю? — вдруг тихо сказала она. — Нет. Судьбу благодарю, что встретила вас.

Очень это серьезно, что ли, прозвучало, и я, признаться, растерялся. Молча подвел к иноходцу (или — иноходке, как там по-русски полагается?..), молча усадил в седло. Она невесома была, как пушинка с одуванчика...

Записываю не ежедневно, кусками, воспоминаниями... Нет, событиями время отмечаю.

Вечерами мы тоже были вместе. Точнее, от старших отдельно, и на эту нашу отделенность никто из них вроде бы и внимания не обращал. Полководцы в отставке с орденоносными мундирами бывлые сражения вспоминали, взаимообидчиво споря порою, а матроны о чем-то уютно-семейном меж собою толковали, весьма даже согласно и миролюбиво. И нам предоставлялась полная возможность говорить, о чем душам нашим угодно тогда было.

—...Вы помянули о терпении, Полин? Терпение — наследие плоти нашей. Ожидание, когда пройдет боль, например.

— Вы говорите о телесном терпении, и в этом — правы. Но я имела в виду терпение души человеческой. Ждать терпеливо не когда что-либо пройдет, а когда — придет. Терпеть и верить, что наступит час откровения души...

— Признайтесь, вы тайно пишете стихи.

— Грешна ли? — Полин улыбается. — Но — в мечтах, не на бумаге. Проговариваю их себе самой, когда есть что проговаривать.

— Проговорите что-нибудь вслух. Для меня.

— Когда-нибудь... — Улыбка начинает таять, таять и исчезает окончательно. — Но — нет-нет-нет.

— Почему же «нет-нет-нет»? Вы не похожи на ломаку.

— Я — не медовый пряник. Увы.

Сознаюсь, я не очень ее понимал порою, а может быть, просто не решался понять. За три дня наших ежедневных прогулок Полин менялась на моих глазах. В ней исчезала непосредственность, но посредственностью она быть уже не умела или просто не желала и — странно замыкалась. Словно никак не могла решиться на какой-то уже внутренне решенный ею шаг и — съеживалась, ненавидя саму себя за эту нерешительность.

Возможно, что она ожидала встречного шага от меня. Ну, не шага — движения, слова, какого-то взгляда, наконец. Но я был древесно молчалив, гладок и вполне предсказуем, как хорошо обтесанное бревно, и зацепиться ей, бедняжке, было не за что.

В тот вечер, не без горечи объявив себя «не медовым пряником», Полин оборвала разговор и быстро ушла, сославшись на усталость. Я помыкался вокруг стариков, бездарно проиграл генералу партию в шахматы и тоже отправился спать.

Утром она встретила меня куда как непринужденнее, нежели я — ее. Шутила, улыбалась, болтала ни о чем, что, в общем-то, ей было несвойственно. А когда нам подали лошадей и я посадил ее в седло, объявила:

— Сегодня я скачу впереди, а вы следуете за мной.

И полуверсты так не проскакали, когда я сообразил, что она ведет меня напрямиком к графскому особняку. До сей поры я старательно объезжал его стороной, но, кажется, именно моя нарочитая старательность и подвигла ее командовать сегодня нашим выездом. Дороги она не знала, но направление выдерживала вполне осознанно, и я сообразил, что она дотошно расспросила, где именно находится покинутое графское логово.

Относительно того, что оно покинуто косноязычным Засядским, я не сомневался: мне как-то сказал об этом Савка. Непредвиденных встреч быть не могло, ничто, казалось бы, не должно было меня тревожить, а, поди ж ты, я почему-то заволновался.

...Тогда не понял причины сего, но сейчас разобрался: я не хотел возвращать никаких воспоминаний. А уж тем паче — призрачных...

Но то, что для меня представлялось призрачным, Полин воспринимала, видимо, вполне реально. Для нее прошлое оставалось живым, а для меня — мертвым, а мертвое вызывает к молчанию, и я молчал.

У Полин — душа удивительной глубины, и никакие внешние изменения ее замутить не способны. Она сразу же поняла причину моей замкнутости на все засовы, а потому молчала тоже. И не просто прикусила язычок, но примолкла с уважительным пониманием, как то случается на кладбищах у совсем, казалось бы, посторонних могил.

Спешились, едва ворота проехав. Заколоченный дом всегда вызывает грусть. Не знаю, у всех ли, но у меня — вызывает. Даже шагать стараюсь бесшумно...

...Девочка с бабушкиными кружевами. Мечтающая, чтобы детки ее прикрывали лоб ладошкой, коли уж очень захочется им сказать не всю правду маменьке...

Не успел подумать, как Полин тут же бросила на меня настороженный взгляд. Нет, не настороженный — горький, все понимающий. Свернула неожиданно в заросший сад, и мы вышли к прудам. Темным, осенним, с притопленными кувшинками и печально задернутым дырявым покрывалом опавшей листвы. И не было больше белых лебедей.

— Улетели. — Я не удержался от вздоха.

— Не было их. — В голосе Полин слышался напряженный звон. — Не было, не было. Взлелеянное прошлое

превращается в сказку, но сказками живут только дети. Опомнитесь, Александр, опомнитесь!

— Опомнитесь?

Глупо спросил. И улыбнулся глупо.

— Эклеры съедены, и блюдо утоплено...

— Долго же вам пришлось сидеть в кустах, — усмехнулся я.

— Я всю жизнь сижу в этих кустах! — вдруг выкрикнула Полин. — Всю жизнь, когда же вы, наконец, уразумете это, деревянный вы человек!..

Кажется, я начал что-то соображать. Посмотрел на нее... И Полин не отвела глаз. Смотрела в упор, и взгляд сверкал решимостью. Будто дошла она до края и сейчас готова была шагнуть за него, куда бы тот край ни обрывался.

— Я не могу приклеить мушку посреди лба, ну не могу! А вот блюдо ваше бесценное достать — могу! Чтобы вы еще раз убедились, что пирожные детства — съедены. Навсегда съедены! И не воскреснут больше, не воскреснут!..

Слезы тут из глаз ее брызнули, и она побежала. Побежала куда-то — не к лошадям, не к особняку: куда-то побежала. Как бегут от самой себя...

И упала, споткнувшись. Беспощадно как-то упала, что ли. Я бросился к ней: она лежала ничком, плечи тряслись, и не рыдания — вой какой-то последний из нее вырывался...

— Что с тобой, Поляночка? Что с тобой?..

Хотел повернуть ее — не давалась. Билась изо всех сил, как птица билась, и сердечко ее стучало на всю округу. Но я все же повернул ее, к себе прижал, целовал зареванное, слезами залитое лицо, щеки, губы...

— Прости меня. Прости, прости...

Возвращались рядышком, рука об руку, и лошадки наши шагали согласно. Полин улыбалась, и глазки ее сияли, но в улыбке было... некое ожидание, что ли. Скорее тень мучительно долгого, изнурительного ожидания и робкая надежда, что оно вот-вот может закончиться, навсегда душу ее покинув.

Не выдержал я этого и сказал:

— Мы войдем, возьмемся за руки и встанем на колени.

— Может быть, лучше вечером?

— Нет, сейчас. Ты же такая решительная, Полюночка.

— Я такая счастливая... — Она улыбнулась. — Такая счастливая, что мне страшно. Мне страшно счастливым страхом, Саша...

Вошли и встали на колени, держась за руки. И я сказал:

— Благословите нас, родные наши.

Матушка с бабушкой расплакались, целовать кинулись жениха с невестой. Генерал слезу смахнул, а мой бригадир бакенбарды свои расправил. Одной рукой почему-то. Как кот лапой.

А тем же вечером сказал мне с глазу на глаз:

— Ты ведь не влюблен еще.

— Я люблю Полин, батюшка.

— Любишь, спорить не стану. Но любишь — без влюбленности. А она в тебя влюблена по уши.

— Тонкости, батюшка.

— Тонкости? Ну-ну... — Бригадир похмурился, бровями поерзал. — Слово, девице данное, есть слово чести. Назад его не берут. Немыслимо сие. Немыслимо.

— Вы сомневаетесь в моей чести?

— В счастье, а не чести, — вздохнул мой старик.

Засим подходит ко мне и берет в ладони мою голову. Как в детстве только делал.

— Благословляю и рад за тебя.

Неожиданно целует не куда-нибудь, а — в шрам от графской пули, седым волосом заросший. И шепчет на ухо:

— Вот где печать любви твоей...

Свадьба в наши времена была событием наиважнейшим, а потому и неспешным. Право решать, когда, где и как именно произойдет сие событие, принадлежало дамам, и я выехал наутро в одиночестве. Не скажу, что мне было невесело, но и грустно тоже не было, хотя и понимал я, что шаг мною

уже сделан. И куда бы он ни привел, возврата уже не могло быть даже в мыслях моих.

Ни о чем я не думал да и вокруг ничего не замечал. Отдал поводья Лулу, и она сама выбирала не только аллюр, но и задумчивость общего нашего пути. Я был — она, а она — я, а кентавры не знают ни удил, ни поводьев.

А вокруг нас лежала поникшая осень. Не мокрыслезливая, с бесконечными нудными дождями, а какая-то вялая, отсыревшая, что ли. И — беззвучная, точно замершая на самой грани прощания между теплом и холодом...

Дамы наши, все продумав и обсудив, донесли свое решение генералитету, который привычно выдал его за свое:

— Свадьбе быть после Рождества Христова.

Через день мы как-то поспешно разъехались. Полюночка с бабушкой и дедушкой — сначала к себе, в имение, а оттуда — прямо в Петербург. Готовиться, наряды шить да дни до свадьбы считать. А я — во Псков. Служить и ждать.

Октябрь

Говоря откровенно, нелегко мне было вновь пред солдатскими глазами предстать после столь длительного отсутствия. Но я все причины доложил с полной искренностью, на которую только был способен. Даже седой клоч волос у виска показал им: не каждая, мол, пуля насмерть убивает.

— Штык надежнее, ребята. Но в пехоте я еще не служил, а потому очень прошу научить меня всем хитростям пехотным, и особенно — штыковому бою.

Никогда еще доселе я столь ревностно к службе не относился. То ли легкомыслием молодости до краев переполнен был, то ли радостью жизни, то ли самонадеянностью, что ли. А тут — и сам себе не верю, что со мною стряслось.

Вставал еще до общей побудки, на квартиру уходил после общего отбоя и весь день проводил со своими солдатами.

Учил их без окриков и угроз тому, чему обязан был учить как командир роты, и сам учился до седьмого пота у бывалых, в смертельном деле себя проверивших седоусых старослужащих как солдат. Особенности пехотного мира и пехотной войны, и — с особым усердием — штыковому бою. И старался не только потому, что батюшка так посоветовал, но потому еще, что искренне хотел не просто командовать ротой, но и сдружиться с нею. Может быть, не сдружиться — это уж чересчур сильно я выразился, — а стать в ней старшим вопреки собственному возрасту, поскольку по годам я еле-еле с новобранцами тогда сравнился.

Уставал поначалу, что уж там. Солдатчина не просто трудна, солдатчина всей жизни твоей требует. Сил, веры, надежд, упорства, настойчивости, терпения, смекалки и непременно — веселого расположения духа. Иначе до воли не дотянешь. В прямом смысле воли: солдат вольным человеком службу воинскую покидает, на благо Отечества потрудившись и лишь ему да Государю отныне принадлежа.

Вот это я своим солдатам и втолковывал. Каждый день. Перед строем и на вечерних беседах. Коли честно служить будете, так вольными людьми в деревни свои вернетесь. Свободными и грамотными к тому же. И жениться еще успеете, и детей нарожать, и дети ваши тоже навсегда свободными будут.

Зима

Вот так и осень закончилась, и зима началась. И едва началась она, как разбудил меня денщик мой в неурочный час. Среди вьюжной и морозной декабрьской ночи.

— Ваше благородие, в штаб требуют.

— Кто?

— Не могу знать. Вестового прислали.

Примчался в штаб, а там уж — почти все офицеры. Никто ничего не знает, так с незнанием и ввалились к командиру полка.

— Господа офицеры, поднимайте солдат по тревоге и держите в полной готовности.

— Война, господин полковник?

— Гвардейский мятеж на Сенатской площади.

К счастью, для полка нашего все обошлось: без нас Санкт-Петербург с мятежниками справился. А для меня — не совсем. С батюшкой от всех этих государственных передраг удар приключился. Матушка депешу прислала о внезапной болезни его, и командир на неделю отпустил меня домой.

...Судьба ли, природа ли или сам Господь Бог сдает каждому его карты на всю жизнь ровно один раз. У кого — сплошные онеры в козырях, у кого — тузы, а у кого и одни фоски — это уж как кому повезет. Но большинство почему-то всю жизнь так и живет с теми картами, что при рождении выпали. Стонут, жалуются, кряхтят, просят пересдать заново. А нет бы подумать об изменении судьбы собственной. Да, карты сданы, но — для игры, для азарта, для способностей и куража вашего. Так разберитесь в них и смело играйте по тем правилам, которые сама жизнь вам предлагает! Она — ваш соперник отныне, и тут уж — кто кого. В жизненной игре и сброс предусмотрен, и прикуп, и козыри, и ходы ваши: так дерзайте же, не ждите милостей. Берите игру на себя и — по банку!

Это я написал, то разумея, что обстоятельства жизни меняются и мы обязаны меняться вместе с ними, иначе из игры вылетим. И люто начнем завидовать тем, кто куши с банка снимает, а то и весь банк. Что, завистников, коим и тридцати еще не исполнилось, не встречали? Встречали, поди, — глазки их выдают.

Это я к тому, что в том декабре двадцать пятого я еще не собственной колодой играл. Почему, как и большинство, не одобрял событий на Сенатской площади. Мятежников с претензиями в них видел, а не рыцарских героев российской

истории. Без всякого стыда в этом признаюсь, потому что искренность чести не в упрек.

Но что-то, вероятно, в глубине души моей шевелилось. Что-то мне непонятное и как бы даже неощущаемое. Предчувствие?.. Нет, что-то похитрее. Что-то из памяти предков моих, дружинников княжеских, не забывавших перед тяжкой битвой сунуть за голенище мужицкий засапожный нож...

Иначе как объяснить, почему я решил вдруг, к заңемогшему батюшке в Петербург направляясь, сунуть в дорожный чемодан пушкинские стихи о французском поэте Андрее Шенье?..

Да, в Санкт-Петербург: на зиму дворянство в столичные дома переселялось из всех своих Опенок да Антоновок. А тут еще и свадьба на носу. И бригадир мой, по счастью, оказался в столице, где и воспринял декабрьское противостояние в виде личного удара. Но и врачи вовремя, и кровь сброшена, и пьявки к затылку, и матушка моя — рядом днем и ночью.

Когда я на курьерских примчался, ему уже полегчало. И усмешка вернулась, и брови по лбу обычным путем уже перемещались, и речь на своем месте. Только, правда, еще короче теперь стала:

— Вот они, Раевские твои.

Лежал он еще в постели: и откуда терпение нашлось? И читать в мыслях моих, к удивлению, не разучился.

— Любовь не только совместное ложе, жених, но и совместное лобное место.

Женихом он меня скорее в насмешку обозвал, поскольку свадьбу отложили до лучших времен. До полного выздоровления так некстати пострадавшего батюшки.

Генерал навещал старика моего ежедневно, а Прасковья Васильевна от матушки всю первую, решающую неделю вообще не отходила. Но невесте, Полиночке моей, бригадир решительно, языком, еще коснеющим, запретил пред глазами его мельтешить, почему я и поехал к ней уже в следующий

вечер. И, собираясь на свидание то, достал из дорожного чемодана подаренные мне Александром Сергеевичем стихи об Андрее Шенье и захватил их с собою.

И — опять загадка: почему я именно тогда вокруг этих строф закружил? До того времени лежали они и лежали, да и не вспоминал я о них, признаться. Тоска меня заедала, я в прогулках да разговорах с милой девицей топить ее пытался, но закончилось все обозначенной свадьбой как-то, признаться, уж совершенно для меня неожиданно. И мысли вокруг женитьбы завертелись, вокруг будущей семейной жизни... А тут после разгрома восстания на Сенатской площади, после того, как отца удар хватил, после переноса собственной свадьбы на срок неопределенный — ну будто заколдовало меня на «Андрея Шенье».

Правда, тогда я просто себе все объяснял. Мол, с Полиночкой давно не виделся, а она так стихи любит. И так огорчается, что свадьбу нашу перенесли. И ей будет приятно внимание мое. Потому с того и начал, что протянул ей исписанные пушкинским почерком странички. Но она неожиданно отложила их и глянула на меня:

— Как ты провел день четырнадцатого декабря?

— В полупоходе. Приказано было в полной боевой выкладке дальнейших распоряжений ждать.

— Я не о том, Саша. Это — как бы снаружи. А в душе твоей что творилось?

Не понравился мне тогда вопрос ее. Вам ведь тоже не нравится, когда на мозоль наступают.

— Злился, что выспаться не дали.

— И со злости мог приказать роте стрелять по своим?

— Присяга есть слово чести.

Я нахмурился и замолчал. Полиночка грустно улыбнулась и начала про себя читать строфы «Андрея Шенье». Думаю, щадила меня, давая время подумать и успокоиться.

...Стрелять по своим? Признаться, в такой телескоп я собственную душу тогда не рассматривал. Я был офицером, видел себя офицером и ощущал себя только им. А у офицера собственная душа муштрой и учением на второе место задвинута: на первом у нее — Государь и отечество, заботы, с ними связанные, а главное — защита и незабываемость. Офицерский корпус — цемент, блоки государственные скрепляющий. А душа собственная — так, для личного пользования, что ли. Для милых дев, дружеских попок, карточного азарта, любимых лошадей да дуэльных барьеров, коли зацепит ее кто хоть из расчета, хоть ненароком. И все.
Все?..

— Он задолго все знал, — вдруг с глубоким вздохом сказала Полин. — Он предвидел, он все предвидел.

— Кто предвидел?

— Пушкин.

Мне было как-то недосуг разгадывать ее намеки. Я о своей, всем воспитанием искусно раздвоенной душе думал и ужасался, до чего же незаметно из нас механизмы делают, ежедневной муштрою все человеческое вытаптывая из сердец наших.

— Слушай, — сказала Полин.

И начала негромко читать:

Я славил твой священный гром,
Когда он разметал позорную твердыню
И власти древнюю гордыню
Развеял пеплом и стыдом;
Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу,
Я слышал братский их обет,
Великодушную присягу
И самовластию бестрепетный ответ.
Я зрел, как их могущи волны
Всё ниспровергли, увлекли,
И пламенный трибун предрек, восторга полный,
Перерождение земли...

— Пушкин, — сказал я весьма туповато. — Так это же когда им написано...

— В этом все и дело, Саша, — озабоченно вздохнула моя Полиночка. — Сейчас лилипуты такими канатами его повяжут... Не его даже — гений его повяжут.

— Так когда же это написано!..

Я повторил с прежней тупостью, но в чем-то все же колебался, что ли. Не с прежней уверенностью повторил.

— Знаешь, как должны называться эти стихи? — вдруг тихо сказала она. — Знаешь как?..

Вскочила, бросилась к бюро и чуть скошенным почерком написала вверху, над пушкинскими, рукой его написанными строфами:

«НА 14 ДЕКАБРЯ».

И я... как-то опомнился, что ли. Из души моей гремевший офицер вдруг словно выскочил. Освободилась она от него. От всех уставов и наставлений, приказов и повелений. А главное, привычек, честь твою личную зачастую подменяющих. И я освободился вместе с нею. И как бы прозрел.

— Все понял, Полиночка. Все понял я. Для чиновников время есть, а для поэта — нет. Он выше времени и зорче его...

И как же я был благодарен за момент прозрения своего! Она же в человеческий облик душу мою вернула, из армейского мундира ее вытряхнув. В объятьях ее сжал, целовал, целовал...

Туман потом. Только шепот ее помню:

— А зачем нам свадьбы ждать, Сашенька мой?..

И мы не стали ждать венчанья...

Четыре дня спустя

Четыре дня спустя я возвращался в полк уже на перекладных. С «Андреем Шенье» в кармане и надсадной болью в душе. И места себе не находил от боли этой.

...Я изменил тоске своей. Не любви, нет, — любовь как была в ларце на дне сердца моего, так и осталась. Но не охранял ее больше свирепый и неподкупный цепной пес — тоска моя. Потерял я на нее право, перестал властвовать над нею и — предал оборону любви своей. За диванные ласки, за минутный взрыв страсти предал я свою Аничку, право потеряв на последнюю чистоту...

Спрóсите: а как же Настюхи, Варюхи, Машеньки, Глашеньки? Да просто другого круга коловращения эти. Не Аничкиного. А здесь — Аничкиного. Кузина любви моей в жарких объятьях моих была...

Помнится, пил я неумно. В дороге пил, во всех встречаемых и поперечных трактирах, а на станциях — с особенным неистовством почему-то. Ожог души пытался остудить...

— Ваше благородие, банчок не желаете-с?

Смотритель спрашивает весьма вкрадчиво.

— Чего тебе?

— Лошадок долго ждать, а в тихой половине офицер банчок предлагает. Мирно и покойно время скоротаете.

— Банчок так банчок.

Вхожу, тоску свою волоча. Вижу: поручик конно-пионерского полка. Приятной обходительности.

— Куда спешаете?

— Во Псков.

— Вам — на юг, мне — на север, — улыбнулся этот коннопионер. — Удобно метать, не правда ли?

— Да хоть сверху вниз, хоть справа налево. Что в банке, северянин?

— Пятьсот рублей не жалко?

— На все пятьсот под туза бубен.

...Не было уже у меня прав на мою червовую даму, не было. Чувство было, что предал я ее, а потому и о помощи ее даже думать не смел. Да я ни о чем тогда и не думал.

В голове — вихри, как в снежном поле в стужу зимнюю, а в сердце — тяжесть. Тоскливая, как волчий подлунный вой...

— Нет вашего счастья, поручик. Ни в каком ряду нет.

— И еще полтысячи. Да на того же туза. Может, еще и догоню свою удачу.

— За счастьем гоняться — пустое занятие. Впрочем, воля ваша, поручик. Воля ваша, а карта — наша.

Верное слово сказал коннопионер: пустое занятие за счастьем гоняться. И оно от меня ускало, и я от него ускало. По разным тропам, по путям разным...

Потому, видать, и проигрывал легко. Ни куражу во мне не было, ни азарту, ни интересу даже. Как и лошадей у зрителя. Может быть, если бы заржали призывно кони под окном, остановился бы я. Но кони не заржали, и коннопионер очередной банк у меня сорвал: везло ему в игре сегодня.

— Коль больше денег нет, так и игре конец.

— У меня пистолеты добрые. Ставлю по тысяче каждый.

— Не нужны мне пистолеты. Коннопионеры люди тихие.

— За пару тысячу!

— Нет, поручик, уж увольте. Своему слову я хозяин.

А в меня вдруг упрямяство вселилось. Не кураж, не азитация, а глупая упрямая обида. Будто бес в мальчишку безусого, отцовскими деньгами впервые зеленое сукно засевающего.

— Нет, так невозможно, невозможно так разойтись...

Бормочу, карманы обшаривая. В сумку зачем-то заглянул, хотя и знал, что денег нет уж ни бумажки. Мундир охлопал... А там — хрустнуло. И вытащил я из-под него пушкинского «Андрея Шенье». И на стол бросил:

— Вот.

— Под бумажки не играю.

— Протрите глаза, коннопионер! Это — сам Пушкин, своей рукой написал!

— И вправду Пушкин? — Мой визави в рукопись взгляделся. — А как не его то рука?

— В чести моей сомневаться изволите? Так у меня разговор короткий.

— Не сомневаюсь, Олексин... Не ошибся с фамилией? Уж извините, если напутал что.

— Не напутали, — говорю. — Ни со мной, ни с бумагами, кои просматриваете сейчас. В тысячу рублей пойдет?

Хотел же на червонную даму поставить, до жжения сердца хотел — и опять не посмел. Не моей была червонная дама моя. И я на бубновую поставил.

— Бита!..

Встал я и побрел куда-то. Мимо смотрителя, через всю избу — в холодные сени. И в сенях этих горячим лбом в холодную бревенчатую стену уперся.

Ничего больше у меня не было. Ни юной любви, на чужом диване преданной. Ни бесценной дружбы со славой всей России, на корявый станционный стол брошенной за тысячу рублей. Ни чести более уж не было, ни совести, ни родительских глаз, ни офицерского незапятнанного мундира. Ничего не было, из-за чего стоило бы жить.

Достал я пистолет, который куражистому счастливчику коннопионеру предлагал. Он заряжен был, но порох с затравочной полки стряхнулся, когда я им как товаром размахивал, и я не поленился за пороховницей сходить, взять ее и в сени вернуться. И все делал очень медленно, старательно и спокойно, сам себе демонстрируя решимость свою. И там, в сенях, начал на курковую полку сыпать сухой порох. Неторопливо и аккуратно, крупинка за крупинкой.

Смотритель мимо во двор пробежал, так тяжелой дверью грохнув, что у меня весь порох сдуло. И я опять начал все сначала. Неторопливо и очень старательно...

— Ваше благородие, вроде как вас спрашивают!

Смотритель с улицы заглядывает, а у меня снова порох с полки сдувает. И я опять начинаю заново...

— Барин, Александр Ильич, чего это ты тут на холоде с пистолетом?..

Поднимаю голову — и глазам не верю: Савка. Мой Савка, Клит мой верный, молочный брат, которого я в Антоновку отправил, когда помчался к захворавшему батюшке.

— Вот так встреча. Я же за вами приехал. Думал в Петербург придется гнать, ан нет, вы — тут.

Стою, ничего еще не понимая. В одной руке — пистолет, в другой — серебряная пороховница. Хороший вид.

— Почему — тут?

— Так я же и говорю... — растерялся Савка.

— А зачем?

Вздыхнул Савка, пригорюнился. Покачал головой.

— Мамка наша помирает, Серафима Кондратьевна. Проститься очень уж ей с вами хочется.

Слышу все, известия понимаю и запоминаю, а сам на Савку гляжу. Плечистый, разбитной, грамоте обучен... И говорю вдруг, но как бы и не я говорю, а кто-то со стороны:

— Идем.

— Куда? — удивляется Савка. — Собираться в Антоновку надо. Мамка наша помирает, Серафима Кондратьевна. Пока пообедаете, пока лошадок покормим...

— За мной, — говорю. — И ты, смотритель, тоже.

И, избу миновав, напрямик входим в тихую половину. Коннопионер стихи, у меня, дурака, выигранные, просматривает. Воззрился на нас, голову подняв.

— Вот, — говорю, — моя последняя ставка. Скинь шубу, Савка, себя поручику покажи.

Тот послушно шубу сбрасывает, подбоченивается, ничего не понимая. И коннопионер смотрит удивленно, тоже ничего не понимая. А я Савку к столу подталкиваю.

— Извольте принять под стихи, что у меня выиграла. Смотритель свидетелем будет.

— Я, милостивый государь, на людей не играю, — сухо объявляет мне коннопионер.

— Сыграете, — говорю, и все вроде как в беспмят-

стве. — А коли откажете в сем, пулю себе в лоб пуцу на ваших глазах. Пуцу, честью клянусь!

...Господи, что творилось со мной, кто объяснит?! Но то, что творилось, видно, на лице моем написано было, а лба я ладонью при этом не прикрывал...

И потому поручик, посмотрев в лицо мое, бросил пушкинские стихи на стол:

— Дарю.

Взбеленился я, аж дыхание пропало.

— Унижений не потерплю! Извольте карты сдать, поручик. На кону — мой Савка и пушкинские стихи.

— Ваши благородия... Ваши благородия... — залепетал тут смотритель, побелев.

Коннопионер пожал плечами и стал тасовать колоду.

...А я молиться начал, верите? Про себя, конечно, но — искренне, жарко, истово и неистово одновременно. К святой Божьей Матери обращаясь чрез душу, что предстать пред нею вот-вот должна была. «Мамка моя, — шепчу, — меня вскормившая, силою своею налившая меня, упрости Матерь Божью карту мне верную подсказать. Молю тебя, мамочка моя...»

Богохульствую от всего сердца своего. Не жизнь свою спасая — нет-нет, честью клянусь, о жизни не думал! Я пушкинские строфы спасал, мне от души подаренные. Пред ним я тогда себя подлецом ощущал, только пред ним и ни пред кем более. И молил, молил, умолял и молился...

— Извольте карту, поручик.

— Карту?..

...Карту?.. Вспомнил я, сколь часто карту на свою червовую даму заламывал и сколь часто выручала она меня. Но не было у меня более дамы моей червонной, предал я ее, как дружбу Пушкина, как... Как Полин, в конце концов, без

влюбленности бешеной девичество ее нарушив. Одна теперь у меня дама осталась, да и та в Антоновке душу свою чистую Богу отдает...

И — будто молния блеснула.

— Дама трэф.

Пришла. В третьем ряду пришла...

Пришла!..

— Ваша взяла, Олексин, — усмехнулся коннопионер.

А я на пол сел, поверите ли? Будто ноги мне подкосили и — без сил совершенно.

— Вина... — выдохнул последним выдохом.

— Не вина тебе надобно, Александр Ильич, — усмехнулся Савка и вышел.

И все молчали. А я сидел. С пустотой в голове.

Савка с баклажкой и оловянной кружкой вошел. Присел подле меня на корточки.

— За мамку нашу, барин.

И налил мне полную кружку. И не вина, а домашнего ерофеича, который каждый год наша мамка готовила. Забористый ерофеич, родной, и выпил я до дна эту кружку.

Выехали мы сразу же, даже перекусывать не стали. На своих лошадях выехали: Савка за мною на паре примчался. И я, признаться, с поручиком коннопионером даже не попрощался. Не до того мне было, да и не хотелось, признаться.

Савка меня на сено уложил, с боков подгрел его, в тулуп укутал. Но — все молча.

— Ну, родимые!..

Дорога на Антоновку через Псков лежала, и до города мы ни словом не обмолвились. А как въехали в него, Савка впервые ко мне оборотился:

— Лошадок подкормить надо. Я тебя, Александр Ильич, пока на квартиру твою завезу.

— Обидел я тебя, Савка?

— Проиграл бы, так сам же и выкупил бы. — Помол-

чал он, вздохнул. — А обидеть, что ж... Обидел, прямо скажу. Чай, одну титьку-то пополам сосали.

Довез он меня до квартиры и поехал на постоянный двор лошадей кормить. Я умылся да переоделся, отыгранного «Андрея Шенье» к прочим пушкинским рукописям приложил, а с собою в Антоновку взял эти «Записки». Чтоб события в них занести, какие доселе произошли. И пешком пошел на постоянный двор.

— Я бы заехал за тобою, — сказал Савка.

— Пойдем в трактир. Пообедаем, выпьем на дорожку.

— Подлизываешься? — усмехнулся Савка. — Эх, барин, Александр Ильич, кабы не любил я тебя, как брата...

Ладно пообедали, выехали и... поспели. К последнему вздоху Серафимы Кондратьевны чудом поспели.

Подле нее уж и священник был, и монашки тихо горевали. Кормилица моя еще в сознании находилась, хотя на глазах слабела, жизнь теряя.

— Прощайтесь, — сказал батюшка. — Чудом поспели.

Бабы дворовые и девки тихо плакали, меня стесняясь. Потом мужская дворня пошла: все любили ее, искренне любили. Да и я с трудом тогда слезы удерживал. Долго длилось прощание, слабела на глазах кормилица моя.

Наконец все попрощались, кроме меня да Савки. Я хотел его последним оставить, единственный сын все-таки, но она по-иному решила, прошептав через силу:

— Савушка, сынок... Уступи Сашеньке. Старший он братец... Слово сказать ему надобно...

Савка попрощался с маменькой своей и тут же вышел, слезы рукавом размазывая. А я на колени у ее изголовья стал.

— Из краев... дальних... горничная приезжала... велено от графинюшки...

Отходила она, слова еле слышно с уст ее слетали. Я ухом приник, чтоб расслышать.

И расслышал последнее:

— Ваничка... внучек мой... Ваничка...

И все. И тихий последний вздох ее я скорее душою своей уловил, так ничего и не поняв...

Пишу все это уж после похорон. Завтра во Псков меня осиротевший Савка отвезет.

...Так что же Аничка велела горничной своей передать? Что?.. Сил не достало у дорогой моей кормилицы сказать об этом. А вернее всего — меня она пощадила, последний раз меня от боли уберегла. Потому что единственная новость, которую Аничка могла мне передать, в том заключалась, чтобы не ждал я ее более. Замуж графинюшка моя вышла. За косноязычного пшюта Засядского...

Дописываю «Записки» сии много времени спустя. Задним числом дописываю, потому вместо дат будут отныне только события.

На следующий день после прибытия во Псков я был арестован. Господами в голубых мундирах.

ВСЕ ЛЕСТНИЦЫ РОССИЙСКИХ КАЗЕМАТОВ ВЕДУТ ТОЛЬКО ВНИЗ

Свеча первая

Помнится, я сидел за столом вместе с солидным, уже в годах, орденах и полковничьем чине господином в голубом мундире. Он вел светскую беседу о роговой музыке, сокрушаясь, что сия традиция исчезает ныне совершенно, а двое его помощников в цивильном тем временем деловито рыскали по моей квартире.

— Хор рожечников являет поразительное звучание, коли доводилось вам слушать его во время лодочных катаний по Неве. Каждый рожок ведет лишь свою собственную ноту, но какова же сила общей созвучности при слаженной игре всех сорока осьми рогов! Божественно! В особенности когда хор исполняет русские песни. Божественная патриотичность и державная гармония охватывают душу слушающих...

Я не поддерживал беседы. Был растерян? Угнетен? Взволнован? Ничуть не бывало. Я был скорее удивлен и расстроен, а посему и мысли мои вились удивленно-расстроенным роєм.

...Что ж теперь станет с батюшкой, бригадиром моим? Каково-то ему узнать будет, что сын его единственный ныне как бы уж и не сын его вовсе, а, скорее, пасынок государства Российского. И как известие о сем, изукрашенное добрыми и недобрыми языками, скажется на здоровье его, уж подточенном тяжкими бранными ранами и недавним ударом? И как, должно быть, трудно, досадно, мучительно даже будет матушке моей от незаслуженной обиды сей?.. Как исплачется и исстрадается она и... И сороковой день по кончине кормилицы моей Серафимы Кондратьевны пройдет без

моего поклона. А сыну ее, Савке, молочному брату моему, Клиту моему верному, я вольную должен был бы дать, обьязан был дать, чтоб детки его успели вольными родиться, а теперь не получится сие, отложить придется в далекую неизвестность волю детей его. Если не навсегда...

Навсегда — это Аничка моя. Вот что теперь уж — точно навсегда...

А о невесте своей Полиночке, равно как и о свадьбе нашей, так я тогда и не вспомнил...

Вот такой клубок на меня обрушился, и я его распутать пытался. А о себе и не подумал. За что бумагу об арестовании на неопределенный срок мне показали, почему в квартиру мою офицерскую с обыском вломались, в чем обвинен я сейчас и какую же безвинность мне доказывать придется, где и кому?..

Не думал. Не потому, что такой уж хладнокровный, бесчувственный или там спокойный, а потому, что — русский. А каждый русский с рождения, от материнского молока понятие на всю свою жизнь получает, что вина не столько в поступках его содержится, сколько в столах канцелярий государства Российского. Там, там вина каждого подданного хранится за казенными печатями, почему никаких доказательств не требует и никаких оправданий не принимает...

— Чьи стихи это?

— Пушкина.

— Присовокупляю к «Делу».

— На каком основании?.. — вскочил я, помнится. — К какому такому делу? По какому такому праву?

— Сидите, сидите. Стихи-то не ваши, а Пушкина. Зачем же вскакивать, кричать?

— Но позвольте, однако же, сударь, это... это ни в какие ворота. Это — личные вещи.

— Не может быть в России ничего личного, коли вопрос государственности касается.

— При чем же здесь государственность, помилуйте?

— А это уж как вам доказать удастся.

— Мне?..

— Вам, господин Олексин, вам. Так что подумайте о сем. Досуг для осмысления сего вам будет предоставлен.

Еще чего-то поискали присные его, книги просмотрели, на пол каждый пролистанный томик бросая. Не откровения мудрецов их интересовали, а моя восторженная откровенность в заметках на полях. Но ничего не нашли ни на полях, ни меж страницами.

— Имеются ли еще какие-либо записи в квартире вашей, господин Олексин?

— В квартире моей нет более ни единой строчки.

— Слово в сем даете?

— Слово.

Не солгал и душою не покривил. В Антоновке «Записки» мои остались, сороковин кормилицы моей дожидаясь. Не из предчувствия какого я с собою тогда не взял их, а только чтобы не таскать понапрасну. При службе не распишешься, рота и время отнимает, и силы, и заботы. А в Антоновке...

— Извольте пройти с нами.

Я встал, начал шинель надевать.

— Что же не спрашиваете, что с собою дозволяется взять туда, куда повезем вас?

— Что же дозволяется?

Улыбнулся голубой полковник. Впервые зло тонкие губы поперек лица растянул:

— Ничего.

Свеча вторая

Ожидал, что в Санкт-Петербург меня повезут. В казенную столицу, столь красиво и своевременно из-под багров выстроенную. Ан нет, по Московской дороге погнали.

Во вторую, хоть и первопрестольную столицу нашу. На курьерской тройке с двумя верховыми жандармами и молоденьким офицером у меня под боком.

Он растерянным выглядел, испуганным даже. И смотрел на меня в упор, не отрываясь.

— В Москву торопимся?

— Мне молчать приказано. Молчать. И вас молчать попрошу. Лучше про себя думайте.

Вот я про себя и думал.

Боимся мы государственных арестантов. А вот кандалников не только что не боимся, но и жалеем их. Дозволено нам убийцев, разбойников да татей ночных жалеть. Даже подкармливать их дозволено: «несчастненькие вы наши...» Но коли государственным ты преступником властями объявлен, то уж никакой не несчастненький, а — враг. Без следствия и суда всего народа враг. Может, потому, что жандармским порядком образованных людей гонят, а конвойным — убийц дремучих?.. Грамоту наш народ любит, а образованных — сторонится. Чужие они в отечестве своем, а чужих на Руси боятся и ненавидят. Станный мы народ. Прилагательный к государственным повелениям.

...А в самом деле, задумайтесь, дети мои. Все народы, все, без исключения, именем существительным в русском языке называются. Француз, молдаванин, немец, татарин, турок, калмык, индеец, швед, англичанин — все, все решительно требуют вопроса — «кто?». Кто перед тобою. Но сами себя мы — единственные во всем мире! — только именем прилагательным называем: «русский». То есть не кто ты есть как личность, а к кому ты прилагаешься, кому принадлежишь как невольник. Как раб...

К государству ты прилагаешься, ему ты принадлежишь. Его ты собственность полная от самого рождения своего вплоть до самой кончины своей. И не оно для тебя существует, а ты — для него и ради него. Ради величия его, мощи, славы и самоутверждения — во имя самоутверждения...

Гнали, лошадей не щадя. Запаленных меняли на станциях, не давая из тюремной кареты выходить. И снова гнали, гнали. И спали в скачке этой, и перекусывали на скаку. Пади, Русь, государственного преступника везут...

Привезли в густых сумерках. Куда — не разобрал. Мрачные, безмолвные, узколобые какие-то строения. Каменные крутые лестницы с истертыми ступенями — вниз, вниз. Молча: один солдат с фонарем впереди, другой — позади. Глухой коридор, двери, железом окованные. Лязг ключей, скрежет петель и...

И дверь заскрежетала уже за моей спиной.

Каземат.

Дрожащий огонек свечи, стен не видно. Чуть освещено каменное ложе с тощей подстилкой. И — тишина. Полная тишина: звуков нет, а в уши — давит. На все барабанные перепонки давит гигантским давящим прессом...

Сел я на твердь, что отныне постелью мне служить должна была неизвестно сколько времени. Может, и навсегда. Долго сидел неподвижно: давило меня, давило со всех сторон. Камнем, тишиной и неизвестностью...

И впервые за все прошедшее время подумал: за что? В чем вина моя, так мне и не объявленная? Граф, что ли, пожалел, что промахнулся тогда?.. Ну, вряд ли. Это бы он раньше проделал, коли бы возжелал. Да и по характеру — не его сущность поклепами заниматься. Нет, не он. Не по его навету я в этот камень одет, не по его. Тогда что же? Или кто же?.. Ну должна же хоть какая-то вина существовать? Не для меня, разумеется, — для записи в казенной бумаге.

Долго сидел, но ничего в голову не приходило. А озноб — мерзкий, сырой какой-то — пришел. Однако знал я к тому времени, что не в шинели русский солдат греется, а — под шинелью. В Корпусе нас этому, правда, не учили,

но бывалые старослужащие моей роты как-то пехотную сию премудрость мне поведали. Вспомнил я с благодарностью о добрых советах их, встал, снял шинель, завернулся в нее, завалился на каменное ложе и...

И уснул.

Сколько спал — не знаю. В каземате у времени всего два цвета — мрак серый да мрак черный. И как сереть начало, так и сон мой на убыль пошел. Я глаза открыл, увидел тусклое оконце под потолком, свечу догоревшую и сел. Что-то вспомнилось, но неясно, неотчетливо, туманно. Я хотел туман этот рассеять, да не успел: петли дверные заскрежетали.

И вошла громоздкая темная — темнее серого мрака каземата моего — фигура с фонарем. Прошла к столику подле моего ложа, поставила котелок с деревянной обгрызенной ложкой, достала новую свечу, вздула ее и заменила ею сгоревшую.

— Час который? — спросил я у фигуры этой.

Не отозвалась она. Повернулась и вышла. И снова железо ржаво заскрежетало.

Я в котелок заглянул: варево какое-то неопределенное. Есть мне, признаться, хотелось, брезгливостью особой я не отличался, но за ложку хвататься обождал, поскольку ощутил не столько голод, сколько холод. И, надев шинель, начал быстрыми шагами каземат измерять. Девять шагов от окна до двери, девять — от двери до окна. С добрых полверсты прошагал, пока щедрой испариной не покрылся. Тогда сел к столику и съел все неведомое варево до дна, ложкой старательно котелок выскребав.

«Ни хлеба, ни воды, — подумал, помнится. — Хуже, чем на гауптвахте...»

Но поспешил с заключением, потому как вновь заскрежетало, и вторая фигура объявилась. Помельче первой, но столь же безгласая — проверил. Кружку кипятку принесла и добрый кусок хлеба. И удалилась, столь же молчаливо.

Лучше, чем на гауптвахте, как выяснилось. Если вообще наречие сие к каземату подходило.

Попил я кипяточку с хлебушком, не повеселел, естественно, но мысли мои, как ни странно, слегка прояснились. Немного совсем, но достаточно, чтобы вспомнить, как что-то встревожило меня на грани пробуждения. Но что же именно, что?..

К тому времени серость уже весь мой каземат залила, разгоняя черноту по углам, и я впервые мог обозреть границы узилища моего, а может, и всей оставшейся жизни. Две глухих стены, осклизлых от медленно, с улиточной скоростью ползущей... слякоти, что ли. Да, мерзкой липкой слякоти: может, точнее — слизи, но и слякоти в то же время. На ощупь — мертвой и живой одновременно, чтоб понятны вам стали оба первых моих впечатления. Что еще? Пол и потолок. Оба — каменные, только верх гроба этого вроде как мхом порос, а низ — та же мерзостная грязь.

Оглянулся: позади — окованная железом дубовая глухая дверь. Впереди — высоко вверху — забранное толстой решеткой оконце, в которое и без решетки не вдруг-то пролезешь. Уж что-что, а тюрьмы строить мы выучились. Не то что турки в Бессарабии понастроили...

Бессарабия!..

И я на каменное ложе свое опустился. Без сил. Точно в миг тот выпустили их из меня.

Так вот почему я здесь сижу сейчас. Потому что решетки с буйным озорством гнул в сухом и светлом каземате Бендеровской крепости, пока комендант ее пунш свирепый варил, а Пушкин ему зубы заговаривал. И Урсул бежал тогда, ловко в реку выбросившись, а Раевского взяли, а ниточка от него и ко мне привела. Ко мне, пособнику в дерзком побеге государственного преступника.

...И вспомнил старую, до желтизны седую цыганку. Глаза ее — пронзительные, без дна — вспомнил. И голос мамы Каруцы, монотонно слова ее переводившей:

— Раны тяжкие она видит, но не они тебя в могилу сведут.
Казенный дом с железными решетками видит...
Права оказалась гадалка...

Долго я сидел, бессильно плечи опустив. Бессильно потому, что все силы мои на борьбу с отчаянием уходили. Все, без остатка. Не щадил я их тогда, а потому — победил.

Победил! Сам себя победил. И в голос, громко и четко, как на плацу, отдал команду:

— Не раскисать. «Отче наш» — каждое утро. Бриться каждое утро. Есть все, что ни принесут. И ежедневно — не менее трех верст вышагивать. Понял, дворянский сын Александр Олексин? Коли все понял, исполнять сие приказываю неукоснительно!

И громко сам же себе ответил:

— Будет исполнено, ваше благородие...

Свеча третья

Менялись свечи каждую побудку. Менялись фигуры, голоса не имеющие. Порой и еда менялась даже — по воскресеньям, что ли? Да, менялось что-то все же, а значит, и жизнь где-то продолжалась, потому что в тишайших тюрьмах наших только по этим признакам и догадываешься, что она — существует.

Лишь я себе меняться не разрешал, каждое утро непреклонные команды самому себе отдавая. Правда, уже не в голос, а про себя. Но исполнял я команды эти, как и положено русскому офицеру команды исполнять.

Не раскисал. Молился. Истово, на коленях, как положено узнику. Старательно брился каждое утро, пальцами усы и баки свои оберегая, чтобы внешний вид сохранить вопреки всем казематам. Ел все, что приносили, котелок выскребая до доньшка. И каждый день ровно три версты отмеривал, в полный голос походные марши распевая. Девять шагов — в одну сторону, девять — в другую, пары шагов отсчитывая.

И — дошагался.

В неурочный час двери тогда заскрежетали. За ними в свете двух фонарей — офицер и аж трое солдат с примкнутыми штыками.

— Следуйте за мной.

— Позвольте сначала в порядок себя привести.

— Если угодно.

Сумку с кое-какими принадлежностями у меня не отбирали. Я почистил щеткой мундир, вытер тряпицей ботфорты, пригладил волосы. Руки, признаться, у меня подрагивали, потому что я решил тогда, что ведут меня напрямиком на казнь. Зачитают приговор, неизвестно кем и за что сочиненный, и — либо петля на шею, либо — залп в грудь. И мечтать в казематах наших, ни в каких бумагах не обозначенных, об одном лишь можно: чтоб — залп в грудь.

— Я готов.

Долго вели. Сначала — по лестницам, потом — по сводчатым коридорам, а затем и по светлому, с до блеска навоощенным паркетом, ступив на который я наконец-то сообразил, что казнить меня, кажется, пока не собираются.

Остановились у дубовой двустворчатой двери. Солдаты по обе ее стороны замерли, а офицер дубовые створки настежь распахнул. Как перед генералом.

— Прошу.

И я шагнул в просторный светлый кабинет. Прямо напротив двери оказался огромный начальственный стол, за которым сидел тот самый полковник в голубом мундире. Любитель рожечной музыки. А по краям еще двое каких-то мундирных субъектов, на которых я тогда и внимания не обратил. Звякнул шпорами:

— Поручик Олексин! Честь имею явиться!

— Садитесь, Олексин, — буднично пригласил полковник.

Я прошагал к стулу, стоявшему напротив начальственного стола, и сел.

— Похудели, однако, — вздохнул полковник, поизучав меня довольно продолжительно.

— Исключительно вследствие ежеутреннего бритья, господин полковник.

— Молодцом, молодцом. Лышу себя надеждой, что и ответы ваши будут столь же бодрый. Начнем с простого. Когда вы честь имели с коллежским секретарем Александром Пушкиным познакомиться?

«Пушкин!.. — звоном колокольным в голове прозвучало. — Значит, и его хотят в урсуловский тот побег... Ну уж нет...»

Это во мгновение все пролетело. С такой быстротой, что никто и заминки никакой не приметил.

— С каким коллежским секретарем?

— С Пушкиным, разумеется. С известным ныне поэтом.

— Ах, с Александром Сергеевичем! — улыбаюсь как бы с облегчением. — Так со дня рождения своего.

Нахмурился полковник:

— Как понимать вас прикажете?

— Так ведь земляки мы с Александром Сергеевичем, господин полковник.

Отвечаю, что называется, глазом синим не моргнув. А сердце колотится — аж ребра стучат. «Злить, — думаю, — злить его надо, чтоб он от злости все вопросы про Бессарабию позабыл...» И потому улыбаюсь с некоторой нагловатостью даже.

— От молодых ногтей, следовательно?

— В зыбке одной качались!

Потемнел полковник. Потом — покраснел. Но заметил скучно (умел собою владеть, подлец):

— Позвольте напомнить, что вы на допросе, сударь. Но отнюдь не в дамском салоне.

— Безусловно, господин полковник. В дамском салоне я подобной искренности себе никогда бы не позволил.

— Дерзости, вы хотели сказать?

— А касательно дерзости, так она там к месту. Офицер без дерзости что дама без шарма.

Наступило молчание: видно, голубой полковник в руки старался себя взять. А у меня сердце вдруг колотиться перестало. И не колокольный звон тревожный, а полковая труба во мне пропела. Кураж я свой поймал.

Заседатели так заседателями и сидят, как и положено при истуканьей их должности. А полковник, порывшись в бумагах, извлекает пушкинскую рукопись и показывает ее мне через стол.

— Узнаете?

— На таком расстоянии я только стрелять умею. А читать — прощения прошу.

— Так извольте встать и посмотреть!

«Ага, — думаю, — разозлился. Так разозлился, что и про Бессарабию забыл...»

Встал, вид сделал, что изо всех сил всматриваюсь. Не только наклонился — прищурился даже.

— Вроде стихи.

— Чьи стихи?

— Не имею понятия. Не подписано, чьи.

— Руку не узнаете?

Что тогда во мне взыграть могло, кроме куража? А посему заулыбался я радостно да и пошел ва-банк:

— Неужто ваши, господин полковник?!

Взревел он, наконец:

— Пушкина!.. Пушкина стихи возмутительные! К противудержавному восстанию зовущие! Откуда? Откуда они у вас? Признавайтесь, он подарил? Он?.. Вы же в зыбке одной качались!

— В зыбке иными чернилами писать принято. Вот теми стихами мы с ним обменивались щедро, не скрою.

— Остроумно, — сдержался полковник, хотя и вновь в краску его ударило. — Только откуда они у вас в виде, так сказать, первоизданном, хотя и без подписи? Откуда, Олексин? Подумайте о себе сейчас. Вам каторга грозит, если не Петропавловская крепость навечно. Так что хватит шутить. Отшутились.

Признаться, задумался я вполне серьезно, но как бы и

раздвоенно в то же самое время. Для них — о своей судьбе, которой пригрозили не на шутку, а для себя — о Пушкине. И об Александре Сергеевиче — с куда большей тревогой, чем о себе самом.

Какого ответа он от меня ждет в обмен на Алексеевский равелин? «Не могу знать» пройти не может, это ясно. На дороге нашел? Ни за что не поверят и гноить в Петропавловке будут, пока до корней не сгноят или пока я малодушно не сознаюсь. В чем же я должен сознаться? Да только лишь в правде святой. В истине, что Александр Сергеевич Пушкин подарил мне эти стихи на добрую память. Лично, из рук в руки передав. В полном списке, с теми строфами, которые цензура печатать не разрешила. Сорок четыре строки, которые мне Полюшка читала в страстный наш вечерок... И, умница, предупредила меня, дурака, относительно путов и лилипутов... Вот они, передо мной сейчас. Путы и их лилипуты. Или наоборот. Вот и надо, чтоб все — наоборот. Чтоб не вышло у них Гулливера в липкую свою паутину запеленать. Спасибо, Полюшка, спасибо, невеста моя, очень вовремя ты главное подсказала. А что не влюблен в тебя, прости великодушно. Может, еще и влюблюсь, в казематах вдосталь насидевшись.

...Может, так, может, и не совсем так бежали тогда думы мои. Дословно за давностью дней их не запишешь. Но одно могу с полной убежденностью и верой и сегодня сказать, дети мои: никогда, ни под каким видом не свершайте того, чего враг ваш от вас упрямо добивается. Ну, а друг в каземат вас ни с того ни с сего не упрячет, если, разумеется, он — Друг...

«Надо, чтоб все — наоборот...»

Вздыхнул я горестно, до этого решения додумавшись. Головой сокрушенно помотал, чуть ли не всхлипнул даже.

— Виноват, господин полковник.

— Ну, ну? — оживился голубенький мундир. — Припомнили, когда подарок сей получили?

— Все припомнил, — говорю. — Трактир тот гнусный, как в яви, вижу. Вот как вас. Истинный Бог. Водка преотвратнейшая, а карты перли, как на нерест.

— Кому?

По-моему, запутался полковник в моем чистосердечии. Иначе не спросил бы со столь изящным обалдением.

— Как так — кому? Мне, разумеется. Кураж пьяных любит и всегда сидит на левом плече.

— А Пушкин?

— Что — Пушкин?

Смотрим друг на друга с искренним удивлением. Полковник искренне ничегошеньки не понимает, а я — искренне все. Банкую по-крупному, и кураж — на моем левом плече.

— Пушкин играл с вами?

— Когда?

— Ну, в трактире том, в трактире!

— Нет. Почему Пушкин? Поручик какой-то понтировал с рябым лицом. Или в глазах у меня тогда рябило?..

Замолчал полковник. Платок достал, отер побагровевшее лицо и глянул на меня измученными, отчаянно усталыми глазами. Сказал неожиданно спокойным, почти отеческим тоном:

— Повеселились предостаточно, Александр. А теперь отца пожалей, бригадира Илью Ивановича, он еще от удара не оправился. Матушку свою Наталью Филипповну тоже пожалей. Невесту свою вспомни, о свадьбе грядущей подумай. Вполне так может статься, что не выйдешь ты отсюда. Вполне.

Поверите ли, жалко мне его стало. Семья, дети, карьера нелегкая. Не всякий дворянин в эту голубую службу шел, потому что презренной она считалась. Государству, может, и нужная, а честью дворянской отвергаемая решительно, язвительно, а подчас и грубо. Руки мы, офицеры, им, голубым мундирам, никогда не подавали. А коли подал бы кто, то тем же днем и рапорт бы своему командиру подал. С просьбой о переводе в самый что ни на есть глухоманный полк. Честь закон подпирает, но никогда не наоборот.

— Прощения прошу, господин полковник, — искренне сказал, без всякой задней мысли. — Шляя под хвост попала.

— Пушкин подарил стихи об Андрее Шенье?

— Пушкин много стихов мне дарил — вон они, в кожаной папке у вас под рукой. Там для потомства пушкинские подарки хранил. А эти стихи — отдельно. Сами видели во время обыска. Потому отдельно, что попали они ко мне и впрямь по пьяному счастью.

Боже ж ты мой, как же мне хотелось лоб ладонью заслонить! Да хоть бы почесать даже... Но удержался я.

— Опять начинаете? — устало вздохнул полковник. — Снова «здорово», как говорится. Только несчастье ваше вполне даже трезвое сейчас. Уж трезвее и не бывает.

— Да Богом клянусь, пьян был в лоскуты! — перекрестился я, поскольку истинную правду говорил в тот момент. — Лакея своего, Савку, чудом тогда не проиграл, на кон его поставив!

Что-то в голосе моем и впрямь святою искренностью прозвенело, и полковник звон этот воспринял своим чутким жандармским ухом.

— Значит, по-крупному игра шла?

— Такой, знаете ли, кураж, что только пьянством моим окаянным объяснить можно.

— И что же, банчок сорвали?

— Полностью, господин полковник. Настолько полностью, что у поручика того уж и денег не осталось. Вот он стихами со мной и рассчитался тогда. Этими самыми, которые не в папке. Про Андрея. И я, каюсь, принял список этот даже с удовольствием.

Молчит мой полковник.

— Да кабы знал я, что стихи к печати не допущены, разве ж я стал бы их брать? Да я свою роту первым в полку поднял, чтоб Государя Императора защитить!

— Вот это-то нас и удивило...

Искренне признался, значит, в полку уже розыск провели. И несколько озадачились, поскольку рота моя и вправду лучшей считалась, а я мятежом на Сенатской площади громко тогда возмущался. От всей души, что называется.

...Это сейчас, сейчас они — герои наши легендарные, но в то время... В то время ни армия, ни простой народ ничего о них не знали. Ни целей их, ни дальнейших планов, ни понимания, ради чего все это сотворено. Замкнуто они держались, на все пуговицы застегнувшись, и посторонних к себе и на версту не подпускали. А любой гарнизонный офицеришка — он ведь тоже человек. Не пешка он в гвардейской высокой игре, он знать право имеет, зачем все делается да за ради чего.

Вот когда узнал, ради чего, тогда и отношение к декабристам изменилось. Тогда героев в них увидели, только тогда, не раньше. И я — не исключение...

— А с кем же все-таки играли вы в тот свой куражный день? И на какой станции?

— На какой? Да на третьей... нет, на четвертой от Новгорода на Санкт-Петербург. А может, на Псков... Памятью помрачился, господин полковник. Одиннадцать дней пил беспробудно.

— Помрачились памятью? С кем играли, где играли, когда играли — запомятовали?

— Совершенно верно, господин полковник. Запомятовал до полного провального тумана.

— Стало быть, вспомнить следует. — Полковник побарабанил пальцами по столу, глянул свирепо. — Вот и следуйте вспоминать!

Свеча четвертая

И последовал я вспоминать собственную провальную память. Вниз, в казематные погреба, где даже трензеля невозможно было хранить, а людей — возможно, можно и

нужно, как выяснилось. Чтобы вспомнили либо истину, либо — угодное. Об истине я и не помышлял — в цене мы с ней расходились, — а угодное сыскным господам доброго размышления требовало.

Судя по задушевной беседе с полковником, бессарабские проказы мои никого не интересовали, хотя я не понимал тогда, почему не интересовали, и опасался подвоха. Но по всему выходило, что их сильно заинтриговал полный список «Андрея Шенье». Может быть, не столько сам список, сколько путь, каким он в моих руках оказался. Самый короткий, понятный, а потому и удобный для них путь (от Александра Сергеевича в мои руки) я сразу же отверг решительно и бесповоротно. А кое-как, почти на бегу сочиненный мною сложный, неудобный и скорее подозрительный, чем ясный, путь отставив с пеной у рта, себя не щадя, несмотря на всю его дырявость, абсурдность и явное несовершенство. И я вовремя, исключительно вовремя вернул, как чудом не проиграл собственного молочного брата, очень вовремя и — к месту: таковое за все рамки выходило, а потому и запоминалось, и как мой Савка, так и смотритель на этом крест поцелуют со всей истовостью...

Тут меня подтолкнули в каземат, я глотнул спертого, гнилого воздуха, захлебнувшись им, как жижей болотной. Шатнулся то ли от контраста, то ли от омерзения, влип рукою в склизь на стене и понял вдруг, что я для них — нуль. Никто. Пустота. Ямка на дороге, чуть качнувшая государственной экипаж. И упрятать меня хоть в московские подземелья, хоть в Петропавловские рavelины для них никакого труда не составляет, как бы мой родной бригадир ни метался при этом по присутствиям, кабинетам да салонам: человека Россия видеть так и не научилась. Она с рождения близорука и видит только того, кто у трона суетится. А кто там поодаль шпагой отмахивается, честь ее защищая, или хлебушек ей к столу на собственном горбу тащит — тот всегда как бы в некоем казенном облаке пребывает, фигуры собственной не имея. Размыты очертания его для

России, до той поры размыты, пока он, пупок собственный едва не развязав, каким-либо знаком себя не обозначит. Звездой, разумеется, всего лучше. Заметнее. Вот потому-то все к орденам, чинам да званиям так у нас и рвутся. Бешено рвутся, себя не щадя и других не жалея, чтоб только бы из того казенного тумана вырваться. Замеченным стать. Фигурою.

Как-то, помнится, умный немец сказал мне в... Ляйпциге, что ли? Или в Баден-Бадене...

— У вас, в России, талантливых да отчаянных куда как больше, чем во всей Европе.

Конечно, больше. Иначе из казенной туманности не вырвешься. Контраст меж туманной массою и освещенными фигурами у нас ослепительно велик. До рези в глазах...

Дней пять, что ли, я над этим парадоксом размышлял. Размышлял, неукоснительно и непременно исполняя отданный самому себе приказ:

— Не раскисать, Олексин.

Конечно, размышления мои аристократии не касались. Аристократия — каста замкнутая, родовыми узами перебитая, общим детством сплоченная в особое стадо, а потому и ощущающая себя иной породой. Но я не из их числа. Я из тех, кто мечом да шпагой их житейское спокойствие обеспечивал. Предки мои Царя-батюшку на Московском Земском Соборе среди своих знакомцев да родичей не выбирали. Недосуг им было: они границы Руси берегли, пока боярство прикидывало, кого сподручнее на трон посадить...

И так всегда будет. Всегда. Во веки веков. Страна без краю, народу не сосчитать, и столица никогда никакой усадьбы не увидит, не услышит и не поймет...

...Не следует из сих казематных размышлений моих вывод делать, будто взбунтовался я душою своею, сыны мои любезные. Нет. Всякая власть — от Бога, чтоб народ друг

дружке глотки не перерезал. И русская — тоже от Бога, и мятежничать да крамолу ковать супротив нее все едино что супротив премудрости Господней. Противузаконно сие и противуприродно. Но о странностях судьбы русского человека я тогда впервые задумался и к такому выводу пришел, что уж кому-кому, а нашему брату русаку милостей ждать от судьбы ли, от властей ли, от природы ли никак не приходится. Нам самим свою Жар-птицу ловить, коли есть хоть какая к тому способность. Кто за хвост ее ухватит, кто за горло возьмет, кто за когти уцепится, крови своей не щадя, кто хитрую ловушку для нее смастерит или сладкозвучным пением своим заморозит ее. Потому-то за-граница и удивляется, что талантами Русь столь небывало одарена...

А потом вновь заскрежетали двери, и конвой повел меня, раба Божьего, наверх по крутым лестницам. По наводшенному паркету в приторно-строгий кабинет.

— Так что же, Олексин, припомнили, на какой станции вы играли в штосс с поручиком конно-пионерского полка? И кто у кого выиграл полный список «Андрея Шенье», собственноручно записанный коллежским секретарем Пушкиным?

...Поручик конно-пионерского полка?.. Насколько мне помнилось, я утверждал, что был настолько пьян, что формы его не приметил, как, впрочем, и лица. Стало быть, станцию они вычислили, и смотритель моего партнера припомнил...

И — закашлялся. Не для оттяжки времени, а вполне натурально. Как я ни берегся, как версты свои ежедневные не отмерял, а сырость казематная, промозглая, скользкая какая-то сырость до меня все же добралась.

— Застудились?

— Немудрено сие... — прохрипел я сквозь кашель.

— Сами виноваты. Лакей ваш умнее оказался. Сразу

признался, что вы его на кон ставили. Некрасиво, молодой человек. Живого человека и — ва-банк. Некрасиво.

Вот тут-то и посетила меня благая мысль. Совладал я кое-как с кашлем и — со всей сердечной искренностью:

— Совершенная ваша правда, господин полковник. Мучительно стыжусь сего пьяного поступка. Мучительно стыжусь. А посему и рискую обратиться к вам с нижайшей просьбой: помочь мне снять с души сей тяжкий грех.

— Каким же-с образом?

— Я ведь не лишен еще ни сословных, ни имущественных прав?

— Пока не лишены. Пока!

— Понимаю: пока суд да дело. А посему прошу вас официально, как должностное лицо и как свидетеля одновременно, подтвердить мое твердое решение. Я дарую вольную слуге своему.

— Хорошо подумали? — нахмурился полковник. — Допустим, я решусь подтвердить ваше волеизъявление, а ваш батюшка возьмет да и опротестует сей документ?

— Я распоряжаюсь личной собственностью, господин полковник. Деревенька Антоновка дарована мне со всеми сорока шестью душами мужеского полу. Дарственная сия подписана моими родителями как прежними владельцами и утверждена властями.

— Юридически безупречно?

— Как де-юре, так и де-факто.

Полковник помолчал, прикидывая, как мне показалось тогда, выгодно ли сие решение мое для его дальнейшего следствия. А затем сказал одному из истуканов-заседателей записать то, что я им продиктую.

— Диктуйте без ошибок.

И я начал неторопливо диктовать, обдумывая каждое слово, ибо от правильности документа свобода человека зависела:

— «Я, потомственный дворянин Олексин Александр Ильич, владелец деревни Антоновки Псковской губернии

Островского уезда Опенковской волости, сим документом навечно освобождаю крестьянина указанной деревни Савву Игнагова от крепостного состояния и всех иных форм зависимости...»

...Ну, и так далее. Торжественно, с радостным подъемом духа диктовал, кажется улыбался даже. Не только потому, что исполнял тем свой долг как перед памятью покойной кормилицы моей Серафимы Кондратьевны, но и потому, что снимал с души своей грех, который ощущал как баный раскаленный камень, как терзания совести собственной. Дети мои, поверьте мне! Нет большего стыда и позора для чести собственной, чем унижение того, кто и правда-то не имеет ответить тебе хотя бы словом смачным, не говоря уж о пощечине, вполне тобою заслуженной. А потому счастлив я был, что успеваю, успеваю до решения суда, под который меня подвели, и совесть свою примирить, и честь спасти, и Савку наградить, как могу, за все то, что он для меня делал доброго. За каждое переданное мне румяное яблочко, привезенное им из моего же барского сада...

А еще потому радовался, что бессовестно время тянул, уведя допрос совсем уж в иную сторону...

Закончили. Утвердили. Свидетели расписались, и я вздохнул с огромным облегчением:

— От души благодарю вас, господа.

— Знаете, Олексин, почему я пошел на столь явное нарушение всяческих повелений, наставлений, разъяснений да и просто порядка проведения следствия? — спросил вдруг полковник. — В Санкт-Петербург мы с вами сегодня же помчимся на курьерских. Из первопрестольной в столицу империи Российской, где вам не удалось бы свершить столь благородного поступка, под следствием находясь. Но попали вы в некий как бы просвет юридической процедуры: московское следствие закончилось, а петербургское еще не началось.

...Петербург? Зачем же — в Петербург?.. Какое же следствие еще может быть, когда полковник получил подтверждение, что я спьяну выиграл пушкинский список у коннопионера?..

— Вещи ваши из каземата уже на выход доставили, — продолжает тем временем мой дознаватель, ставший сегодня неожиданно великодушным. — Сейчас пообедаем и — в дорогу. В дальний и, признаться, неведомый не только вам, но и мне тож, путь по юридическому бездорожью России...

Странно, но обедали мы с ним вдвоем. Мне, изголодавшемуся, обед тот лукулловым пиром показался, поэтому не до бесед мне было. А полковник мило, порою остроумно даже болтал, как водится, ни о чем. Как принято болтать на полуслужебных, полудружеских, но — официальных застольях: обо всем гуртом и ни о чем в частности.

И лишь под конец, за доброй рюмкой вина сказал вдруг вполне искренне:

— Знаешь, Олексин, почему я твою просьбу уважил? Дед мой — крепостной мужик. Спасибо, барин в нем талант углядел и отпустил его на полную волю, как ты своего лакея. Цветы дед такие выращивал, каких ни у кого в округе не было, а тут деревеньку за долги должны были в казну забрать, вот барин и поспешил на волюшку моего деда отпустить, чтобы он кому иному не достался. Россия — страна загадочная. В Англии — законы, в Германии — орднунг, во Франции — галльская дерзость, а у нас — барские капризы...

Свеча пятая

Мой дотошный следователь, как мне показалось, был весьма рад, что нас неожиданно востребовал Санкт-Петербург: уж очень много гордости и некой мечтательности, что

ли, звучало в его голосе, когда он поминал о самом способе нашего передвижения — «курьерский!..». Но помчались мы куда быстрее, чем мчатся курьеры, поскольку нас неожиданно решили доставить в столицу по фельдъегерской связи. С ее государственной стремительностью, готовыми поставками и трубачом впереди, оповещавшим об особой срочности и важности нашего путешествия в Северную Пальмиру.

...Впрочем, скорее — бешеной скачки, при которой мы не только дремали в карете, но и перекусывали в ней: какое уж тут — «в пути шествие»! Пишу об этом потому лишь, что вдруг припомнился мне спор меж Пушкиным и Раевским как раз по поводу этого странного русского слова, никогда не воспринимаемого нами буквально. У нас можно передвигаться и вскачь на лихой тройке, и упорным солдатским маршем, и даже — по морю на корабле, и все это будет называться «путешествием». Чуден русский язык, и я не завидую иностранцам, пытающимся постичь его с позиций усредненной европейской логики...

Да, мы неслись вскачь, и это обстоятельство, как ни странно, весьма озадачило моего голубого полковника. Он внезапно утратил свое добродушие, ясно проявившееся во время нашего последнего свидания в Москве и — особенно — во время почти дружеского обеда *tête-à-tête*. Что-то его озадачило, и он стал вдруг не просто молчаливым, но скорее — угрюмо озабоченным. И я ломал голову, пытаюсь понять причину этой внезапной перемены.

Ему удалось удостовериться, что я и впрямь выиграл полный список «Андрея Шенье» в штосс: Савка и зритель оказались тому свидетелями и клятвенно подтвердили мои слова. Истина — для него, разумеется, — была установлена, что и привело полковника в доброе расположение, но фельдъегерская стремительность нашей переброски в Санкт-Петербург явно насторожила его и, как мне представилось вдруг, поколебала его приятную уверенность в ре-

зультатах собственного расследования. Я не понимал, что же именно послужило тому причиной, но в окончательном выводе своем не сомневался, ибо угрюмость жандармского дознавателя весьма красноречиво говорила сама за себя. И, признаться, встревожился этим обстоятельством.

Чуть ли не до Твери — а уж до Клина во всяком случае — я раскладывал и перекладывал пасьянсы из собственных соображений в собственной голове. Они никак не желали складываться, и я, не расстраиваясь, тут же перетасовывал колоду и раскладывал новый пасьянс. И в конце концов добился...

Нет, не добился — додумался до единственного расклада, при котором каждая карта легла на свое место, не мешая, а, наоборот, способствуя определению точных мест карт всей колоды, стасованной всею судьбой моею.

Я пришел к выводу, что санкт-петербургская жандармерия провела свое следствие без моего участия, для чего меня и задержали в Москве, подальше от столицы. И весьма возможно, что им удалось добыть доказательства моей лжи, уличив не только меня, дворянина и офицера, в заведомой неправде, но и поставив под сомнение profession de foi самого полковника. И для нас обоих это могло означать одно: мы оба впадали в немилость с самыми непредсказуемыми последствиями.

Однако кто мог разрушить мою легенду, подтвержденную двумя свидетелями и поддержанную следователем? Только тот, кто подарил мне «Андрея Шенье», или тот, кому я об этом сказал. Александр Сергеевич Пушкин и моя нареченная невеста Полюночка. Даже поручик конно-пионерского полка не знал всей правды и мог лишь опровергнуть мое утверждение, что я выиграл у него рукопись, а не он ее — у меня с последующим проигрышем. Тут могла начаться такая путаница, в которой мне забаррикадировать-

ся беспамятством, сославшись на недельное беспорядное пьянство, не составляло никакого труда. Нет, нет, показания коннопионера никак не требовали фельдъегерской поспешности в доставке меня пред грозные очи грозного жандармского начальства. Поводом для этого могли служить только признания либо моего дорогого друга, либо дорогой — да, да, вновь и дорогой, и бесценной!.. посидите в гнилом каземате: в России именно там познаются истинные ценности! — любезной невесты моей.

Не из-за своей судьбы я страдал и терзался в том стремительном броске из Москвы в Санкт-Петербург. Нет, не за будущее болела душа моя, а за прошлое. За треснувшую дружбу или рухнувшую любовь.

Потому-то и молчали мы с полковником, забившись в противоположные углы кареты.

Въехали мы в Санкт-Петербург в сумерки. Впрочем, там всегда для меня сумерки, даже в белые ночи... Но это — так, к слову.

Въехали в сумерки, завернули куда-то, чтобы высадить полковника — признаться, расстались мы молча, сухо и как-то весьма напряженно, что ли, — и далее меня помчали одного. Не считая, разумеется, трех жандармов, сопровождавших нас всю дорогу. Окна кареты были зашторены снаружи — все же арестантской она была, — я ничего не видел, а потому и ведать не ведал, куда меня везут. Да и не желал задумываться об этом, потому что путевые размышления мои, а главное, горькие выводы, к которым пришел я, породили полнейшее безразличие к собственной участи.

А потому даже не удивился, когда карета вдруг остановилась. Распахнулась дверца с наружным засовом, и я ступил на крупный обледенелый булыжник внутреннего дворика Петропавловской крепости.

Меня встречали. Старший из жандармов подал крепостному офицеру пакет, получил расписку на конверте и тут же уехал со товарищи в опустевшей карете. Офицер неторопли-

во прочитал присланную сопроводительную бумагу при свете факела, свернул ее в трубку и равнодушно глянул на меня:

— Бывший поручик Псковского...

— Почему «бывший»? — взъерепенился я. — Офицерский чин жалован мне Государем, а посему только им и может быть отозван.

— Пардон, оговорился, — устало вздохнул офицер. — Декабристы голову заморочили. Судя по сопроводительной бумаге, вы — дворянин Олексин Александр Ильич?

Чина моего он решил все же на всякий случай вслух не произносить. Но я уморился и от скачки, и от горестных размышлений, а потому просто подтвердил, что я — это я.

— Следуйте за мной.

Следую. Впереди — солдат с фонарем, позади — солдат с ружьем, посреди — офицер и я. Но не рядом, а я — следом за ним. Крепость есть крепость, порядок есть порядок, и закон есть закон.

Ожидал опять крутых лестниц с истертыми ступенями — вниз, а ничего подобного. Длинный коридор, скудно освещенный тусклыми фонарями со слюдяными стеклами и гулками каменными плитами на полу. Массивные двери с закрытыми на задвижки форточками и — тишина. Только грохот солдатских сапог. Когда же вниз поведут? — думаю.

Никакого низа. Остановились перед дверью. Точно такой же, как остальные. Глухой, окованной и — с закрытым на засов окошком посередине. Чтоб заглядывать снаружи, что ли. Или — еду давать.

Офицер своим ключом разомкнул замок. Ключ — крепостной, в карман не спрячешь: он его от пояса отцепил. Солдат открыл дверь — почти бесшумно, петли здесь то ли уже разболтались от частого употребления, то ли смазывали их.

— Свечу зажги.

Солдат с факелом прошел в распахнутую темноту. Мы молча ждали, когда он вернется. Вернулся скоро, и за спиной его я увидел затеплившуюся свечу. Свою очередную.

— Прошу, — сказал офицер.

Я шагнул за порог, и дверь тут же закрылась за мною.

Свеча шестая

Все здесь было создано из камня, огорожено камнем и одето им. Но сырость была иной, менее липкой, что ли. И угрюмость после подвального узилища моего в первопрестольной не давила на меня этажами да перекрытиями. И даже тишина — тоже омертвелая, тоже гробовая — не с такой беспощадной силой сжимала душу мою, как было то в московском каземате. Да и от стены с дверью до стены с зарешеченным окном здесь оказалось не девять, а все тринадцать шагов, и я — поверите ли? — повеселел. Ей-Богу, повеселел, хотя, признаюсь, пишу сейчас не то слово. Смысл ощущения, мною восчувствованного в каземате Петропавловской крепости на первом шагу пребывания в нем, словом сим просто обозначаю. Как некое противопоставление каземату московскому всего лишь. Будто из подземелий разбойного приказа перевезли меня в суровый крепостной, но — более или менее — современный, что ли, замок. Равнодушный ко всему живому настолько, что даже склизкой плесени на стенах не было. Только сырость, холод да безмолвие.

В бешеной скачке нашей меж двумя столицами надремался я вдосталь, и спать мне не хотелось. Свеча была потолще той, что столько недель светила мне в средневековом подземелье. И хоть свет ее был жалок, я осторожно, чтоб, Боже упаси, не погас огонек, взял ее и оглядел новое свое жилище. Прошел вдоль стен, осветил малое оконце, забранное крепкой — не согнешь, Сашка, не турецкое изделие! — решеткой. Ложе осмотрел, выяснил, что не каменное это возвышение, а — узкая железная койка с приплюснутым сенником, подушкой размером в лепешку и грубым солдатским одеялом. Обнаружил на столике глиняную миску, деревянную ложку да оловянную кружку.

А под столешницей оказалась полочка, на которой что-то лежало. Я присел, посветил и вытащил толстую тяжелую книгу.

Книгу...

Это была Библия. Рыхлая, зачитанная предыдущими постояльцами, изрядно потрепанная, но — целая. И я нежно погладил ее, странное тепло вдруг ощутив в груди.

Матушка в детстве читала мне Великую Книгу сию по часу в день. А я в окошко глядел с нетерпением до зуда, вполуха слушая непонятные имена. Но сам никогда и не раскрывал ее, да никто особо и не заставлял меня это делать. Новый Завет и Псалтирь — да, читал, молитвы учил, в Корпусе даже экзамены сдавал. Но Библия... О ней ведь больше слышат, чем читают ее. Да и при желтой казематной свече не вдруг-то вчитаешься в нее, она света требует. Пробовал.

Закрыв Библию, руку на нее положил и сказал вслух, мертвую тишину нарушив:

— Не раскисать. И исполнять приказ, Олексин. Неукоснительно исполнять.

Лег, укрылся одеялом и шинелью, приказал себе спать и... уснул.

Сколько спал, не знаю: брежет свой я удачливому коннопионеру проиграл, так что никто мне побудки не прозвонил. Но проснулся рано: чуть посерело оконце. Отшагал версты полторы — в дверь стукнули. Глянул — форточка в ней открылась, и прокуренный солдатский голос произнес:

— Миску да кружку. Хлеб — на весь день.

Получил полную миску щей, кипяток и два куса ржаного. По полуфунту каждый. В северной столице кормили получше. Не в пример Москве. Дважды в день открывалась эта дверная форточка, как я потом выяснил. Дважды в день я щи свои получал и кипяток, а по утрам — два фунта хлебушка.

И более никто меня не тревожил. Никто не мешал Библию читать. Никто, кроме крыс, но с ними быстро договариваешься, коли хотя бы одну пришибить удастся. Мне это дважды удалось, и я воцарился в каземате. Крысы побаиваться стали и весьма осторожничать. Я их в одном и том же углу начал подкармливать, а из всех остальных — гонять беспощадно. Твари быстро привыкли к моему порядку, постигли его и читать не мешали.

Признаться, долго не понимал я, что Книга сия есть из всех Величайшая. Сперва читал, как привык читать, за событиями следуя. И ничего не понял. И события в ней повторяются, и возникают вдруг, как бы вообще ниоткуда. Потому я ничего не понимал, что достаточно избалован был людскими книгами, людским же разумением и изложенными: по логике человека. А когда по три, по четыре раза главы стал перечитывать — да что там главы: стихи отдельные! — уразумел Божескую логику. Иные у нее пути, не вам известное она излагает, а — вам неизвестное. И это, человеку неизвестное, постичь можно только двумя способами — либо верой нерассуждающей, либо — просветлением. К вере я был не очень приспособлен, потому что с детства учили меня неприменным образом доказательств искать и разъяснений требовать, но, когда заставил себя думать, соображать, что же под каждой строчкой кроется, тогда понемногу, по шажочку начал понимать не что Господь рассказывает нам, а от чего он нас предостерегает.

...Нет, не ждите от меня откровений, не постиг я глубин и не воспарил в выси горние. Я — земной человек, не очень глупый, но и вовсе не прозорливый. Многое, что уразумел, так во мне и останется навсегда, потому что не в силах я Божественное Слово на язык человеческий перевести. Не дан мне талант сей, не призван я. Но кое в чем все же разобрался, и долг ощущаю вам, сыны мои, свое толкование поведать.

Главное в том, что законов человеческих в Библии не со-

держится. Какой придет Государь или Правитель, какие для себя и народа своего законы установит и повеления отдаст — Библию это не интересуется. Она общечеловеческие законы излагает. Для всех народов и на все времена.

Основной Закон существования племени человеческого — вечная война Добра со Злом. Природы он не касается, нет в природе ни Добра, ни Зла, нет и никакой борьбы между ними.

Но в племени человеческом — есть. И как только вышел человек из природы в самостоятельную жизнь (Библейский Эдем и есть Природа, где пища без труда и особых хлопот достается — только руку протяни), так и стал сражаться за Добро против Зла. Потому что и то и другое — с ним, вокруг и внутри его. В обществе каждом, народе каждом и человеке — каждом. Он ведь единственный из всех Божьих созданий вкусил плода от древа Познания, но вкуса Добра и Зла запомнить ему было не дано. Дано было — познать, и познание это и есть мучительный прогресс человечества. Его Восхождение к недостижимому совершенству.

А мерило грани меж Добром и Злом Господь обозначил. Грехом. Но и понятие греха тоже в душу не вложил, потому что грех осознать сперва надо. И дети поэтому созданы безгрешными: их старшие пониманию греха обучить обязаны. Поначалу — маменька, потом — семья, следом — труд среди людей и бой ради людей.

Знаете, когда наших прапраародителей Господь из Рая изгнал? Когда они взрослыми стали. Детей из Рая не изгоняют. А изгнав и повелев им в поте лица своего снискивать хлеб свой, Он благо в них вложил, ими самими открываемое: Любовь. Одну-единственную Великую Любовь и Адаму, и Еве на все грядущие времена. И коли посчастливится Адаму познать, что Ева его из его же ребра сотворена, а Еве — восчувствовать, что она — частица его, тогда, и только тогда им благо это является: они — друг для друга. Они — одно целое, друг друга они нашли и — воссоединились. Обрели счастье. А потому — не спешите соединять судьбы свои. Если одно лишь желание вами движет к пред-

мету страсти вашей, это — не любовь. Это — страсть всего лишь. Вожделение. Утолите его, и кончится тяга ваша. Но когда мужчина боль ощущает в отсутствие предмета своего — это ребро его, из которого его Ева сотворена была, в нем криком кричит. А женщина — тоску по своему ребру. Боль мужчины и тоска женщины — сигналы того, что нашли они друг друга, что Любовь — Благословение Божие, в души их стучится мужской болью и женской тоской непереносимой. И это, только лишь это — тоска и боль — и есть зов Любви, а не вопль плоти. За нею и ступайте, ибо нашли вы счастье свое...

Вот что открылось мне спервоначалу, и вот что осознал я. По вновь возникшей боли осознал, навеки утерев ту, что создана была только для меня. Одного-единственного. Из моего ребра создана и увезена в Италию. Навсегда.

Никак не менее недели я над этим своим прозрением размышлял. А в остальном — существовал как существовал. Версты свои отмеривал, щи хлебал и крыс дрессировал, чтобы место свое знали. А что невнятно свое открытие изложил, прощения прошу. Не в халате, не с трубкой в зубах, не с бокалом вина перед камином в удобном кресле...

Дней двенадцать, что ли, минуло, и распахнулись двери моего каземата. На пороге — молодой, старательный, румяный от исполнительности офицерик. За порогом — двое солдат с ружьями.

— Прошу за мною следовать.

Привел себя в порядок, как мог. Мягкий мундир почистил, пыль с ботфортов смахнул, причесался, усы расправил. И шагнул за порог.

Снова — карета с окнами, зашторенными снаружи, снова — перестук копыт по петербургским мостовым, снова — жандармское молчание в ответ на все мои вопросы.

Наконец остановилась карета, дверцы распахнулись, и я вылез. Мощный двор, казенные здания со всех четырех сторон и — безлюдье. Подъезд, лестничный марш, коридор и — строгая казенная дверь. Важная, как штатский генерал, получивший чин за вовремя рассказанный анекдот. Обождал, пока офицерик доложит, и распахнулись предо мною дверные дубовые створки.

Вступил в кабинет. Поменьше московского, да и заседателей нет за присутственным столом. В полном одиночестве восседает за ним молодой подполковник. С рыжими бачками, но — без усов. А секретарь — тихий, как тень, — за отдельным столиком у меня за спиной. Подполковник бумаги листает, так на меня и не глянув. Ну и я, естественно, представляться ему не стал.

Впрочем, это его не обескуражило. Буркнул, так и не глянув:

— Прошу садиться.

Сел на стул перед его начальственным столом. Что-то в рыжем подполковнике было нестерпимо раздражающим. Что-то казенно-бумажное, немецко-старательное. Мне это не понравилось, почему я и закинул ногу на ногу весьма вольготно. Подполковник чуть приподнял бесцветные брови и говорит:

— Вас доставили на допрос.

Явно намекал на мою салонную позу. Но я ее не изменил.

— Я лишен чина и дворянства?

— Чина и дворянства может лишит один лишь Государь. Следствие по вашему делу еще не завершено, следовательно, Государю еще не доложено.

«Следствие — следовательно». Скучный господин.

— Слушаю вас, подполковник. Допрашивайте.

Вновь бровки его вздрогнули: видно, резануло его канцелярскую душу, что я запросто подполковником его назвал, а не «господином подполковником». Значит, не служил ты в полках, казенная душа...

— Предварительное расследование выяснило, что вы

выиграли полный список «Андрея Шенье» в карты у неизвестного вам поручика.

— Спьяну, подполковник. Исключительно спьяну. Занесите в допросный лист, если сие уточнение в нем отсутствует.

— Присутствует уточнение, присутствует, — с неудовольствием сказал подполковник. — Однако при этом присутствии отсутствует другое весьма важное ваше объяснение. Весьма важное.

— Какое же?

— Строка наверху. Над поэтическими строфами. Так сказать, обращение к читателям.

— Обращение? — Я сразу сообразил, что он имеет в виду, однако переспросил с максимальным удивлением. — В первый раз слышу.

— Не сомневаюсь.

С ехидцей сказал подполковник. Даже чуть улыбнулся при этом. Подсидживают моего московского полковника, подумал я. И спросил:

— Покажите-ка. Может, оно позднее появилось? Пока я крыс в каземате правилам приличия обучал?

— В свое время. Все — в свое время.

Подполковник через стол протянул мне лист бумаги и перо, предварительно ткнув им в чернильницу:

— Извольте записать то, что продиктую.

Я развернулся лицом к столу, взял перо.

— Пишите цифрами: «Тысяча четыреста четырнадцать. Десять. Четыре. Четырнадцать». Написали? Теперь — словами: «Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь...» Написали? Дайте мне.

Перегнулся через стол, схватил, даже песком не присыпав. И стал сличать мои записи с тем, что когда-то написала Полиночка. Я знал, для чего мне этот диктант устроен, а потому и не волновался. Не ту карту они прикупили. Не в масть.

— Кто это написал?

— Что — написал?

Подполковник — вновь через стол перегнувшись — показал мне пушкинский список, над которым когда-то Полюночка в торжестве от прозорливости своей написала: «На 14 декабря».

— Это ведь не ваша рука?

— Вообще эту надпись впервые вижу.

— Кто же ее сделал, по-вашему?

— А Бог ее ведает. Я ведь не надпись выиграл, я стихи выиграл. И не читал, что да кто там написал. Может, сам Пушкин.

Знал, что тут у них — пустышка. Пушкинский почерк был похож на почерк Полюночки, как моя сабля на мой ботфорт.

— Нет, это не Пушкина рука, — вздохнул подполковник, вновь удобно угнездившись в кресле. — Давайте разбираться. Давайте все вспоминать и разбираться. Кому вы показывали сей список?

— Никому.

— Так-таки и никому?

— Так-таки и никому.

— И в полку выигрышем не похвалялись?

— Вообще никогда не хвастаюсь.

Ну и пошло-поехало. Часа четыре скакали мы по манежному кругу, на котором, как известно, доскакаться до чего-либо — пустое занятие. Но подполковник был упорен, менял аллюр, даже направление, однако ничего не добился. Перебрал всех моих приятелей, знакомцев и даже родственников, но ни разу не упомянул о невесте моей. О Полюночке. И я возблагодарил Господа, что помолвку мы не оглашали из-за батюшкиного удара.

Кончилось тем, что он раскраснелся, вспотел и умирался.

— Кто же это мог написать?..

Я пожал плечами. Эта скачка вопросов вокруг да около окончательно убедила меня, что они пытаются добраться до Пушкина. Заполучить его в свою паутину, и здесь я не желал служить им ни проводником, ни пособником. Ни в каком виде и ни при каких условиях. По разные стороны

барьера мы стояли, и я позиции своей менять не собирался, хотя и не имел права на ответный выстрел.

— Ладно, — со злорадством сказал мой новый дознаватель. — Будете крыс дрессировать, пока не вспомните.

— Каким же образом можно вспомнить то, чего вообще не было? Не подскажите?

— Всяко бывает, Олексин, всяко, — улыбнулся вдруг подполковник. — Озарение может на вас снизойти. Озарение и понимание. Думайте, думайте, вы же — игрок, и я вам предостаточно карт на стол выложил. И все — в масть, заметьте.

Гнусен намек его был: выдумать нечто, чтобы оговорить Александра Сергеевича. Гнусен и подл, но я сдержался. Нельзя мне было свои истинные чувства жандармам показывать. Никак нельзя.

К счастью великому, мои отношения с Пушкиным, моя любовь к нему и мое восхищение места в жандармских мозгах не занимали. В таком раскладе мне повезло, повезло отчаянно, хотя сначала и обидело. Как же так, я ведь в бессарабской ссылке с самим Александром Сергеевичем приятельствовал, со Спартанцем Раевским, с Руфином Дороховым на дуэли дрался! Это же счастливейшая заря жизни моей, а вы, мундиры голубые, — будто и не было ее у меня? Обидно. А промерзнув в казематах, изголодавшись да кашель подцепив, сообразил, что за расклад у них, и — возрадовался. Возрадовался, что не догадался там копнуть, что мимо майора Владимира Раевского проскочили, мимо Урсула, а заодно — и мимо Пушкина.

А вот почему проскочили, долго понять не мог. Только потом уж, потом догадался, наконец, что юнцом безусым во времена кишиневские я для них выглядел. Фоской, картежным языком выражаясь. Ну, а какой с фоски прок? Она только для сноса и годится. Поэтому жандармы и скинули это время, будто и не было меня в нем вообще.

Осьмнадцать лет, румяная пора!..

Свеча седьмая

Сколько дней после этого разговора меня никуда не вызывали, сколько дней я крыс приличным манерам обучал, версты парами шагов отмеривал да неизменные цци дважды в сутки хлебал — не помню. День в день был, и все — трэфовой масти предсказанного мне древней цыганкой казенного дома.

Но ни бодрости, ни веры я не терял. Бодрость во мне поддерживалась неукоснительным исполнением приказа, себе самому отданного, а вера — Библией. Читал я ее вдумчиво и неспешно, по два, а то и по четыре раза каждый стих перечитывая. Чтоб сквозь человеческое понимание до Божественного смысла добраться, а потому и продвигался в алюре улитки. И как-то, перевернув очередную страницу, с трудом различил на полях блеклую, выцветшую до бледной ржавчины надпись:

УСП

г — 1

шо — 1

оо — 17

нч — 282

гл — 67

т — 903

и всего — 1271

Долго я ничего не мог понять. Что за буквами кроется, кто за цифрами стоит?.. Ясно одно было — это подсчет. Но чего — подсчет? Людей или рублей? Потерь или приобретений? И неизвестно, удалось бы мне загадку сию решить, если бы однажды, едва проснувшись, а может, и в схватке со сном еще, я не призадумался: а кто вообще мог это написать? Ну, естественно, узник вроде меня, кто же еще? Но — чем? Чернил и перьев в казематах и быть не может, и быть не должно.

Вот тогда я и стал заново эту бледно-ржавую надпись

изучать. Но теперь не что написано, а — чем написано. И так книгу вертел, и этак...

И вдруг осенило меня. Подвигло, что ли, не на разгадку тайны сей, а на опыт.

Отгрыз я тонюсенькую щепочку от черенка ложки, рванул нижнюю губу зубами до крови, намочил ею щепочку и на последнем листе Библии написал:

«БЛАГОДАРЮ ТЯ, ГОСПОДИ».

Надпись вполне безобидная, даже если бы кто и заинтересовался ею. Рыхлая бумага быстро кровь впитывала, макать самодельным пером в самодельную чернильницу приходилось мне беспрестанно, но я дописал, закрыл Библию, а щепочку изгрыз чуть ли не до стружек. Полдня ранку на губе зализывал, пока не затянуло ее, и определил себе срок: три дня. И три дня Книгу в том месте, где надпись сделал, не открывал.

А на четвертый — открыл. Надпись моя впиталась, поблекла и как бы выцвела до бледно-ржавой желтизны. Я сравнил ее с таинственными цифрами, и все недоумения пропали.

Да, никаких сомнений: подсчет тот делал узник. Но писал — кровью собственной, следовательно, писал нечто, очень уж для него важное. Жизненно важное. И, судя по цвету моей надписи, совсем недавно, по всей вероятности незадолго до меня.

А кто прошел незадолго до меня сквозь эти казематы? Декабристы. Этой зимой, которая только-только первой весенней оттепелью вздохнула. Их прямо с Сенатской площади...

И тут сказал себе вслух:

— Тпру, Олексин!

Сенатская площадь. Это — «СП». А «УСП»? Если «СП» я угадал, то «УСП» — «убиты на Сенатской площади». Эту догадку подтверждает и первая строчка столбца: «г — 1», поскольку убит был один генерал. Милорадович, застреленный Каховским. И один штаб-офицер тогда погиб. Знал я его фамилию, знал, кто-то говорил в полку...

А в столбце — «шо — 1». То есть один штаб-офицер.

Все сошлось, весь пасьянс. Помнится, от такого открытия я на месте усидеть не смог. Вскочил, по каземату пометался. Потом сел, взгляделся в блеклую надпись на полях, и все для меня окончательно стало ясным:

Убиты на Сенатской площади:

генерал —	1
штаб-офицер —	1
обер-офицеров —	17
нижних чинов —	282
гражданских лиц —	67
толпы —	903
и всего —	1271.

Не знаю, откуда мой предшественник по темнице мог взять цифры погибших 14-го декабря: их держали в строжайшей тайне, их нигде не печатали, о них даже не упоминали. И мне одно объяснение пришло в голову: сообщили со стороны. Через дежурных офицеров Петропавловской крепости, через адъютантов и курьеров, через помощников дознавателей да и самих дознавателей, через случайно, на лестницах или в коридорах встреченных офицеров. Офицерское братство не смогли поколебать никакие ссоры, дуэли, обиды и разногласия, почему и пришлось придумать жандармский корпус в голубых мундирах, руку владельцам которых не подавал ни один офицер русской армии...

Впрочем, я об этом вам уже докладывал.

...Человек несовершенен, и я никогда не встречал человека совершенного. Долгое время считал, что виною несовершенства человеческого служит лень, а потом задумался: ну, а лень-то — откуда? Чем подкармливается она в нашей душе, ибо не попадались мне что-то ленивые звери. Зверь ленив, когда он сыт. Так, может быть, и человек тогда ле-

нив, когда душа его наелась до отвала? Но чем же может насытиться наша душа?..

Долго я над этим размышлял: уж чего-чего, а времени мне хватало. Не столь уж важно, как именно ползла моя мысль, но важно, до чего она доползла.

Я, как мне показалось, в конце концов нашел ответ, что же закармливает душу человеческую до сытости с отрыжкой. Для себя, разумеется...

...Это — не пища, тело питающая. Это всего лишь жвачка, дающая обманное ощущение сытости. Все в детстве, наверно, любили жевать вишневую или сливовую смолку: затвердевший сок дерев этих, которым они раны, трещины да надломы свои затягивают. Вспомнили, о чем толкую? Такой жвачкой для души человеческой является самоуверенность. Сколь часто заменяет она нам тяжкий путь размышлений! Едва начав о чем-то думать, человек в поспешности хватается за самопервейшую, навязшую в зубах мысль, тут же объявляя ее истиной. Он щадит себя, силы свои и нервы свои, убеждая душу свою, что ответ уже найден и ей не о чем более тревожиться.

Самоуверенность есть самообман души нашей. Замена живительных сомнений пустой убежденностью в собственной непогрешимости. Я проверил сей постулат на собственном опыте. По счастью, он оказался не столь уж печальным, хотя вполне мог им стать.

Душа обязана трудиться, дети мои. Не позволяйте ей пережевывать жвачку простейших решений...

Свеча восьмая

Вторично дверь моего Петропавловского каземата распахнулась в сырых петербургских сумерках. В столицу шла весна, из прорубленного в Европу окна уже стремился теп-

лый ветер, и день заметно прибавился, что сказалось даже в сумрачной темнице моей.

Но меня куда-то везли в то время, когда служба во всех присутствиях закончилась, чтобы через время некое переместиться в храмы Божии. Семья моя, свято соблюдая православные обряды, особой религиозностью никогда не отличалась, поскольку предки мои, насколько мне было известно, добывали хлеб насущный не серпом да цепом, а мечом да шпагой. Такой способ деятельности во благо Отечества необходим и достоин, однако по самой сути своей он как-то не совсем, что ли, совмещается с постулатами Нагорной проповеди. И «не убий» для воина — завет относительный, и «не укради», и «не возжелай», и многое другое: *à la guerre comme à la guerre* («на войне как на войне»). А потому я, грешный, о Пасхе узнавал тогда лишь, когда в нашем доме начинало пахнуть куличами. И в тот вечер подумал вдруг: уж не в церковь ли меня везут ко всенощной?..

Однако здание, подле которого меня из арестантской кареты высадили, на храм Божий мало походило. Менее, скажем, нежели армейская шинель на поповскую рясу. Да и сам подъезд с застывшими часовыми тоже.

Поднялись на второй этаж по пустынной лестнице, прошли в залу с двумя настенными зеркалами в бронзовых рамах и изящной, совсем уж не казенного вида мебелью. Мой сопровождающий, велел обождать, исчез за тяжелой, бронзой отделанной дверью, и я замер подле одного из зеркал. Поэтому замер, что в зале этой парадно-приемного вида оказалось целых два генерала и никак не менее дюжины штаб-офицеров, не обращавших, впрочем, на меня, жеванного казематами арестанта, ровно никакого внимания.

Из-за той двери, за которой скрылся мой крепостной офицерик, вышел молодой жандармский капитан и остановился перед зеркалом в шаге от меня.

«Франт, — подумал я нелюбезно. — Ишь охорашивается, крыса жандармская...»

— Обращение — ваше высокопревосходительство, — вдруг шепотом, но вполне явственно сказал этот франт, по-

прежнему глядясь в зеркало. — Почаще, он это любит. Не задерживайся с ответами — подозрителен. И не вздумай изворачиваться, он многое знает. Лучше умолчи. Так безопаснее.

И пошел себе к выходу, на меня так ни разу и не взглянув.

Но сказано-то было для меня! В этом не могло быть никаких сомнений, и сердце мое прямо-таки теплой волной обдало: «Живо! Живо ты еще, братство офицерское, живо!..»

И вспомнил тут я, что при формировании голубого Жандармского корпуса многих армейских офицеров переводили в него помимо их желания. Повелением простым переводили. Те, кто мог, сразу же в отставку подавали, ну, а те, кого одна лишь служба кормила, у кого родовое поместье — с гулькин нос или сестер незамужних куча, тем некуда было деваться. И напялили они голубые мундиры на верные армейские сердца...

Неожиданно дверь распахнулась. Мой надзирающий офицерик выглянул:

— Проходите.

Я мятый свой мундиришко одернул, шагнул за порог и очутился в огромном кабинете. Освещен был лишь стол да круг подле него: два кресла, что ли. Стены в сумрак уплывали, но фигура в генеральском мундире, восседавшая за столом, выделялась от этого еще отчетливее. И я рванул к ней с места строевым шагом.

— Поручик Олексин, ваше высокопревосходительство! Честь имею явиться!

Генерал, глаз от бумаг не оторвав и на меня не глянув, бросил отрывисто, по-сановному:

— Садитесь.

Я поспешно сел, замерев на краешке кресла. Бумаги листались неторопливо и вдумчиво. Совершенно беззвучно при этом, будто сами собою перепархивали.

— Когда, каким образом и где именно познакомились с Александром Пушкиным?

— В Кишиневе, ваше высокопревосходительство. Был сослан туда за дуэль.

— За дуэль? — Генерал впервые поднял на меня бледные, безмерно усталые глаза. — Какая по счету?

— Первая, ваше высокопревосходительство.

— И чем же она закончилась?

— Прострелил ногу гвардии поручику Турищеву, ваше высокопревосходительство!

— А он пальнул в воздух, — с укором сказал генерал. — Неблагодарно поступили, Олексин.

— Иначе поступить не мог, ваше высокопревосходительство. Турищев оскорбил даму.

— Даму? Это меняет оценку.

Генерал оставил бумаги. Откинулся к спинке кресла, и лицо его ушло в тень.

— Затем прибыли в Кишинев. Кто представил вас Пушкину?

— Никто, ваше высокопревосходительство. Занимались фехтованием у одного местного мастера. В конце концов я счел возможным лично представиться Александру Сергеевичу под тем предлогом, что мы с ним — земляки.

— После чего вы затеяли новую дуэль.

— Так точно, ваше высокопревосходительство, о чем весьма сожалею.

— И с кем же на сей раз?

— С Руфином Ивановичем Дороховым. Исключительно вследствие собственной неводержанности.

— И кто же был вашим секундантом?

— Майор Раевский, ваше...

— Майор Владимир Раевский, — почему-то с некоторым удовлетворением отметил генерал.

— Так точно, ваше высокопревосходительство!

Я уже сообразил, что меня допрашивает сам шеф жандармов Александр Христофорович Бенкендорф. Но пугало меня не это. Я очень встревожился, что он спросит, кто

именно меня познакомил с Раевским, и я вынужден буду назвать Пушкина. Однако генерал сказал совсем иное. И — весьма неожиданное:

— Дуэль на шпагах — скорее спорт, как говорят англичане. Ковырнули друг друга и разошлись. Так оно и было?

— Так точно, ваше высокопревосходительство! — с огромным облегчением согласился я.

— Ну и Бог с вами. А по какому поводу вы устроили попойку за неделю до бряцания шпагами?

— Осьмнадцать лет мне исполнилось, ваше высокопревосходительство.

— И кого же вы в сей знаменательный день пригласили?

— Трех, ваше высокопревосходительство. Господина Александра Пушкина, майора Владимира Раевского и... — Я мучительно соображал, как мне представить Урсула Бенкендорфу, делая вид, что припоминаю фамилию. — И капитана Охотского, кажется. Прощения прошу, фамилию запямятовал.

— Капитана Охотникова, — поморщившись, поправил Бенкендорф. — Вам известно, что он умер?

— Умер?.. Не знал об этом, ваше...

— А с ним вы каким образом познакомились?

Как же повезло мне тогда, что генерал сначала сообщил о смерти капитана Охотникова — а я знал его в Кишиневе, знал, но близко знаком не был — и лишь потом заинтересовался почему-то, как мы с ним познакомились. Раевский был уже арестован, так что навредить ему я не мог, а вот Пушкина следовало выводить из этой жандармской игры в подкидных дурачков.

— Нас познакомил майор Раевский.

— Присутствовали при их беседах?

— Помилуйте, ваше высокопревосходительство, — я позволил себе улыбнуться. — Я тогда, в Кишиневе, безусым юнцом еще считался. А потому я их приглашал, а они меня — никуда и никогда. Даже на дуэли секундантом не брали.

Зря я это выпалил, относительно дуэлей. Но Бенкендорф и на оговорку мою внимания не обратил.

— Однако яский господарь Дмитрий Мурузи почему-то отошел от этого правила.

— Крайне удивлен сим обстоятельством, ваше высокопревосходительство. Крайне удивлен приглашением его и по сей день, хотя, не скрою, и весьма польщен.

Бенкендорф нагнулся к столу, вновь возникнув в кругу света. Взял в руки очередную бумагу.

— Господарь отозвался о вас весьма восторженно. Послушайте его доклад Инзову. «Атаку возглавил прапорщик Александр Олексин, убив двух турецких разбойников...» — Кончив читать, поинтересовался: — Соответствует действительности?

— Так точно, ваше высокопревосходительство!

— У Инзова к вам тоже претензий не оказалось, — продолжал главный жандарм. — Отмечает вашу искренность и чистосердечие. Вот на чистосердечии и остановимся. Когда Александр Пушкин передал вам для хранения полный список «Андрея Шенье»?

— Он мне не передавал его, ваше высокопревосходительство. Я выиграл эти стихи. В штосс.

— Что-то я не замечаю в вас того качества, которое столь восхитило генерала Инзова.

— Ваше высокопревосходительство, — сказал я, проникновенно прижав руки к груди. — Пушкин посвятил мне два стихотворения и еще четыре — подарил на память. Они — в бумагах, что взяли у меня при аресте. Все. Все шесть стихотворений подписаны Александром Сергеевичем, а список «Андрея Шенье» — не подписан. Извольте обратить внимание, прошу вас. А не подписан потому, что подарен был кому-то другому и я его просто выиграл в штосс...

— Поручик конно-пионерского полка Молчанов утверждает в своем заявлении как раз обратное вашим словам. А именно, что вы расплатились с ним пушкинским «Андреем Шенье», но потом отыграли сей список назад.

— Ваше высокопревосходительство, виноват. Пьян был до полного ошаления, все — как в тумане, только ошибается коннопионер. Он тоже на хороших воздухах был...

— Хватит! — резко выкрикнул Бенкендорф. — Как только Пушкин будет арестован, я устрою вам очную ставку. Что тогда скажете?

Ничего я не сказал. Разинул рот, закрыл его, снова открыл и спросил:

— Пушкин арестован?..

— Будет арестован без всякого промедления, как только Государь изволит дать согласие свое. Представление по сему предмету мною уже сделано.

— Зачем же Пушкина арестовывать, ваше высокопревосходительство? — растерянно и как-то не к месту, что ли, сказал я. — Проще с этим коннопионером и мною очную ставку...

— Поручик Молчанов ни в чем не повинен. Мало того, он проявил истинно патриотическое рвение, и нет причин...

Что-то жандармский шеф еще говорил, но я уже ничего не слышал. Горечь до горла меня переполнила: знал я теперь, кому обязан казематным своим сидением. Знал. Знал, кто проявил истинно патриотическое рвение...

—...Так кто же с кем расплачивался стихами? — наконец-то до меня донесся генеральский голос. — Вы с Молчановым или Молчанов с вами?

— Коннопионер со мной, коннопионер, ваше высокопревосходительство. То и человек мой подтвердить может, и стационарный смотритель в любое время.

— Да, они ваши слова подтверждают, — согласился Бенкендорф, посмотрев в какие-то свои бумаги. — Однако Молчанов утверждает обратное.

— Он бутылку рому у смотрителя купил да один и высосал ее, потому что в меня уж и не лезло.

— Молчать! — гаркнул жандармский верховный вождь.

Замолчали мы оба. И молчали, пока Бенкендорф не обрел прежнего холодного величия.

— Теперь — о надписи «На 14 декабря». Она не принадлежит ни Пушкину, ни вам, ни Молчанову. Сие установлено. Кому же она принадлежит?

— Не ведаю, ваше высокопревосходительство. Я ее с этой надписью и выиграл.

— Кому вы давали читать сей стихотворный памфлет?

— Никому. Может, Молчанов кому давал, ваше высокопревосходительство?

— Перестаньте, Олексин. Перестаньте перекладывать на достойного офицера свое беспутство. Знаете, как вас полковой командир охарактеризовал? — Генерал извлек очередную бумажку и зачитал почти с выражением: — «Картежник и бретер, игрок и дуэлянт». Куда ближе к действительности, нежели старческие сантименты Инзова. А потому в последний раз задаю два вопроса. В последний! Первый вопрос: когда именно Александр Пушкин попросил вас припрятать свой стихотворный антиправительственный манифест? До бунта на Сенатской площади или после оно-го? И второй: кто и когда написал поверх стихов «Андрей Шенье» слова «На 14 декабря»?

— Ваше высокопревосходительство, я...

— Я не спрашиваю вас более!.. — сурово оборвал меня Бенкендорф. — Я дал вам последний шанс подумать о своем будущем. В переводе на общедоступный офицерский язык — подумать о собственной шкуре. Собственной, Олексин, а не своих кишиневских приятелей, уразумейте же это наконец. Ступайте!

Я вскочил с кресла, звякнул шпорами, поклонился. Пошел к дверям, по-прежнему строевым шагом ворс из ковра выколачивая. Вероятно, именно это и обозлило шефа жандармов. Сказал вдогонку, когда я уже у дверей был:

— Вашего отца, всеми уважаемого бригадира Илью Ивановича, хватил второй удар. Наталья Филипповна про-

сила меня разрешить вам свидание с батюшкой вашим. Я обещал при условии, что вы поведете себя благоразумно. Этого не случилось, почему и свидания вы не получите. Ступайте.

— Он... Он в сознании?

Молчание. И — резкий холодный приказ:

— Извольте покинуть мой кабинет, сударь!

Не помню, как я вышел. Не помню...

Свеча девятая

Это была первая ночь, когда я не смог уснуть. Батюшка мой, едва от первого удара оправившись, свалился во втором. И оба — из-за меня. Из-за меня!..

К сожалению величайшему, я уже не умел рыдать, израсходовав весь запас слез, выданный на всю жизнь, и мне было во сто крат тяжелее. Я молился, молился искренне, с огромным отчаянием и крохотной надеждой в душе. Я метался по каземату, падал на койку, вскакивал и снова метался и уж не знаю, сколько верст наметали мои ноги в ту страшную ночь.

Забылся я на считанные минуты перед рассветом. Помню, что не лежа, а сидя на койке, зажав голову в ладонях. Не заснул, все чувствовал, все слышал и ощущал, ворочая тяжкими думами своими. И вдруг... услышал вдруг отцовский голос! Не снаружи, а — изнутри, не ушами, а как бы душою своею:

— Ты — единственная надежда моя, сын. Ты, только ты продлишь меня в детях своих. А потому обязан выстоять. Выстоять! Ты — потомок бесстрашных княжеских дружинников, офицер армии русской, найдешь в себе силы. Знаю, надеюсь, верю, что сыщешь их...

Смок голос в душе моей, и я вскочил. Вскочил, вытянулся, как на высочайшем смотру, и сказал вслух:

— Выстою, батюшка.

И начал версты свои ежедневные парами шагов отмерять...

...Что наследуем мы от родителей своих? Здоровье? Силу? Способности бурям противостоять? Не это главное. Главное, что мы наследуем, — любовь родителей к нам. Их заботу о нас. Их веру — в нас. Их надежду — на нас. Мы такие, какими нас испекли в родительском тепле. Все последующее — всего лишь бутерброд, на куске хлеба, испеченном матушкой из отцовской муки...

Голос батюшки, столь явственно прозвучавший в душе моей, вернул мне силы. Я понял, что обязан бороться, обязан выиграть эту борьбу, обязан устоять и вновь вернуться в жизнь. Во имя исполнения его завета и его надежды. Вероятно, поэтому, когда я по заведенной привычке на оцупь подбривал усы и баки, в меня и влезла паскудная мысль. Простая, как змея, сотворенная Господом.

...А зачем мне, собственно, мудрить, страдать и терпеть, не имея при этом никакой возможности повидать тяжело захворавшего бригадира моего? Зачем мне упрямством своим способствовать аресту Пушкина? Зачем? Во имя чего? Пушкина, даже арестовав, никто не посмеет тронуть, потому что все общество, все лучшие люди России поднимутся на его защиту. Все, даже враги его, ибо в противном случае общество отвернется от них. Пред ними закроются двери всех салонов, гостиных, клубов, собраний. Нет, нет, Россия никогда не даст в обиду светлого гения своего, она грудью прикроет его от всех застенков, крепостей и казематов. Так не лучше ли, не мудрствуя лукаво, откровенно признаться в истине? Да, ваше высокопревосходительство, Александр Сергеевич Пушкин лично вручил мне полный список «Андрея Шенье» с просьбой никому его не показывать. Я не исполнил этой просьбы, показав стихи моей невесте, и она в восторге написала поверху «На 14 декабря».

Пушкин и моя Полюночка — благородные люди, они подтвердят мои слова, меня выпустят из крепости, и я увижу батюшку, страдающего смертельным недугом. Все же очень просто, Сашка, они — благородные люди...

И тут... Тут — поверите ли?.. — я с размаху отпустил самому себе пощечину. В полную силу: дня два щека нытьем ныла...

...Они, бесспорно, благородные люди, а ты, Олексин? Посмеешь ли ты, посмеют ли дети, внуки, правнуки твои когда-либо считать себя просто порядочными людьми, ощущая зловонное дыхание предательства, некогда совершенного тобою? Нет, Пушкина не тронут — зачем же беспокоить общество? Ему просто сплетут поводок из липкой лилипутьей паутины. И накинут ее на вольную душу гения, как ошейник на раба...

И я удавил гадюку, посмевшую поднять ядовитую голову в душе моей. Навсегда...

И продолжал каждый день отмерять версты, неторопливо и вдумчиво читать Библию, до донышка выскребывать все, что дают, и... и терпеливо учить крыс пристойно себя вести...

Так прошло... да с неделю или чуть более того. Двери каземата моего распахнулись вскоре после обычного скудного завтрака, и меня востребовали на выход.

Снова — зашторенная карета, столичный шум за окнами. Снова — глухой каменный двор, лестница, кабинет и — рыжеватый подполковник за прежним столом.

— Садитесь, Олексин.

Сел и молчу. После свидания с самим Бенкендорфом рыжий подполковник мне пешкой казался. Причем пешкой, которая в дамки так никогда и не выйдет.

— Во время службы в лейб-гвардии Нижегородском конно-егерском полку...

— Сначала вы ответите на мой вопрос, подполковник, — решительно перебил я. — Каково самочувствие батюшки моего бригадира Ильи Ивановича Олексина?

— Сначала — дело, сударь! Тем более что мне ничего не известно о самочувствии вашего батюшки.

— Так извольте же послать кого-нибудь узнать! Или везите меня назад, в крепость, потому что я рта не раскрою, пока известия о нем не получу.

И что вы думаете? Послал он дежурного офицера. А мы остались в кабинете. Подполковник что-то говорил, о чем-то спрашивал, но я и губ не разомкнул. Так в молчании и просидели часа полтора, пока посланец не возвратился. Начал шептать что-то, но подполковник резко его оборвал:

— Извольте вслух! И не мне, а Олексину.

Дежурный офицер сразу же ко мне оборотился:

— Прощения прошу, поручик. Ваш батюшка бригадир Илья Иванович Олексин жив, но отнялась левая сторона. Речь нарушена, однако он — в полном сознании. Имею честь передать вам сердечный привет от него лично.

— Благодарю.

— Довольны? — не без ехидства поинтересовался подполковник.

— Чем? Тем, что у отца речь нарушена?

Подполковник досадливо поморщился, отпустил офицера. А когда дежурный удалился, проворчал:

— Теперь-то будете отвечать?

— Теперь буду.

Вздыхнул я, признаться, батюшку представив. Мой дознаватель поковырялся среди бумажек, потасовал их и, наконец, приступил к допросу:

— Во время службы в конно-егерском общались ли вы со своим эскадроном вне службы? Беседовали с егерями, расспрашивали их?

— Нет.

— Почему?

— Смысла не видел.

— Но открыли же почему-то сей смысл в пехотном полку? Во Пскове?

— Егерь — не пехота, подполковник. Не хуже меня знаете.

— Разъясните, что имеете в виду.

— Все просто. В егеря отбирают наиболее сообразительных солдат. В гвардию — тем паче. А Псковской полк — обычный гарнизонно-затрапезный. Почему с солдатами приходится заниматься и вне строя, ничего не подедаешь. Армия — снятое молочко: сливки всегда в гвардию уплывают.

— И вы просвещали их, так сказать, в полном объеме?

— Спросите конкретно.

— Конкретно? — усмехнулся подполковник. — Конкретно — вопрос о воле. Вы вели с солдатами беседы на эту тему?

— О воле как императиве души человеческой? Разумеется. Я их к сражениям готовил, а в сражениях тот побеждает, у кого воли на весь бой хватает. Да еще с запасом.

Вздыхнул мой следователь.

— Вы наделены поразительной способностью не отвечать на то, о чем вас спрашивают.

— Вы спросили о воле. Я и ответил о воле.

— В России под волей не философскую детерминанту разумеют, а свободу от крепостной зависимости, Олексин. И вам сие прекрасно известно.

Моя очередь усмехаться пришла:

— Так вы свободой заинтересовались, подполковник?

— Это вы ею заинтересовались, Олексин, вы. И чуть не ежедневно втолковывали солдатам своей роты, что они — свободные люди. Это-то вы признаете?

Вспомнил я свои беседы с батюшкой о доле простого пехотинца. О том, сколь сиротливо чувствует он себя, лишенный возможности хоть о ком-то или о чем-то заботить-

ся. Хотел было подполковнику с рыжеватыми бачками об этом поведать, но — передумал. Щечки у него слишком румяными мне показались.

Об ином напомнил:

— После государевой двадцатилетней службы солдаты освобождаются от крепостной зависимости согласно закону. А в случае боевой инвалидности — вне срока службы. Вам, надеюсь, это известно?

— Мне — да, но солдатам знать о сем не положено, поручик. Не положено, потому как законов они не знают и знать не должны.

— Почему же — не должны? — Я искренне удивился, поскольку никак не мог понять, куда он гнет. — Каждый подданный Российской империи обязан знать ее основные законы.

— Они — помещика подданные, а не Российской империи!

— Вот это уже прелюбопытнейшая новость, — говорю. — Стало быть, наши солдаты за любимого помещика на смерть идут, а не за Бога, Царя и Отечество?

Помолчал подполковник, беседу нашу припоминая. И вздохнул, сообразив, что ляпнул нечто несусветное. И даже улыбнулся как-то... искательно, что ли.

— Я образно выразился, Олексин, образно. Неудачный образ, признаю. Но признайте и вы, что превысили свои офицерские обязанности, и превысили недопустимо. В чем недопустимость превышения сего? В том, что...

Занудил, и я слышать его перестал. Я лихорадочно соображал, куда подевались два вопроса, которые мне задал сам Бенкендорф: передавал ли мне Александр Пушкин полный список «Андрея Шенье» на хранение и кто написал поверх этого списка слова «На 14 декабря». Об этом мой следователь ни единым словом не обмолвился, добиваясь почему-то ответов о моих отношениях с солдатами вне службы. Это было непонятно, и это необходимо было понять.

—...подобные беседы не входят в обязанности ротного командира, Олексин.

— А в обязанности приличного человека?

— Вы прежде всего — офицер!

— Я прежде всего — человек чести, подполковник. Не знаю, чему учат остзейских баронов, но потомственных русских дворян учат именно этому.

Разозлился я, признаться, почему и брякнул об остзейских баронах, хотя и не был уверен, что мой дознаватель — из их племени. Но оказалось, попал в точку. Поокраснел подполковник, блеснул бледными глазками:

— Вспомним еще, как наши предки на льду Чудского озера друг друга колошматили?

— Ну, положим, — улыбнулся я, — это мои предки ваших колошматили, подполковник.

— Пустопорожний спор, Олексин, — сказал мой визави, сдерживая раздражение. — Отвечайте мне четко: вы вели с солдатами беседы о том, что они — вольные люди?

— Вольные лучше сражаются. Разве не так?

— Не уходите от ответа!

— Ну вел, вел. Мало того, считал и продолжаю считать эти беседы боевой подготовкой вверенной мне роты. И ничего противуправного в них не усматриваю.

— Так и запишем, — обрадовался он. — Не возражаете?

— Не возражаю.

Он пером скрипел, а я думал. Думал, куда же «Андрей Шенье»-то подевался? Вместе с Пушкиным?..

— Ознакомьтесь.

И бумагу передо мной положил. Я прочел, пожал плечами.

— Согласны? Тогда внизу прошу написать: «С моих слов записано правильно». И расписаться.

И это было новым. До сей поры мне дознавательных листов не показывали и подписи под ними не требовали. Я написал то, о чем он просил, и поставил свою закорючку.

- Вот и отлично. Можете идти.
- Куда?
- Крыс дрессировать.

(Надпись на полях. Другими чернилами: ...Уж позднее, позднее, много позднее узнал я, что Государь прекратил мышиную эту возню вокруг Пушкина. Что лично принял его, долго беседовал, простил все прегрешения. Что милостиво вызвался быть его цензором, вернул из ссылки и повелел служить отныне при Дворе. И «Дело» жандармское развалилось. Развалилось, но остался свидетель, от которого Бенкендорфу необходимо было избавиться во что бы то ни стало.

Свидетелем был я.)

Свеча десятая

И вновь я в своем каземате. Вновь — обязательные версты от двери до окошка, Библия, кашель, щи дважды в день и вполне дисциплинированные крысы. На подкормку приходят строго по команде, когда постучу. А потом — по норам, и не видно их. До следующего моего приглашения.

...Не бойтесь одиночества, дети мои. Весь мир одиночество самым тяжким наказанием полагает, и для очень многих оно и впрямь ужасно. Но надо себя преодолеть, тогда оно из наказания способно превратиться в самоуглубление. Высшую форму существования самодостаточной личности. Вспомните древних философов, святых отшельников, мудрых монахов-затворников. Если ты умеешь размышлять, сам себе вопросы задавать и отвечать на них, спорить сам с собой, а в спорах сих новые истины открывать, ты — самодостаточен, и никакой каменный мешок тебе не страшен. Одиночество снаружи куда легче одиночества внутри, если душа твоя научена трудиться...

Странно, но, думая обо всем, что только в голову приходило, я ни разу не только не задумался о последнем свидании со своим дознавателем, но и вообще не вспоминал о нем. Его высокопревосходительство генерал Бенкендорф настолько прочно вбил в меня два основных вопроса, на которые ждал ответов, что все остальное представлялось мне лишь отвлекающим или, наоборот, побудительным маневром, чтобы подтолкнуть меня к этим ответам. Своего рода шенкелями представлялось, посылающими меня на двойной прыжок. Вот почему я напрочь выбросил из головы последний допррс, а заодно и свою собственную подпись, впервые с меня востребованную.

...Я размышлял о личности. Не о ее влиянии на историю или там общество, а на ее зарождение, становление, рост и осознание самую себя таковой. То ли потому, что я возгордился, ощутив в себе зачатки ее, то ли из-за душою расслышанных слов отца поняв вдруг, что я есть не просто говорящее, кое-как соображающее и даже немного размышляющее двуногое животное со вложенной в меня душою Божией, а некое звено между прошлым и будущим. Меж дедами и внуками, меж «Я» и «МЫ»: семья, род, клан, если угодно. А поняв это, понял и то, что коли звено я, то, стало быть, должен, обязан пред прошлым и будущим быть крепким, прочным и — без единого ржавого пятнышка. Ни внутри, ни снаружи.

Вероятно, в этом и заключено содержание чести. Не внешней, не для показа другим, а безупречной прежде всего для цепочки рода собственного. Для всех предков и всех правнуков, ибо тем я умножаю общую копилку внутренней силы рода своего, а не заимствую из нее на потребу дня сегодняшнего. Признаю, путано излагаю, но сейчас, сейчас соображу.

Солдаты любят говорить, что-де «на миру и смерть красна». Они — крестьяне, и мир для них — община. Дворянин так никогда не скажет, поскольку «красота» гибели ни-

сколько не уменьшается для него и при гибели в одиночестве, один на один с врагом. Например, на дуэли. Почему такое различие в оценке собственного достоинства? Не потому ли, что дворянин никогда не бывает сам с собой наедине? Он обладает исторической памятью, коли родители не поленились вложить ее ему в детстве. Крестьянин лишен этого: далее деда он вряд ли кого помнит. Да и нет нужды у него запоминать их, потому что они делали то же самое, что делает он: трудились на господской ниве до седьмого пота.

Историческая память — основа доблести потомков. Родник чести их, достоинства, гордости и отваги. И если мужик в силу каторжного однообразия труда своего лишен возможности черпать из прошлого примеры особого служения Отечеству, то дворянин не только имеет такую возможность, но и обязан приумножать ее всю свою жизнь для передачи детям своим и внукам своим очищенного и углубленного им лично источника родовых традиций и примеров. А на это способна только личность.

Так что же тогда такое — личность?

Личность есть человек, внутренне, душою своею осознавший себя как звено истории рода своего, а следовательно, и Отечества в целом.

Вот о чем размышлял я в каземате Петропавловской крепости. Размышлял путано и непоследовательно после странного вопроса с подписью вопросного листа. И записал тоже путано и непоследовательно, потому что не дано мне способности ясно излагать мысли свои. Ни в беседах, ни на бумаге тем паче. Это в уме они ладно складываются, а в яви — прощения прошу. И нить рвется, и слов не хватает. Ну, уж как есть, дети мои...

А так — в действительности, не в раздумьях — ничего не происходило, пока ручьи не потекли. Но зажурчали ручьи — и распахнулись двери каземата.

— Собирайте вещи, Олексин.

— Куда?

— Куда повезут.

«Сибирь!.. — почему-то билось у меня в голове, пока собирал я свой скромный скарб. — Сибирь...»

Сунули в зашторенную карету, повезли. Со мною в ней какой-то немолодой капитан трясется, вздыхая и охая. На козлах рядом с кучером — жандарм, позади... Нет, никого вроде позади нету. Значит, не под конвоем везут, а «в сопровождении». Значит, не в Сибирь, слава Тебе, Господи!.. Не в Сибирь!..

Из Санкт-Петербурга выехали и неспешно куда-то затряслись. Неспешно лошадей на станциях меняли, неспешно молчаливый капитан меня обедами кормил, угрюмо отмалчиваясь на все мои вопросы. И на третьей, что ли, станции я наконец-то сообразил, что едем мы прямехонько во Псков.

— Во Псков путь держим? — спросил.

Вздыхнул капитан. Весьма недовольно.

— Во Псков, во Псков. Оставьте вопросы свои, не желаю я разговаривать. Ни разговаривать, ни отвечать даже. У меня — жена, дети, год служить осталось...

До самого Пскова ехали молча. А перед ним на последней станции задержались по воле угрюмого сопровождающего моего, все помыслы которого в одном девизе заключались: «Абы дослужить». И — как понял я позднее — для того лишь задержались, чтобы въехать в город в синих весенних сумерках.

Ну, наконец приехали. Думаете, в тюремный замок? Я тоже так думал, а оказалось — на гарнизонную гауптвахту.

И я вздохнул с огромным облегчением. Гауптвахта — это все-таки армия. А не жандармский голубой корпус.

Сопровождающий меня под расписку начальнику гауптвахты сдал — тоже, кстати, капитану и тоже — немолодому. И укатил в своей карете восвояси, едва кивнув мне.

— В чем дело, капитан? — спрашиваю, когда меня начальник лично доставил в очередной каземат для строгого содержания. — Меня ведь к вам — прямо из Петропавловки.

— Знаю, Олексин, — вздохнул он. — Приказано содержать вас на строгом режиме, но на полном армейском довольствии. Прогулки запрещены и разговоры с вами — тоже. На сколько времени, мне неизвестно. Так что прошу потерпеть.

И вышел, дверь снаружи заперев на висячий замок, что я определил натренированным ухом своим.

Свеча одиннадцатая

Свеча горела. Толстая, армейская. И каземат тоже был армейским: из кирпича, а не из камня. Окно забрано решеткой, такую бы я согнул, даже ослабев на жандармских харчах. Каземат — сухой, койка — армейская. С армейским одеялом, офицерской простыней — впервые! — и подушкой с чистой наволочкой. Все это я мгновенно оценил, уже немалый опыт имея, а оценив, окончательно удостоверился, что жандармы от меня отступились, возвратив в армию. Разбирайтесь, мол, сами.

Почему? Почему же они меня из лап своих мохнатых выпустили?..

Вот эта непонятность и мешала радости моей. То есть я ее, конечно, ощущал, но не осознавал, что ли. Мерил очередной каземат шагами и думал, думал. Вспоминал, сравнивал, понять пытался.

Меня терзало полное непонимание причин того, что вдруг произошло. Может быть, арестовали Пушкина и я стал им больше не нужен? Нет, это вряд ли. Пушкин надписи «На 14 декабря» и в глаза не видал, доказательств противного у жандармов нет, и тут им без меня никак не

обойтись. Тогда что же? Моим объяснениям поверили, посадив в кутузку патриота коннопионера? Тоже маловероятно, доносчиков они не сажают: кто же тогда доносить-то им станет? Вступился кто-либо за меня? Но кто же вступится, когда батюшка мой во втором ударе?.. Может, с батюшкой что приключилось? Может, батюшка мой... помер батюшка, потому и отпустили меня?.. Нет, нет, быть того не может, потому что батюшку в Санкт-Петербург перевезли: Бенкендорф сказал, что матушка моя его лично о свидании просила... Нет, конечно же, нет. Не потому я сейчас во Пскове оказался.

А тогда — почему? Почему я во Пскове да еще на армейской гауптвахте?..

Совсем запутался я тогда, но вовремя правильное решение выбрал. Опять себе приказ отдал, отцовский завет исполняя. Лег и уснул. Даже без сновидений.

Утром — по заведенному порядку. Молитва, три версты парами шагов по кирпичному полу. Бритье на ощупь.

А тут и завтрак солдаты принесли. Хорошая миска гречневой каши с конопляным маслом, хлебушка вволю, солдатская кружка... крепким чаем заваренная. Чаем! Глазам своим не поверил — вкусу поверил. И аромату. Откуда? Солдатам китайский чай не положен...

Оттуда. Из братства офицерского, вот откуда. Всхлипнул я, признаться. Не удержался...

Четыре дня и пять ночей так отсидел. Просох изнутри, кашель на убыль пошел. И отъелся малость. Не столько, может быть, отъелся, сколько чувство постоянного голода утолил. Привел, так сказать, организм свой в некое равновесие.

А днями опять крыс обучать пришлось. Но я уже имел опыт: одну подстерег, ботфортом ее о стену шмякнув, другие опасаться стали. И начал я их заставлять появляться передо мною только по моему сигналу. На кормежку. Поели

хлебушка и — марш по норам. Быстро привыкли, твари сообразительные.

Да, так на четвертый день — после завтрака уже — распахивается дверь. Начальник гауптвахты. Тот самый, что меня встречал.

— Сегодня к четырем пополудни приказано доставить вас под конвоем в полк. На суд офицерской чести.

— На суд?..

Помолчал капитан. Сказал тихо:

— Я карету для вас достану, Олексин.

И вышел.

Арестанту — карету. Чтоб не вести меня через весь город под конвоем. Единственное, что он мог для меня сделать.

Кроме крепкого чаю, разумеется.

...Ох, милые, любезные сердцу моему потомки мои! Не могу я писать о суде чести. Не могу. Я — офицер, сын офицера, внук офицера, правнук... ну, и так далее. Я — оттуда родом, из офицерского братства России. Я никогда законов его не нарушал, ни в чем я не повинен пред товарищами моими, но... Но приказано было сие свыше, как я потом узнал. Свыше приказано, а посему и судьба моя была предрешена. Приговорен был я еще до решения офицерского суда... А потому просто перескажу вкратце, в чем меня обвинили да чем все закончилось.

Обвинили меня ни много ни мало, как в противуправительственной деятельности. А заключалась она в том, что я вел со своими солдатами разлагающие и смущающие души их беседы о воле. О том, что они — граждане России, а не холопы помещиков своих, и дети их тоже будут гражданами, а не рабами. И все однополчане мои, друзья и сослуживцы помалкивали, головы опустив. Один только юный прапорщик княжич Лешка Фатеев, неизвестно за какие провинности в наш армейский полк переведенный, вскочил и выкрикнул:

— Как же не стыдно вам, господа офицеры! Да Олексин честнее любого из всех, здесь присутствующих!

Осадили его. Он не соглашался, с места вскакивал. Тогда приказали тотчас же покинуть собрание. Вышел Лешка Фатеев весьма демонстративно. Милое мое «ваше сиятельство»...

Двое штаб-офицеров выступили, как и полагалось им выступать. Пробурчали что-то маловразумительное, осуждая непопозволенную революционность мою. Потом поспешно перерыв объявили, вроде как бы для совещания. И во время этого перерыва меня наш полковой врач Аристов Семен Семенович к себе в кабинет увел. Для того, полагаю, чтобы я с офицерами не якшался.

— Батюшка ваш, поручик, болен весьма опасно.

— Что значит «весьма опасно», Семен Семенович?

— А то значит, что разрушительный удар, голубчик, — вздохнул Аристов. — Я осматривал его, когда Наталья Филипповна, матушка ваша, из поместья в Санкт-Петербург его везла. Правда, он — в полном сознании, но речь его измята изрядно.

— Есть ли надежда?

— Надежда есть, как врач вам говорю. Ему покой нужен, полный покой. Я просил командира полка повременить с этим судом, чтобы больного побережь от неприятностей, но... — Семен Семенович беспомощно развел руками. — Сказал, что не в силах он исполнить сие. Так что мужайтесь, поручик, мужайтесь.

— Но, Семен Семенович...

— Мужайтесь, Олексин, — подавив вздох и, как мне показалось, весьма значительно сказал наш добрый полковой врач.

Тут кликнули, что пора возвращаться к продолжению заседания, и мы прошли в залу.

Приговор зачитали как-то чересчур уж поспешно. Я стоял, и вместе со мной в зале стояла гробовая тишина. А высокие судьи ни разу голов не подняли, а если и поднимали их, то изо всех сил смотрели мимо меня.

Суров был приговор. Лишение офицерского звания и ссылка в действующую на Кавказе армию рядовым солдатом.

Кажется... Да нет, что уж там кажется, когда — точно. Точно в глазах у меня потемнело, сердце вроде остановилось, и... и качнулся я даже.

— Он же грохнетя сейчас! — вскочив, крикнул подпоручик Гриша Терехин.

Бросился ко мне, поддержал. Кто-то воды принес. Выпил я полный стакан, и все вроде бы назад вернулось.

— Благодарствую, — говорю, — господа офицеры.

А председательствующий, молчавший во время этой легкой сумятицы, дочитал последнюю строку приговора:

— Приговор офицерского собрания вступает в силу после Высочайшего его утверждения Государем Императором. До сего утверждения определить поручику Александру Олексину содержание на гарнизонной гауптвахте.

Вот и все. Крест на военной карьере. Но я о себе не думал. Я думал о бригадире своем и о словах Семена Семеновича Аристова, полкового врача: «Ему покой нужен. Полный покой».

Шум поднялся среди господ офицеров. Все громко говорили, что приговор сей неоправданно суров, а вернувшийся княжич Лешка Фатеев пытался собирать подписи однополчан под петицией Государю. Но тут вошел караул, и я был препровожден на гауптвахту. Правда, в карете, а не пешком через весь город Псков.

Как уж там себя чувствовал, сами представьте. Представьте, что вы только что услышали смертный приговор собственному отцу с отсрочкой казни на неопределенный, но очень небольшой срок.

И все же внутренне не верил я, что Государь может утвердить такое постановление полкового офицерского собрания. Полагал, что командиры полковые со страху рубанули по самому высшему разряду в надежде, что наверху

отменяют их решение, а усердие — запомнят. Для России подобные случаи уж давно и не случаи, а — норма. Перестараться куда как безопаснее, нежели недостараться: этот закон неписаный не только среди чиновников популярен весьма, но и всюду, где приходится самим решения принимать. За перегиб у нас журят с улыбкой, за недогиб — с отмашкой бьют.

Так думал я о своей судьбе: человек и за былиночку хватается, когда в пропасть летит. Так что особо беспокоиться у меня причин вроде как бы и не существовало: я их судорожно надеждой драпировал. А вот за батюшку — были, и я о нем куда больше тогда думал, чем о себе самом.

Но порядку не изменил ни разу. Подъем с зарею, молитва, версты, бритье...

Не помню уж, сколько дней так прошло — мало, очень мало! Только однажды распахнулась дверь темницы моей, и вошли судьбы мои во главе с командиром полка. А за ними — и наш псковской губернатор. И сердце у меня оборвалось: неужто с батюшкой что?..

Слава Богу, нет!..

— Батюшка ваш чувствует себя неплохо, — торопливо сказал командир полка, лицо мое увидев.

А заместитель его тотчас же добавил, что меня в Москву отправляют, поскольку именно там формируются команды в действующую на Кавказе армию.

Стало быть, убеждены были, что Государь их решения не отменит. Заранее убеждены!

— Так что мы, так сказать, попрощаться зашли, — пояснил секретарь суда.

Хотел я на прощанье от всей души послать их... Покуда

не солдат еще. И рот уж раскрыл, да не успел. Губернатор перебил, какую-то бумагу достав:

— Александр Ильич, ко мне документ поступил, вполне официально заверенный, из коего следует, что даруете вы полную свободу своему человеку Савве Игнатову. Вы подтверждаете это?

— Да.

Только и смог из себя выдать.

— Я так и подумал, а потому и вольную ему оформил, как положено. Извольте подписать.

Я подписал. Полную волю молочному брату. Клиту моему.

— Прощайте, Олексин. Дай вам Бог...

Господа офицеры честь мне отдали, губернатор обнял, и все удалились друг за другом гуськом.

И тотчас же в открытую дверь вошел молоденький прапорщик:

— Приказано доставить вас в Москву.

Свеча двенадцатая

В первопрестольную мы с прапорщиком ехали в кибитке, которую губернатор мне предоставил. Я больше молчал, прапорщик трещал, а кучер кнутом щелкал да лошадь кучерскими словами подбадривал. Так и прибыли на московскую гауптвахту. Не в каземат, а в охраняемую казарму, где сидели солдаты. И все — без амуниции.

А меня попросили только отстегнуть шпоры: устав, мол, требует. И разместили в огороженном закутке той же солдатской казармы. Там уже находились двое солдат, вытянувшихся при появлении дежурного офицера вместе со мною.

— Здесь вам надлежит ждать, когда соберется команда на Кавказ, — сказал дежурный и вышел.

А солдаты не садятся. Смотрят на меня во все глаза.

— Здорово, — говорю, — братцы. Теперь мы с

вами — в одном строю, и я такой же рядовой, как и вы. Так что не вскакивайте.

Помолчали они, переглянулись. Потом старший спрашивает:

— За что же вас, ваше благородие?

— За дуэль, ребята, — не объяснять же им про «Андрея Шенью». — Так что зовите просто Александром Олексиным. Или — Александром Ильичом, если вам так удобнее.

Познакомились. Старший — Пров Скольшев — за то на Кавказ угодил, что сапоги казенные пропил. Служил в Москве, тихо и послушно служил, а тут земляк заявился да прямо с порога и брякнул:

— Дуньку твою барин на вывод продал.

— Сильно любил я ее, — рассказывал Пров. — И она меня жалела, ждать с солдатчины обещалась. Да не понравилась, видать, барину любовь наша. Меня — в солдаты, ее — неизвестно куда, неизвестно кому. Ну и запил я с горя черного. И казенное имущество на штоф горькой сменял.

Это уж позднее, когда привыкли они ко мне. Крестьяне долго присматриваются, нескоро привыкают. А солдаты — те же крестьяне, только в военной форме.

— А тебя за что? — спрашиваю у второго.

Молодой еще, глаза ясные и одновременно — лукавые. Вот такой парадокс. Егором, помнится, звали.

— Да по глупости.

Засмутился, а Пров пояснил:

— Кровь разыграла, весну почуяв. Денщиком у майора служил да и с горничной в его же доме перемигнулся, а потом и вовсе к ней в каморку залез. Ну, а майор тот, видно, тоже не промах насчет той горничной оказался, вот, стало быть, и не поделили они жаркую бабенку. В чем тебя майор обвинил?

— Да будто я у него табакерку украл.

— Вот-вот, — вздохнул Пров. — Как от человека избавиться? Обвиновать его, и избавишься.

Обвиноватить и избавиться, подумал я, собственную судьбу представив.

По пути из Пскова в Москву под болтовню зачарованного собственной юностью прапорщика я, как мне показалось, понял, что со мною произошло. А то произошло, что господам в голубых мундирах никакого «Дела» против Пушкина сочинить так и не удалось. Главный их козырь — то бишь я — им в масть не пришелся, как они карт ни передергивали. Да еще два свидетеля — Савка, братец мой любезный, и честный станционный смотритель — подтвердили мои слова, что я выиграл у пионер-поручика список «Андрея Шенье», а не он у меня, и «Дело» развалилось. И чтобы не болтал я по гостиным да салонам об их способах признания осклизлыми казематами вышибать, они раздули мои беседы с солдатами чуть ли не до государственной измены. Похоже, что «обвиноватить да и избавиться» и есть та правовая основа, на которой твердо стоит все российское чиновничество.

В России судьба человека — нуль в сравнении с благополучной карьерой. Нуль. Ничто.

Я и на солдатской гауптвахте не изменил своим привычкам. Вставал с первыми проблесками, вслух читал «Отче наш», отмеривал версты и брился на ощупь каждый день. Солдаты поначалу снисходительно приняли все это за очередное барское чудачество — я ведь в офицерской форме ходил, хотя порядком таки уже обтрепанной, — а потом и самого меня приняли таким, каков я есть. Даже с уважением за малопонятное постоянство мое.

А форма сильно пострадала, когда нас какие-то доски разгружать направили. Правда, дежурный офицер сказал, что меня приказ сей не касается.

— Нет уж! — говорю. — Коли с солдатами я, то и лямка моя.

И пошел грузить. И несмотря что ослаб, что кашель

порою донимал, сила еще осталась. Было что показать, и я — показал. Один по четыре доски таскал, когда остальные — по три вдвоем. Но — справился, показал силушку, и вся казарма вставала теперь не потому, что форму мою видела, а потому, что содержание мое разглядела.

Вот на этой-то работенке я и порвал мундир. В двух местах и — безнадежно.

— Сымай, — сказал Пров. — Шить-то умеешь, Александр Ильич?

— Не приходилось.

— Ну, тогда учись.

Я глядел, как тщательно и точно он подшивает. С изнанки, края подогнув. Прочно, в две нитки, мелкими стежками.

— Ловок ты, Провушка.

— Солдату без этого никак невозможно, Александр Ильич. Я тебя научу, пригодится.

Казарма наша постепенно наполнялась. Офицер объяснил мне, что, как только соберется около сотни, нас направят пешим порядком в Новочеркасск. И — далее, куда там велят.

— И долго шагать?

— Двадцать пять верст в день. Вот и считайте.

Считать мне не хотелось, поскольку в своих ботфортах, порядком уж в казематах истоптанных, я бы и двенадцати верст не прошагал. Да и Пров это подтвердил:

— Обувку тебе менять надобно, Александр Ильич, а то дале городских застав и шагать не в чем будет. Солдатские сапоги добывать, портянки хорошо бы бязевые.

— Так теплынь уже.

— А пот с ног кто забирать будет? Портянка. Коли не заберет она, то и не дойдешь. Ноги до язв сопреют, шага не ступишь. Только без денег солдатские сапоги отдельно от всей формы не достать.

А денег у меня с собою не было: не знал же, сколько просижу. Я дежурному офицеру доложил, а он посоветовал письмо написать, сказав, что оказия в Петербург намечается.

Я написал матушке. Расспросил о здоровье батюшки, о своем солдатском житье доложил и попросил прислать денег.

И продолжал пребывать на гауптвахте в ожидании то ли похода в Новочеркасск, то ли государева решения. Рыл вместе с остальными проштрафившимися солдатами какой-то котлован, грузил землю на подводы и даже два раза дежурил по кухне, таская кашеварам воду. Не скажу, чтобы работы эти особо тяготили меня, но ботфорты поползли уже прямо на глазах.

— Починим, — сказал Пров. — Учись, Александр Ильич, в солдатчине все сгодится.

И я учился. К тому времени Егорку перевели в особую казарму, где собиралась команда для кавказской армии. И в закутке мы остались с Провом вдвоем.

— Гляди, Александр Ильич, и запоминай, как деревянные гвоздочки делать. Повдоль, а не впоперек, и лучше всего — из осины. Осина гнить не любит.

Чинить собственную одежду я под руководством Прова уже наловчился. И даже приобрел привычку осматривать ее перед сном и тут же латать те прорехи, которые обнаруживал.

— За солдатом его собственный унтер-придира приглядывает, — говорил Пров. — Больше некому.

И вот как-то после работы появляется дежурный офицер:

— Пожалуйте со мной, Олексин.

Я сразу насторожился: неужто свобода?..

— С вещами?

— Нет. Свидание у вас.

— Свидание, прапорщик? С кем свидание?

Но прапорщик не ответил. И внимания не обратил, что я обращаюсь к нему как-то не по-солдатски, хотя числюсь рядовым. Стало быть, бумаги государевой, лишающей меня офицерского чина, они еще не получили...

— Сашенька, свет мой!

Полиночка. С плачем бросилась на шею, да и у меня,

признаться, запершило в горле. Обнял ее, расцеловал, шепнул:

— С батюшкой что? Жив?

— Жив, Сашенька, жив, — Поляночка вздохнула. —

Хотя...

И замолчала.

— Что — хотя?

— Плохо ему, Саша. Потому-то маменька при нем и осталась, а послала меня. Я деньги привезла.

Свидание нам в час определили. И весь час мы друг друга расспрашивали и друг другу отвечали. Господи, как же незаметно тот час пролетел...

— Я буду ждать, Сашенька. Терпеть, тосковать, молиться и ждать. Дай тебе Бог раны легкой.

«Или — чтоб наповал».

Но это я, разумеется, про себя усмехнулся.

Уехала Поляночка.

На другой день... Нет, через день после этого свидания меня прямо с работ вытребовали к начальнику гауптвахты.

— Государь изволил наложить на приговор офицерского суда резолюцию «Согласен».

Сжало мне сердце, аж глаза закрыл от боли. Постояли мы так, помолчали. Потом отпустило. Я сам с себя погоны снял и на стол положил.

— Разрешите обратиться, господин майор?

— Оставьте это для строя, Олексин, — вздохнул майор. — Что желали узнать?

— О форме солдатской. Моя совсем в ветхость пришла.

— Вас сегодня же на сборный пункт переправят, там и форму выдадут. В карете поедете, Олексин, в карете. Не вести же вас под ружьем через всю Москву.

И в тот же день меня в санитарной карете перевезли в казармы над Москвой-рекой, где комплектовалась команда в действующую на Кавказе армию...

Свеча последняя

По прибытии сопровождающий прапорщик передал меня с рук на руки начальнику сборного пункта. Немолодому и невеселому подполковнику с диковатым шрамом на щеке.

— С пушками знакомы?

— Так точно, господин подполковник.

— Рано вам, Олексин, тянуться в струночку. Успеете еще. Хотите в горную артиллерию?

— Нет.

— Почему? — удивился начальник пункта. — И рост у вас, и силенка подходящая. Да и легче в артиллерии служится.

— Мне солдатский «Георгий» нужен, подполковник, честно вам скажу. А в пехоте его куда быстрее заслужить можно, нежели рядом с пушкой.

— Быстрее, но опаснее, — он дотронулся пальцем до шрама. — Это оттуда память, Олексин. Там совсем иная война. Особая. Не такая, о которой баллады слагают, и не такая, о какой в Корпусе рассказывают.

— Мне терять нечего.

— Отвагой прощения добиться решили? Молодецкое решение, хотя и рискованное весьма. Зачислю в первую роту. С Богом, Олексин.

И неожиданно обнял меня. Тепло, по-отцовски.

И пошел я в первую роту. В ней не работали, в ней — учились от подъема до отбоя. Строевой, штыковому бою, стрельбе залпами, стрельбе плутонгами и даже стрельбе в одиночку, по мишеням. Это меня удивило, потому как по мишеням в одиночку стрелять в армейских полках не обучали. Видно, и впрямь Кавказская война иной была, не такой, как Отечественная.

Уже на второй день меня от общих занятий освободили. И шагать в строю я умел, и в штыковом бою равных мне не оказалось, и три мишени на первых же одиночных

стрельбах я в самое «яблочко» поразил. Назначили старшим в отделении из десяти солдат, и теперь я их учил под общим наблюдением нашего ротного командира.

Сухой был поручик. Может, от природы, может, по семейным обстоятельствам, может, потому, что в чине застрял. Ему при его годах уж в майорах быть бы полагалось, никак не меньше. Меня он за разжалованного офицера не признавал, даже наедине ни разу улыбки не выдавив. Придирался, как ко всем, но поводов для этого я ему не давал. Я никогда особо не стремился быть отличным офицером — все шло как-то само собой. Но стать отличным солдатом цель перед собою поставил. И служил не за страх, а за совесть.

Так продолжалось дней десять—двенадцать, что ли. Я, помнится, солдат штыковому бою учил, когда прибежал вестовой и что-то сказал поручику.

— Олексин!

Я подбежал, вытянулся:

— Так точно, господин поручик!

— К подполковнику. Бегом!

Помчался я вслед за вестовым. Прибежал, представился подполковнику по всей форме. Он по всей форме рапорт выслушал и велел пройти за ним.

Зашли в канцелярию. Он плотно дверь прикрыл и — мне, весьма удивленно:

— Приказ получил, Олексин. Вам разрешается следовать до Моздока вольно, в статском платье. Срок — месяц, но от маршрута отклоняться категорически запрещено.

— А на чем следовать? На почтовых?

— Нет. Вестовой сейчас ваши вещи доставит и проводит до постоянного двора. Там вас тарантас с кучером ожидает.

— Тарантас?!

Подполковник вышел, не ответив. Отдал приказ вестовому, вернулся. Снова дверь прикрыл.

— Чудеса! Деньги-то у вас есть на дорогу?

— Есть.

Ничего я не понимал, и что-то мне не соображалось тогда. Стоял и глазами хлопал.

Подполковник полез в шкафчик, достал бутылку водки и два стакана. Мне полный налил, а себе — на доньшке.

— Ну, Олексин, это ведь что-то значит, а? Дай-то Бог. Дай-то Бог тебе, Сашка Олексин. Ты же для меня не кто-нибудь. Ты — сын моего первого командира Ильи Ивановича.

Чокнулись мы и выпили. Зажевали хлебушком. Подполковник все головой качает:

— Что бы это значило, а? Может, Государь передумал? Приедешь в Моздок, а там — офицерские погоны ждут.

— Не знаю, — говорю. — Только вряд ли.

А сам улыбаюсь на все зубы. И от хмеля, и от счастья солдатского.

Вестовой вернулся с моими вещичками. Обнялись мы с подполковником.

— Спасибо вам, подполковник. Век не забуду!

— Дай тебе Бог, сынок...

И пошли мы с вестовым на постоянный двор. Где-то на Спасской заставе. Нашли наконец.

— Иди прямо к хозяину, — говорит вестовой. — А я пошел. С Богом!

— С Богом, — говорю.

Почему у меня сердце забилося вдруг? Предчувствие, что ли?..

Взбегаю на крыльцо, распахиваю дверь. Хозяин с каким-то молодым бородачом чай гоняют. Я и рта не успел раскрыть, как вдруг вскакивает бородач:

— Александр Ильич?!

И — мне на шею.

Савка. Молочный брат. Клит мой верный.

— За такую встречу — и штоф не во грех, — улыбается хозяин, вставая из-за стола.

— Не твоя то забота, Поликарпыч! — кричит Савка и бросается в угол.

Гляжу — там сундучок мой походный, погребец, узлы какие-то, корзины. А Савка из сумки бутылку шампанского достает.

— Грешно, конечно, такие денежки из стаканов пить, но — надо. — Открыл бутылку, разлил и — вдруг: — Шампанское это я на свои кровные купил. Затем купил, Александр Ильич, чтоб моим первое слово было. И слово то — спасибо тебе великое и за меня, и за деток моих будущих. Вольный ведь я теперь. Вольный!..

И поклонился мне в пояс. Я обнял его, расцеловал.

— Как случилось-то, что ты здесь оказался, Савка?

— А так случилось, что разыскал меня офицер из полка. Прапорщик Фатеев...

— Княжич?

— Да ну?.. Не знал я, а ему ведь «ваше сиятельство» полагалось говорить. Прощения попрошу, коли свидимся. Я во Пскове постоялый двор приглядывал, хотел извозом заняться, как отец мой. Ну и в полк навевывался, о вас спрашивал, вот княжич и пришел, стало быть. Иди, говорит, сейчас же к командиру полка. Об Олексине, мол, какая-то бумага пришла неожиданная. Я — бегом. Полковник говорит: бариону твоему, мол, разрешение пришло самому до Кавказа добираться. Ну, я и решил, что вам со мной, пожалуй, сподручнее будет Россию поперек колесить. Так, Александр Ильич?

— Спасибо, — говорю, — брат. Что о батюшке знаешь?

Вздыхнул мой Савка:

— Хорошего мало, Александр Ильич, но жив покуда Илья Иванович. Жив...

Наутро выехали мы с Савкой, до зари проговорив. О моих казематах и допросах, об Антоновке и Опенках, о наших матушках и батюшках. И о кишиневской юности нашей. О маме Каруце и цыганах, о Белле и Урсуле, о Равском, Дорохове, Светле...

— А чего бы тебе не жениться, Савка? — говорю. — Антоновкой управлять будешь, пока я солдатчину свою не отслужу. Любую бери, какая глянется.

— Я сперва на ноги встать должен, — сказал Савка. — Вот уж дело свое заведу... Да и потом, Александр Ильич, яблочки, тобою надкусанные, мне вроде не с руки подбирать.

И завалился на другой бок. Я рассмеялся, но как-то виновато, что ли, прямо скажем. И подумал, до чего же глубоко мы их обидели, мужиков-то наших. Лет на двести вперед обидели...

Ну, а потом выехали. С утра пораньше.

В бумагах, разрешающих мне проезд, содержалось одно неперемное условие. Я был обязан отмечаться во всех крупных городах либо у воинского начальника, либо у губернатора. Но это нисколько не стесняло. Савка прихватил мою статскую одежду, я ехал как помещик Олексин «по служебной надобности», и местные власти не только никаких препонов нам не чинили, но и принимали с размахистым русским гостеприимством, искренне радуясь гостям почти что из обеих столиц разом. А местные помещики и Савку за стол сажали неперемнейшим образом. И мы, признаться, не спешили.

А у меня добрую тысячу верст не шла из головы нежданная государева милость. Ведь не бывает же, быть не может, чтобы он — Он! — совсем недавно суровую руку приложивший к судьбе моей, по какой-то причине сам же и облегчить ее решил. Или — согласие дал, чтобы кто-то облегчил, поскольку самой бумаги я так и не видел: выписку из нее мне показали с главным словом «Дозволяется». Нет, кто-то Государю напомнил обо мне, кто-то упросил не добивать уж окончательно потомственного дворянина Олексина пешим маршем поперек России всей. Только так могло быть, только так.

Но тогда — кто? Кто хлопотал за меня, рискуя гнев императорский на себя навлечь? Бригадир мой, любимый и

единственный? Нет, не мог он, речи и движения лишенный, никак не мог. Будущий родственник-генерал? Вряд ли, не в его натуре поступок столь энергический, поскольку был он вяловатым и застенчивым, света почему-то не жаловал, сторонился его, из деревенок своих с великой тоской выезжая. Тогда — кто же, кто? Кто, кому заботою я обязан на всю жизнь свою?..

Долго это меня мучило. А потом как-то забылось и улеглось на дно памяти...

В забывчивости этой одна встреча свою роль сыграла, поскольку мысли в растревоженной душе сами по себе на дно не опускаются, а как бы погружаются в нее, оседают, уходят с поверхности, иными тревогами замещаясь. Вот и у меня одно другим навсегда заместило на какой-то Богом забытой станции за городом Воронежем.

Никуда не торопясь, мы и не спешили, как я уже отмечал. Бежали лошадки ленивой трусцой, поскрипывал тарантас ленивыми скрипами. И мы зевали ленивой зевотой, сменяя друг друга на козлах, чтобы подремать под навесом, прячась от дорожной пыли и жаркого степного солнца. Встречных повозок, а уж тем паче экипажей почти не было. Пропылит пролетка с атаманским местным начальством, с натугой проскрипит чумацкий обоз, да редко когда обгонит почтовая тройка.

А тут — фельдъегерская обогнала вскоре после того, как мы с какой-то станции выехали. С трубачом впереди, нас ревом трубы своей поприветствовавшим.

— Поспешает, — сказал Савка.

— Курьер с пакетом, — согласился я, лежа под навесом. — Теперь уж не догоним.

Догнали.

Часа через два, что ли, подъезжаем к следующей почтовой станции — стоит фельдъегерская тройка. Трубач с кучером разговаривают, а самого курьера не видно.

— Чего застряли, ребята? — весело спросил Савка. — Или ось пополам?

— Видать, вас дожидаемся, — вздыхает кучер.

— Не вы ли господин Олексин? — трубач у меня спрашивает. — Так в избу ступайте.

«Вернуть меня приказано!..» — почему-то подумал я.

И сразу же в избу прошел. Там — подпоручик, нервно готовый к выезду. Перчатками по ладони похлопывает.

— Господин Олексин? На предыдущей станции справился и понял, что вы впереди на один перегон. Извините, подремал, вот и разминулись. Дешеша вам.

Разорвал я конверт, прочитал... И сел на скамью. Ноги мои подкосились.

— Что, неприятное известие? — спросил подпоручик.

— Батюшка мой скончался.

— Примите мои соболезнования...

Батюшка скончался. Бригадир Илья Иванович Олексин. И нет больше у меня бригадира моего, любимого и единственного. Нет больше...

Свеча погасла...

КАВКАЗ НАДО МНОЮ ПРОКЛЯТЬЕМ НАВИС

Последняя свеча погасла, а впереди меня ждали только марши. Марши, марши, марши. И отсчет теперь мне придется по маршам своим вести.

Первый марш

Уже за Новочеркасском, что ли... Да, да, на второй станции за Доном мы решили дать коням роздых, перед тем как пустынные степи пересекать. Когда-то здесь ногайцы кочевали, но Суворов беспощадно выгнал их на восток, поближе к калмыкам, а сюда велено было переселить казаков. Но переселялись они неторопливо, и степи успели обезлюдеть и задичать, дав приют лихим татям решительно всех племен и народов. Пустое место всегда сорняками зарастает.

Савка разыскал недалеко тихую речку с пологими берегами, на которых еще не окончательно высохли травы, где мы и решили передневать. Он поехал туда, а я задержался, поскольку не успел побриться до предложенного нам завтрака.

— Дозвольте, ваше благородие?

Урядник в дверь заглянул. Здесь, в области Всевеликого Войска Донского, уже не встречалось станционных смотрителей, обычных для России. Здесь уже были станционные начальники — старослужащие казачьего сословия при непрременной шашке на боку и седом чубе из-под сбитой набекрень фуражки.

— Что тебе?

— Барышня вас спрашивает.

— Барышня?.. Какая еще может быть барышня?

— Вчера поздним вечером с почтой прибыла. Почта спешила, а она от скачки растряслась да сомлела, почему тут и осталась. Жена моя в свою половину ее ночевать взяла.

Я вышел в горницу. У стола, весьма нервно меня дожидаясь, прохаживалась худенькая, более чем скромно одетая девица еле-еле за девятнадцать, коли судить по бледно-перепуганному виду ее.

— Господин Олексин?

Ага, значит, в книгу регистрации проезжающих уже заглянула. Мне такая практичность очень тогда не понравилась, и осведомился я весьма сухо:

— Чем могу служить?

— Спасением, господин Олексин, — шагнула ко мне и остановилась. — Спасением души и чести моей.

Хотя фраза показалась заготовленной, сказано было с такой искренней непосредственностью, что я невольно Полиночку свою вспомнил. Правда, внешне эта девица не весьма ее напоминала — разве что худобой да какой-то болезненностью, — но внутренне они почему-то совместились в моем представлении. Не случись этого — не случилось бы и последующего.

— Мне о вас добрая хозяйка много рассказала. Что холопа своего на волю отпустили, что с самим Пушкиным в больших друзьях состоите, что из-за дамы сердца многое претерпели...

Нет, тут не книга регистрации разоткровенничалась и даже не хозяйка. Тут вчера Савку несло безудержно под хмельные донские выморозки...

— Умоляю. Умоляю вас хотя бы выслушать. Он по пятам преследует меня...

Суетливая робость ее выглядела несколько назойливой, что ли, но я вовремя понял, что за этим — страх. Непонятный, но не приснившийся, а — присутствующий. Страх, что ее, как всегда, не выслушают, как всегда, отмахнутся от

нее и, как всегда, не поверят. И сначала ее следовало успокоить.

— Прошу вас сесть.

— Да?..

Она смотрела недоверчиво. Видно, гоняли ее все, на кого надеялась она, кому поверяла тайны свои. Но присела на краешек скамьи, всем телом подалась вперед и уже хотела что-то сказать, но я не дал ей возможности:

— Разрешите представиться. Олексин Александр Ильич.

Конечно же она знала не только, кто я таков, но и как меня зовут. Но мне хотелось продолжать беседу в менее напряженном регистре.

— Подколзина Вера Прокофьевна. Отец — из служилых дворян.

Из служилых — значит, безземельных. Таковых много было в наши времена, особенно — в южных губерниях. Они достались в наследство от турецких походов, когда казакам, а порою и солдатам широко жаловали дворянство за особую удачу в бою, но — как правило — без земли. И горше всех приходилось дочерям этих служивых: знакомств никаких, образование случайное и приданого нет.

— Меня взяли компаньонкой в добрый, хороший дом к добрым, хорошим людям. Но супруг моей патронессы приехал в отпуск и... — Вера опустила глаза, но продолжила: — Он начал преследовать меня. Нагло, не стесняясь больной жены. И мы решили, что я должна уехать. А ехать мне совершенно некуда, потому что отец мой погиб на Кавказе. Но моя хозяйка добыла мне письмо к бывшему начальнику отца генералу Граббе. И я поехала, но этот человек, майор Афанасьев, оставил жену и помчался следом. В Новочеркасске он настиг меня, я чудом отбилась и бежала, а деньги и дорожная остались у него...

Рассказ ее замирал, замирал и скончался окончательно. Может быть, потому, что я не задавал вопросов.

— Вот...

И безнадежно вздохнула.

— Ваш преследователь еще не появился?

Она очень обрадовалась, что я заговорил. Даже несмело улыбнулась.

— Почтовых ожидают к вечеру, и он наверняка придет с ними. Спасите меня, умоляю...

— Каким же образом я могу вам помочь, Вера Прокофьевна?

— Мне необходимо уехать до прибытия почтовой тройки. Но... Простите меня, Бога ради, мне нечем оплатить прогон.

Я поверил ей сразу. Не словам — состоянию ее. Состояние души сочинить невозможно.

— На станции есть оказия?

— Да. И как раз — до Кизляра.

— Собирайтесь, Вера Прокофьевна.

Я нашел урядника, оплатил прогоны до Кизляра.

— Поверили ей, стало быть?

— А ты — не поверил?

— Кто ее знает, — урядник пожал плечами. — Тут — середка: донцы еще верят, а кубанцы — нет.

— Что ж так?

— Тут война особая, господин хороший.

Мне совсем не хотелось слушать благодарственные возгласы и видеть благодарственные слезы, и я ушел к Савке. Он уже пустил на траву стреноженных лошадей, расстелил под ракитою рядно, и мы славно провели время до вечера. А возвращаясь, еще издали расслышали громкий и явно нетрезвый рык:

— Как смел отправить ее без подорожной!..

Майор Афанасьев был коренаст, волосат и уродлив, как человекообразная обезьяна. Увидев меня, заорал в новом приступе яростного бессилия:

— Расчувствовались, господин благодетель?

— Знаете, за что я сослан на Кавказ, майор? — Я улынулся этой горилле, как закадычному другу. — За дуэль. Так что укротите свой нрав, пока не поздно.

— Она обокрала мою жену в благодарность за при-

ют! — взревел майор. — Любопытно узнать, чем она расплатилась с вами...

Я ударил его по щеке. С силой и не раздумывая. Он отшатнулся и стал на глазах наливаясь кровью. Как клоп.

— Я вас предупреждал, майор.

Он молча пошел к выходу. У дверей обернулся:

— Я это запомню, Олексин. Запомню!..

И вышел, хлопнув дверью. Как выстрелил.

Второй марш

В Моздоке меня, так сказать, сняли с марша, приказав явиться в казарму сборного пункта, получить форму и... И тянуть потную лямку рядового стрелка в пока еще неизвестном полку.

Времени для прощания с Савкой мне дали совсем мало. Сидели в трактире, пили кизлярское — кстати, очень хорошее вино, рекомендую. Брат мой молочный плакал чуть ли не в голос, а я — еще в статском, еще на час еле-еле отпущенный для прощания — завидовал, что и зареветь не в состоянии.

— Может, мне здесь остаться, Александр Ильич? Может, квартиру сниму, так хоть поночуете когда.

— Матушка моя одна там, забыл? Я ей письмо напишу, чтоб определила тебя официально, с хорошим жалованьем, управляющим всеми нашими деревнями и землями. Справись?

Савка громко высморкался в платок, утер слезы. Подумал, вздохнул и сказал:

— Можешь не сомневаться, Александр Ильич.

И потому, что на «ты» ко мне обратился, я понял, что решение такое он и сам уже принял, и с делом справится. Парнем... Да нет, уже не парнем — мужиком он был грамотным, толковым и, главное, соображающим.

— Возьми у трактирщика бумагу и чернила.

Написал я письмо, выпили мы по последней, обнялись по-братски, троекратно расцеловались...

И пошел я в казарму. Форму получать.

Служба моя началась с полного безделья и ожидания, когда подойдут маршевые роты. С безделья потому, что начальник сборного пункта пожилой капитан без левой руки сказал:

— Нечему вас учить здесь, Олексин. А на вольное поселение отпустить права не имею.

— Тогда позвольте с солдатами позаниматься. Хотя бы стрельбой, что ли.

— Нет, Олексин, не позволю. Вам служить с ними, а ну как ненароком обидится кто на ваше учение? И не просите, здесь — война особая. Рассыпная война, я бы определил.

Проболтался я так с неделю и чуть умом не тронулся, ей-Богу. Существую по солдатскому уставу, а бездельничаю — по офицерскому: солдаты занимаются, а я — хоть гуляй вокруг них, хоть валяйся на нарах. Ну решительно нечего делать. И я вновь пошел к однорукому капитану.

— Понимаю, — проворчал он. — К лекарю нашему пойдете в помощники? От него вчера очередной помощник сбежал, так что вакансия свободна.

Вот так и сказал: «Вакансия свободна». Они тут вообще странно разговаривали, на Кавказе, но не в этом дело.

Мне бы, дураку, спросить, с чего вдруг очередной помощник сбежал, а я — обрадовался. И дело вроде нашлось, и при лекаре жить — не в казарме. Ему в городе квартира полагалась, и он кого-то там, по слухам, даже пользовал.

— С удовольствием, — говорю.

Лекарь Матвей Матвеевич был на редкость краснорож и сизонос. Я не придавал окраске должного значения, узрев в ней лишь влияние кавказского климата. День он меня учил порошки да мази готовить — толково учил, ничего не скажешь, потом пригодилось, — а еще через день, что ли, озадачил особым заданием.

— Вечером я по визитам пойду, пора уж, — бурчал он (он всегда бурчал, а не говорил). — Тебе, как помощнику, доверяю расставить по точкам по два стакана крепкого кизлярского.

— А где, — спрашиваю, — точки, Матвей Матвеевич?

А разговариваем мы на его квартире, и тут он начинает меня по ней водить. С разъяснениями.

— Первая точка — первое окно: два стакана на подоконник. Вторая точка — стол. Тоже два стакана. Третья — печка...

Ну, и так далее. Всего набралось восемь точек его встреч с визитерами. Я поначалу ничего не понял, только удивился, что сразу столько визитеров пожалует. Но поскольку все толковали об особенностях Кавказской войны, то я промолчал, подумав про себя, что так, вероятно, в Моздоке и полагается врачу занемогших принимать. И все в точности исполнил к его возвращению со сборного пункта.

К вечеру он явился чуть бледнее обычного.

— К визитам все готово?

— Так точно, Матвей Матвеевич.

— Все тогда. Спасибо. Свободен. Ложись спать. Я им сам двери открывать буду.

Свободен так свободен. Ушел я к себе за перегородку, взял, помнится, томик Загоскина с «Юрием Милославским» — у лекаря на кухне нашел — и завалился в койку.

Лежу, читаю. Никто не стучит, не звонит, двери не хлопают. Что-то не торопятся визитеры, думаю.

И вдруг слышу из-за перегородки приветливый голос Матвея Матвеевича:

— Рад, сердечно рад видеть вас, Иван Сергеевич. Как супруга ваша, детки?

С кем же это он? — думаю. Дверь не стукнула, шагов не слышно...

Встал на койку, за перегородку заглянул...

— На что жалуетесь, любезный Иван Сергеевич? Кашель замучил? А вот, пожалуйста, микстуру...

Смотрю и глазам не верю: у окна, в первой «точке» — один Матвей Матвеевич со стаканом в каждой руке.

— Ваше здоровье!

Чокнулся мой лекарь сам с собой этими стаканами и отправил их содержимое один за другим в собственное горло. Поставил опустевшие стаканы и неспешно, важно даже перешел к столу. И — закланялся, заулыбался:

— Марья Степановна, дорогая вы наша! Как супруг, как детки? Ну, слава Богу, слава Богу! Что, тягость в груди испытываете? Так я микстурку предложу. Преотличнейшая микстурка, доложу вам. Преотличнейшая!..

И опять чокается стаканами и друг за другом отправляет их содержимое в горло.

— Ваше здоровье!

К печке перешел:

— Ваше превосходительство, глазам не верю!.. Честь-то какая, вот уж мои-то обрадуются!..

Ну, и так далее. До восьмого визитера Матвей Матвеевич, правда, не добрался, свалившись на седьмом. Я его на кровать перетащил, раздел, одеялом прикрыл, убрал все, по местам расставил, стаканы перемыл. И на следующий день — ни слова.

Утром лекарь — опухший весь — отправился на службу. Вернулся вечером — нормальный, трезвый, только что-то уж слишком молчаливый. А о вчерашнем — ни слова. Ни он, ни я. Будто и не было никаких визитеров у врача Матвея Матвеевича.

Визитеры появились через два дня на третий. Он заранее предупредил меня, что они непременно появятся, и я расставил по точкам стаканы с крепким кизлярским. И опять были короткие светские беседы, опять Матвей Матвеевич выслушивал жалобы на недомогание и лечил всех своей микстурой.

Тут уж я не выдержал и разыскал капитана.

— Понимаете теперь, почему помощники от него сбега-

ют? Боятся по дремучей темноте российской. Коли малость не в себе человек, так, стало быть, непременно уььет.

— Он что же, запойный?

— Да как понять, — вздохнул капитан. — Расскажу, а вы уж сами рассудите. Матвей Матвеевич считался когда-то лучшим врачом не только Моздока, но и всей нашей округи. К нему на прием из других городов, крепостей да станиц все занемогшие приезжали, а коли на чьих вечерах он появлялся, так за честь визит его почитали. Особенно когда он — в сопровождении двух красавиц. С супругой и дочерью пятнадцати годов...

Капитан замолчал вдруг, сокрушенно покрутил головой.

— А где они? — спросил я. — Покинули его, когда в запой ударился?

— Наоборот, — строго сказал начальник сборного пункта. — Решили девочку в пансион отдать, ну и повезли в Новочеркасск. А Матвей Матвеевич не смог с ними поехать — транспорт с ранеными пришел, полковых врачей не хватало, он и остался. Дали женщинам коляску, троих сопровождающих в охрану, и они отправились без него. А через неделю коляску в степях обнаружили. Конвойные и кучер убиты, женщин и лошадей — нет. Так и сгнули.

— Сгнули? Как понять — сгнули?

— А так, что и до сей поры нигде не объявились. Либо украли и продали кому, либо просто убили.

— Кто?.. Кто же мог, ведь здесь же — тыл...

— Тыл, Олексин? — криво усмехнулся капитан. — В таких бесчеловечных войнах тылов не бывает. А кто мог сие убийство с похищением свершить, спрашиваете? Да кто угодно. Ногайцы, абреки, кумыки, казаки могли позариться. Такая здесь война, Олексин. По ее счетам чаще всего ни в чем не повинными и платим. — Он помолчал. — А Матвей Матвеевич пить начал с той поры. И докатился до солдатского лекаря. Но воспоминания, видать, остались, вот он раз в три дня по визитам и ездит. Понимаю, не для дворянина занятие — пьяного солдатского лекаря в постель укладывать. Если желаете, переведу.

— Нет, — сказал я. — Не желаю, капитан. Спасибо. Разрешите следовать к Матвею Матвеевичу.

Капитан протянул мне свою единственную руку. Крепко пожал и опять вздохнул:

— Такая война здесь, Олексин. Такая война.

Три недели служил я помощником у несчастного Матвея Матвеевича. Он многому меня научил: как кровь останавливать, шину накладывать, вывихи вправлять да раны перевязывать. Но через два дня на третий я готовил визиты дорогих его сердцу воспоминаний. Он никогда до восьмого гостя не добирался, но всегда требовал, чтобы эту восьмую пару стаканов я наполнял непременно. А после седьмой пары я укладывал нашего лекаря в постель и приводил в порядок квартиру.

— Давненько не виделись с вами, любезная Марья Степановна, давненько...

Признаться, жалел я его...

И так продолжалось, пока не подошли маршевые роты и я был определен в стрелковый батальон Апшеронского полка. И — уже снега легли, морозы стояли — ушли мы маршем на передовые позиции...

Третий марш

Кажется, мы свершили невозможное. И остались целы. Правда, не все. Не все...

Эти слова я не придумал. Я устал до тошноты, до звона в ушах, до отупения и полного равнодушия. Голова болит уже сутки, и я еле-еле сапоги да амуницию от крови отмыл. В горле скрип, а слов нет. Вместо них в душе что-то тренькает, и нет больше слов во всем мире. Онемел мир в оре своем. «Ура!» равно «Аллах акбар!». Оба надсадных клича одинаково заглушают страх, боль и совесть.

Пало Орлиное гнездо.

Последнее? У орлов не бывает последних гнезд. Последнему орлу незачем строить гнезда.

Что знает солдат о маневре?

Ничего.

Что знает о маневре офицер?

Тоже ничего. Или — почти ничего: ему приказали провести солдат по горному карнизу, и он провел. Слева — пропасть и ревущая речка, справа — стена. Тропа... Нет, не тропа — полосочка скалы шириною редко в пол-аршина. Чаще — в солдатский сапог. Упасть нельзя, споткнуться нельзя, остановиться нельзя, поскользнуться нельзя. Сорвешься. Можно только идти боком, спиной прижимаясь к скале. В трех шагах друг от друга, чтобы в ужасе не ухватиться за товарища, когда под ногою поедет в бездну камень.

— Стрелки в Чечне держатся только за свой карабин, ребята. Иначе все там будем.

Это офицер знает. И идет первым.

О маневре знает генерал. Знает, что надо взять гнездо. Знает, что в нем — имам в белой черкеске с золотыми газырями. Знает, что коли возьмет — звезда на грудь, коли не возьмет — звезды не будет. Будут кресты над его солдатами и — что здесь часто случается — крест на его карьере. А звезды над головою генералам неведомы: они ведь не ночуют под открытым небом.

Я затылком прижимался к отвесному откосу за собственной спиной. Затылком, помню. Спиной можно запнуться за камень или провалиться в расселину, а затылок считает каждую неровность. Я содрал с затылка кожу, прижимаясь к скале, и голова болела совсем не от простуды.

Я не в состоянии писать по порядку, потому что порядка в сражениях нет. Он не выстроился для меня, но придется его сочинить для вас.

Вместе со своим Апшеронским полком я проделал очень длинный марш. Всю зиму куда-то нас перебрасывали, кого-то мы охраняли, кого-то куда-то сопровождали. А потом приказано было форсированным броском перейти в горную Чечню. На подходе к горам попадаем в засаду, теряем два десятка солдат и капитана Ермакова, нашего командира батальона. И застреваем в каком-то разрушенном ауле, ожидая, когда к нам прибудет новый командир.

Наконец он прибыл. Майор Афанасьев.

Я сразу узнал его, а он меня — нет. Оно и понятно: я бороду отпустил, форму надел и совсем перестал быть похожим на богатого цивильного помещика, следующего на Кавказ не только по своим надобностям, но и в собственном экипаже. А солдаты все одинаковые. Бородастые, оборванные и безымянные. Откликаются на кличку «Эй, ты!». Как собаки. А как только майор Афанасьев появился, нас быстрыми переходами погнали на помощь отряду, обложившему Орлиное гнездо имама в белоснежной черкеске.

— Обойти и ударить с тыла.

Это нам не майор сказал, а командир роты. Весьма сдержанный и по-немецки пунктуальный поручик Моллер. И мы пошли обходить и ударять, оставив все лишнее. До стены добрались, когда только чуть посветлело. Солнце еще не проснулось, но снежные вершины уже светились холодным чужим светом.

Майор шел первым, сразу же за проводником из мирных горцев. Сначала тропа была на тропу похожа, но, вероятно, только в полусумраке. Когда немного рассвело, мы поняли, что никакой тропы нет. Есть узкий длинный уступ. Карниз. Складка меж пропастью вниз и пропастью вверх.

Как шел человекообразный майор — не знаю, прямо скажу. Я бы сразу за проводником не прошел бы и двадцати шагов, потому что нитяная тропочка эта оказалась заснеженной, и как там передовые в пропасть не угодили —

чудо. По себе знаю. Сам чудом не угодил, затылком за камень удержавшись, когда вдруг ноги поехали.

Сражение началось с рассвета, как только мы на ту горную приступочку втянулись. Начали наши пушки — у горцев артиллерии не было, — а за ними и ружейная стрельба поднялась по всему охвату. Ниже нас. Мы уже в горы поднялись к тому времени. Может быть, красивые виды перед нами распахнулись. Может быть, не помню. Я потом для дам придумывал, как это красиво — воевать в горах. Красивая война всегда придумывается ради успокоения совести и победных реляций. В ней — крики вверх, а не крики вниз.

Крик вниз — это когда твой сосед с карниза сорвался. Этот крик — последний, а потому нет ему равных. От него вздрагивают горы и снега вокруг тебя, страх и совесть в тебе самом, и ты видишь, воочию видишь, как пробегает трещина между жизнью и смертью.

Этот крик — когда душа падает вниз. Он одинок, он — единственный в мире.

А взлет души вверх — крик общий. Для генералов и героев — это восторг славы, для солдата — тихий вздох спасения. Меж этими двумя криками и находится то, что в салонах, в газетах, в светских ли разговорах или в беседах на деревенских завалинках называется войной, лихим сражением или удачной кампанией. И появляются румяна на страшном черепе войны.

Я шел по карнизу в первом десятке, вцепившись руками в карабин. Не шел — переставлял ноги. Правую — в неизвестность, левую — к правой. И — снова, снова, снова. И смотрел только вверх, потому что цеплялся напряженным затылком за все неровности скалы за спиной. Тропинка вилась по карнизу, как уж, и я вился вместе с нею тоже как уж, всеми своими изгибами. И за одним из поворотов ощутил вдруг несущийся сверху холод. Скосил глаза и замер,

распластавшись по скале не только спиной, но всем телом своим, всем существом и душою всею.

Сверху летел обломок скалы, толкая перед собою ледяную вечность гибели.

Он обрушился на моего соседа впереди, на Сидорку: мы с ним хлебово в одном котелке варили. Грохот был страшен, но Сидоркин последний вопль перекрыл и грохот обвала, и грохот пушечной пальбы, и грохот реки под нами. А я не мог даже глянуть ему вослед, не мог в последний путь взглядом его проводить, потому что не смел головы оторвать от каменной стены за спиною своей. Я обречен был смотреть только в небо.

Но еще не замер прощальный выдох Сидорки, как я закаченными под самые брови глазами увидел над собою, на вершине скалы, в которую вжался, размазываясь телом и душою, толпу женщин с распущенными волосами в изодранных белых одеждах. Они орали и бесновались, сбрасывая на нас все, что имелось под руками. Камни, обломки скал, стволы деревьев. Все летело вниз, и если цепляло кого из наших солдат, то отрывало от скалы, увлекало за собою в бешеную пену ревущей реки.

Первая стрелковая рота замерла меж белой неистойвою яростью реки внизу и такой же неистойвою яростью белых женщин вверху, на вершине скалы. Они бы снесли всех нас в пропасть, коли хватило бы у них камней под руками. А может, просто выдержки и терпения, не знаю. Не знаю, что нас тогда спасло, хотя, правда, и не всех.

Наверно, великая, ослепляющая надежда прикрыть собою своих детей и мужчин и столь же великая ненависть к нам, несущим смерть. Любовь и ненависть сомкнулись тогда в этих чеченках меж вершиной и рекою, и накал оказался столь нестерпимым, что пред ним померк страх за собственную жизнь.

— Аллах акбар!

С этим грозным кличем горянки бросились вниз. В про-

пасть. Поодиночке и вдвоем, обнявшись последним объятьем. Не для того, чтобы покончить с жизнью, — чтобы сбить нас с карниза. Нас, смертных врагов своих мужей, детей и любимых.

Меня спас чуть заметный выступ над головою. Об этот выступ, а не об меня ударилось женское тело с длинными распущенными волосами. И лишь легкий шелк накидки скользнул по моему лицу...

...Да, Господь велик. Но почему же Он слышит только предсмертные восторги во имя собственного величия? Откуда в Нем столько непомерного самодовольства и мелкого тщеславия? Может быть, это мы сами вылепили свое представление о Нем, как Он когда-то вылепил свое представление о нас?..

Жертвенные горянки оказались последним испытанием для нашего батальона. Тропа вскоре расширилась, и мы вышли в тыл чеченскому редуту, запиравшему дорогу основным нашим атакующим силам, потеряв добрую роту на этом переходе. Впрочем, Россия никогда не умела считать. Двойка у нее по арифметике еще со времен Игорева похода на древлян.

Волосатый майор Афанасьев дошел до укрытия, где можно было собрать стрелков для атаки в спину вражескому укреплению. И мой командир роты поручик Моллер тоже дошел.

— В штыки, ребята, — сказал он, едва дождавшись, когда соберется хотя бы половина.

— Пленных не брать, — тут же уточнил майор. — Вперед, пока нас не обнаружили. Ведите, поручик.

— С Богом, ребята, — Моллер обнажил саблю. — За мной и без «ура!».

Мы выбежали из-за утеса, едва отдышавшись после перехода над пропастью. Было нас всего около трех десятков, но, на наше счастье, чеченцы не беспокоились за свой тыл. И мы ворвались в редут без потерь.

Ружье сподручнее для рукопашной, нежели сабля, коли умеешь им действовать. Сабля, а уж тем паче горская шашка легче и изворотливее, но — короче, и если ты вовремя выдернул штык, то всегда от шашки отобьешься. Успеть выдернуть — значит не попасть в кость. Колоть в живот, в шею, в грудь, но — только меж ребер. Тогда успеешь оборониться, иначе — несдобровать.

Меня мои солдатики еще в Псковском полку неплохо штыковому бою обучили.

— Прикладом больше старайтесь, ваше благородие. А штыком ежели, то на длинном выпаде и непременно — в мягкое. И выдергивать штык сразу, прыжком назад.

Атака оказалась неожиданной, почему и кончилась в полчаса. Я троих заколол, к себе шашку не допустив, а усталость такая навалилась, что я на камень сел, последнего чеченца прикладом отбросив. Кто-то раненых добивать вызвался, надеясь, что командиры запомнят усердие, но на Кавказе подобное всегда в обратную сторону запоминалось. Да, запомнили доброхвата — и офицеры, и солдаты запомнили, только — на его же несчастье. Такое в пехоте не поощрялось, если, конечно, раненый сам не умолял его добить. В последней просьбе отказывать недопустимым считалось, кто бы об этом ни просил. Хоть свой, хоть горец.

Майор по редуту прошелся. Сказал Моллеру, ткнув в меня большим пальцем через плечо:

— Этого Ваньку — к Знаку отличия ордена святого Георгия. Свое дело знает. Оформить, как положено, да побыстрее, пока генерал от победы не остыл.

Не поверите, а только не воспринял я, что ли, того, что услышал. Все понял, а восторга не зародилось во мне при этом известии. Да что восторга — ничего тогда не зарождалось в душе, все в усталости утонуло. Такой густой и бессветной, что ничегошеньки я, кроме нее, не чувствовал и чувствовать был не способен.

Потом кое-как на дрожащих ногах к реке спустился.

Долго пил, будто верблюд. Умылся, сапоги да ремни от крови кое-как отмыл и поплелся к солдатам. Нового Сидорку искать, с кем похлебку в одном котелке варить, с кем хлебать ее, с кем спать рядом: одна шинель — под низ, вторая — вверх.

А чувств по-прежнему не было. Никаких. Ни радости за всех, ни отвращения к себе. Ни восторга победы, ни равнодушия к славе. Ни ужаса пред бездной, ни жалости к своим, ни ненависти к чеченцам. Ничего не было. Нуль, пустота. Выворот нутра наизнанку, как после рвоты.

Нового моего знакомого звали Сурмилом. Может, имя такое, может, прозвище — мне тогда все равно было. А сыскалась замена канувшему в бездну рабу Божьему Сидору быстро и как-то сама собой. Сурмил сам меня нашел.

— Александр Ильич, хлебушек с тобой ломать желаю, чтоб и солдатскую соль — пополам. Сидорка-то убился, спаси, Господи, душу его многогрешную.

Я просил роту Ильичом меня звать. Знали ведь, что я — офицер разжалованный, но просьбе моей не вняли. Так и остался я солдатом не только с именем, но и с отчеством. Хотя солдат всегда солдат, а война — всегда война...

...Вот написал, и перо дрогнуло. Не согласилась душа с рукою, как несогласна она была эту кампанию войною называть. Особенно после Отечественной. Нет, нет, карательной та кампания оказалась, я в этом собственными своими глазами убедился. Жестоко карательной с нашей стороны, а для горцев... Для горцев она была Отечественной, давайте честно в этом себе признаемся. Великой Отечественной войной Кавказа против Российской империи. Горько, но — правда. Отсюда и немислимая их отвага, и небывалая гордость, и презрение к нам со всеми нашими пушками, лихими казаками и пехотной обреченностью. Доказательства? Сколько угодно, господа, сколько угодно...

При захвате немирных аулов мы вырезали всех мужчин, считая таковых с тринадцатилетнего возраста. Дотла сжигали аулы, угоняли скот, вытапывали жалкие их посе­вы, а женщин и детей продавали в рабство. И это — в христианской стране, в просвещенном девятнадцатом столетии! К примеру, генерал Вельяминов продал ногайцам в рабство две тысячи женщин и детей по цене от 150 до 250 рублей за голову. Тогда же было введено денежное поощрение: червонец за каждого убитого горца при предъявлении его головы или хотя бы правого уха, если голову затруднительно было доставить. Это решение высокого начальства, позорящее честь русского воина, породило массу охотников за головами.

Добровольных головорезов как среди казаков, так и среди офицеров, как это ни прискорбно. И коли уж до конца признаваться, то совестно мне было глядеть в горестные глаза чеченок.

И через это тоже надо было пройти, не уронив чести и не опоганив души своей. Невольно сопоставляется, что «во глубине сибирских руд» было куда легче сохранить и собственную честь, и собственное достоинство. О, Россия, Россия, как же наловчилась ты унижать собственных воинов своих...

Едва нашел я нового товарища, как примчался денщик поручика Моллера:

— Ротный требует, Александр Ильич. А мне за новой формой для тебя сходить велено.

— Какая еще новая форма?

— К поручику доставлю — поглядишь.

Признаться, мне нравился поручик Моллер. Он был деловито отважен и завидно при этом хладнокровен, прост в общении и строг к дисциплине, а с офицерами всегда сохранял спокойное приветливое достоинство, удерживая на дистанции любителей нашего национального панибратства.

— Рядовой первой роты...

— Садитесь, Олексин, — устало прервал поручик. — Садитесь, пейте вино. Вино доброе, его в России во всех трактирах за французское выдают.

Вина мне хотелось: уголек в душе залить. Но спросил. Скорее для уточнения, поскольку до сей поры мы столь за-просто с Моллером еще не встречались.

— А вы компанию солдату не составите?

— Так кружка-то одна у меня, — проворчал ротный. — Своей не прихватили? Ну, значит, по очереди пить придется. Пейте пока свою долю, у меня бок дьявольски ноет. Чеченец перед смертью кинжалом достал.

Я выпил залпом, но жажды не утолил. Хотя проглотил наконец-таки ком в горле, вином смоченный, да так и не размякший. Наполнил кружку для поручика.

— Наш батальон отводят на отдых и ремонт, — продолжал Моллер, выпив свою порцию. — А всем офицерам, бывшим в деле, дан отпуск для забвения душ и восстановления тел. Если вам не очень оскорбительно числиться моим денщиком, я впишу вас в свою подорожную. И укатим мы с вами отсюда подальше. Кстати, с весьма и весьма любопытным человеком познакомитесь. Согласны, Олексин? Прощения прошу, если чем обидел ненароком, но нет другой возможности вас хоть на время в приличное общество вытащить.

— Искренне благодарен вам, поручик.

— Ну, так пейте прямо из бутылки. Это позволит нам чокнуться по поводу личного знакомства.

Мы чокнулись, выпили каждый из своей посуды, и мне как-то полегче стало. Меньше ссадину в душе ощущал.

— У вас есть статский костюм?

— В обозе. Если не украли.

— Пошлем за ним. Но до Пятигорска ехать вам придется в солдатской форме: условия игры, ничего не поделаешь. Наливайте, наливайте. Напьемся и спать завалимся, ваш костюм денщик доставит. Да, реляцию на «Георгия» я майору Афанасьеву уже подал. Даст Бог, пройдет без осечек.

— Благодарю, поручик.

— Ох!.. — Моллер скривился, схватившись за бок. —

Кажется, поездка отменяется. Опять кровь из раны пошла. А жаль, искренне жаль. Из ада нашего вырваться да вас вырвать...

— Снимите мундир.

— Зачем?

— Рану хочу поглядеть.

— Из любопытства, что ли?

— Да. Снимайте, снимайте.

Моллер скинул мундир. Нижняя рубаша была в крови. Я разодрал ее, обнажив глубокий кровоточащий порез вдоль правого ребра.

— Ложитесь на левый бок. Много вы сегодня натерпелись, но придется еще одну боль вытерпеть, хотя и немалую. Иначе весь отпуск и впрямь насмарку пойдет.

Пока он, кряхтя, укладывался, я снял с ремня лялунку, посыпал из пороховницы его рану и запалил трут.

— Будет очень больно. Зато и кровь уймется, и зараза не прицепится.

— Давайте, Олексин.

Я поджег порох. Поручик вскрикнул, задержался, заскрипел зубами:

— Черт вас возьми с вашими способами...

— Не мои это способы. — Я налил вина. — Выпейте, поручик. Средство я применил зверское, но действенное, поверьте. Теперь у вас — просто ожог, а не кровоточащая рана.

— Ох!..

Лицо Моллера покрылось крупными каплями пота. Он жадно выпил кружку до дна, тут же потребовал вторую, осушил ее и только тогда обрел силы полюбопытствовать:

— Солдаты научили?

— Солдаты много чего знают и умеют, но научил меня этому прижиганию старый моздокский врач Матвей Матвеевич. И спасибо ему, иначе в солдатчине не выживешь. Выпейте еще и постарайтесь уснуть. День поболит, и о ране позабудете.

— Сейчас мой денщик вам форму принесет, — ротный говорил с трудом, сквозь зубы. — Надо его с запиской в

обоз послать. За вашим цивильным нарядом. Возьмите бумагу, я продиктую официальный запрос, пока силы есть.

Поручик продиктовал, выпил еще кружку вина и уснул еще до того, как денщик вернулся с новой солдатской формой для меня. Он нисколько не удивился, когда я тут же направил его в обоз за своими вещами. Все солдаты в нашем полку знали, что я — разжалованный офицер, и все воспринимали это как явление того же несерьезного порядка, что и барский каприз.

Денщик ушел, а я завалился на ковер рядом с постанывающим во сне поручиком, но мне не спалось. Несмотря на ночной марш, рассветное карабканье над пропастью, тупую боль в затылке и ломоту во всем теле. Пережитой ужас, небывалое перенапряжение и тяжкая надорванность души изгнали сон мой. Тело требовало его, но душа отвергала, и я маялся между физическим изнеможением и духовной истеричностью своей настолько, что даже не ощущал и краешка радости, что вскоре, даст Бог, украсу свой мундир знаком самого весомого ордена Российской империи — ордена святого Георгия.

Вместо радости мне почему-то грустное виделось. Прощание с молочным братом Савкой. Верным Клитом моим...

— Сохрани тебя Бог, Александр Ильич, сохрани тебя Бог, — Савка плакал в голос, громко всхлипывая. — О поместьях своих не думай, не бреди душу свою: я теперь за них в ответе полным. Ведь дразнил же я тебя, когда говорил, что извозным промыслом займусь, злил со зла собственного, уж прости ты меня, ради Христа. Рукой твоею там остаюся, Господом Богом тебе клянусь...

Уехал наконец на почтовую станцию в тарантасе своем. А я стоял у трактира, пока пыль за ним не осела. И очень жалел, что зареветь не могу...

А потом пошел в Воинскую управу и отдал все бумаги, получив взамен солдатскую казарму.

И клетка захлопнулась.

Четвертый марш

До Пятигорска мы добрались, пристроившись к испуганно напряженному ревизору-полковнику, неторопливо, с оглядкой поспешавшему из Петербурга в Тифлис. Я, естественно, поспешал в обозном арьергарде, но это обстоятельство куда больше смущало моего милого командира, нежели меня самого, поскольку поручик ехал в офицерском окружении полковника. Силы наши были значительны, и разрозненные отряды разбитых в Чечне горцев не решались нас тревожить. Миновав опасные места, мы расстались с конвоем полковника и остановились на ночевку в перегоне от Пятигорска.

— Надевайте ваш цивильный костюм, Олексин, — сказал поручик. — Мои приятели, местные офицеры, жаждут отужинать с участниками штурма Ахульго.

— Мне выдать себя за скупщика краденых ковров?

— Оставьте вы, право, у меня и так бок ноет от вашего первобытного лечения, — поморщился Моллер. — Весь положенный нам отпуск вы в прихожей все равно не отсидите. О вас уже знают и, поверьте, не удивляются: на Кавказе разжалованных хватает.

— Простите фанфаронство мое. Так сказать, рецидивы детской болезни. Много ли будет местных офицеров?

— Двое. Я разборчив в знакомствах.

— Как мне отнестись к вашим словам?

— О Господи, — вздохнул поручик. — За вами тянется пренеприятнейший шлейф светских гостиных, но на Кавказе он быстро рассеивается.

— Еще раз прощения прошу. Видимо, мой шлейф еще недостаточно рассеян.

Поручик вздохнул:

— Я понимаю вас, Олексин. Вы превратились из бабочки в гусеницу, а это ох как и непросто, и неприятно. Но приглашают нас не ради приятельской попойки, а ради свидания с человеком неожиданным. Мне твердо обещали, что он непременно появится, и я, признаться, жду этого с нетерпением.

— Он в большом чине?

— Он такой же разжалованный, как и вы. — Моллер неожиданно оживился. — Можете представить себе пожилого декабриста? И никто не может, а он — есть, хотя на Сенатской площади не выступал, поскольку в начале того же года был арестован. Потом судим, разжалован и сослан на Кавказ. Любопытно? Мне тоже, а потому — переодевайтесь к дружескому застолью.

Костюм был изрядно помят, но Моллер не позволил мне его погладить, сказав, что дам не ожидается, а время не ждет. Отсутствие дам, прямо скажем, произвело на меня большее впечатление, нежели отсутствие времени. Я напялил цивильную оболочку, мы пересекли очень грязную улицу и сразу же, без передней, попали в небольшую горницу, где нас ожидали два молодых офицера. Нездорово румяный подпоручик и худой носатый прапорщик. Мздолевский и Шустрин соответственно, встретившие нас без малейшей аффектации, что, признаться, было для меня весьма приятно.

— К столу, господа.

И никто ни о чем не расспрашивал. Ни о тяготах солдатской службы, ни о штурме аула Ахульго. Предложили вина и ужин, завели разговор о литературе, упоминая какого-то разжалованного в солдаты Полежаева, о котором я слышал впервые.

— Говорят, он разжалован за поэму «Сашка».

— Вполне возможно, но я здесь ни при чем, господа. Хотя и кличут Сашкой.

Признаться, самолюбие мое все же чуточку оказалось уязвленным: я ведь все-таки по карнизу над пропастью прошел, редут штурмовал, к «Георгию» представлен. Но это — так, мельком. Я своевременно опомнился и умерил свои тщеславные судороги. Поболтали еще немного, и, наконец, послышался шум у двери.

— Игнатий Дормидонтович Затуралов, — сказал Шустрин и тут же бросился встречать нового гостя.

И вошел старик лет за сорок. Старик потому, что был сед как лунь, имел огромный, морщинами изборожденный лоб

и пронзительный, пророческий, как мне показалось, взгляд. И ношенная солдатская форма смотрелась на нем как порфира.

...Я позабыл все светские отступления, но не каюсь в этом. Все затмилось его парадоксальными размышлениями, кои и постараюсь передать в меру того, насколько понял и усвоил их.

— Вы спрашиваете, что движет людьми образованными на общественном поприще, молодой человек? Полагаю, что в первую очередь — несогласие, ощущаемое как тщеславная потребность равенства.

— Разве равенство не самоценно само по себе? — спросил Мздолевский.

— Равенства вообще нет и быть не может, если не понимать под ним равное право на кусок хлеба и справедливый суд. Все остальное есть всего лишь отзвуки основных христианских постулатов, вложенные в наши представления с детства. Вспомните, именно равенство было основным лозунгом первых христиан, причем лозунгом, рассчитанным на рабскую психологию, лозунгом рабов. Всеобщее равенство и осталось лозунгом черни во Французской революции и обречено оставаться лозунгами всех последующих революций для толпы, потому что само по себе понятие равенства не содержит никакого позитивного смысла. И следовательно, претендовать на самоценность никак не может.

— Но революция, Игнатий Дормидонтович? — спросил Моллер. — Что же тогда есть революция, если из нее вычтешь лозунги свободы, равенства и братства?

— Революция — всего лишь победивший мятеж, восстание, бунт, если угодно.

— Бунт — это что-то морское, — неуверенно улыбнулся румяный Мздолевский.

— Прекрасное уточнение, возьмем его для наглядности. Корабль в море для простоты уподобим государству, где капитан — император, господа офицеры — правящая каста, а

матросы — рабочая сила, питающая этот корабль за счет собственного недоедания. Неравенство вопиющее, но оно же и движет этим кораблем. Убрать его все равно что спустить все паруса разом.

— Простите, Игнатий Дормидонтович, не усматриваю аналогии при последнем вашем сравнении.

Я, признаться, помалкивал. Не потому, что ощущал себя рядовым — это чувство пропало сразу же, как только я напялил на себя статский костюм. А потому, что смутно улавливал мысль, но упорно не терял надежды ее в конце концов понять.

— Аналогия — в разнице культуры палубы и культуры трюма, поручик. А культура вмещает в себя все, что обеспечивает человечеству существование в природе. Субъективно — потребность в питании, безопасном сне, тепле, удобствах. Объективно — необходимость в законах, понятиях морали и нравственности, жажде любви и семьи, ее защите и опоре. И, наконец, абсолютно — в общей религии, общем — в национальных истоках, разумеется, — искусстве, языке, истории, традициях, философии. Все это, совместно взятое, — то есть культура палубы и культура трюма — несовместимо друг с другом, как несовместимы сами уровни палубы и трюма. До поры до времени это противоречие, эта несовместимость сдерживается послушанием, привычкой, равнодушием, психологической инерцией, столь свойственной человечеству вообще. Но разные культуры тесно соприкасаются, трутся друг о друга, цепляются, дышат друг на друга и...

— Переход количества в качество? — неуверенно попытался угадать Моллер.

— Величайшее заблуждение, — вздохнул Затуралов. — Ближе лежит, потому и хватаемся. Нет, тут действовать начинает другой закон диалектики: закон отрицания отрицания. Помните, в Евангелии от Иоанна сказано: «Если зерно, павшее на землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плодов...» То есть закон

утверждает, что развитие как в природе, так и в особенности в человеческом обществе невозможно без гибели прежних форм. Конечно, трюмная массовая культура не знает законов диалектики, но законы ее объективны, они действуют вне зависимости от наших знаний. Действуют в обществе, и трюм рано или поздно начинает ощущать жажду отрицания более высокой, более развитой, а потому и более избирательной палубной культуры, чувствуя в ней некую силу, тормозящую его развитие. И, осознав эту жажду как непреодолимый позыв к действию, носители трюмной культуры ополчаются против обитателей палубы под ясным и понятным им лозунгом равенства. Вспыхивает бунт, меняются флаги, капитанам отрубают головы, офицеров выбрасывают за борт, а обитатели трюма с восторженным ликованием занимают места на палубе. Удачный бунт есть революция в миниатюре, господа.

— Ну и слава Богу, — сказал молчавший доселе прапорщик. — Если нет победы равенства, то есть, по крайней мере, торжество справедливости.

— Беда в том, что трюмные не знают навигации, — невесело усмехнулся Игнатий Дормидонтович. — А посему корабль обречен сбиться с курса, угодить в жестокий шторм, а то и вообще кануть в пучину морскую.

— И что же, эти трюмные не способны обучаться управлять захваченными кораблями?

— Отчего же, вполне способны, только обучение предусматривает непременно освоение хотя бы азбучных основ более высокой культуры. А столкновение культур, послужившее поводом к бунту, признает лишь одно: полное господство победителя, что означает торжество его представлений. И полетят за борт не только господа офицеры, но и непонятные трюмным книги и ноты, картины и статуи, виолончели, рояли, арфы и скрипки, расчищая место для новых представлений и вкусов. Низшая культура всегда чрезвычайно беспощадна к высшей просто потому, что не в состоянии ее постичь. Непонятное всегда чуждо, а следовательно, и враждебно. Вспомните гибель Древнего Рима, господа, и

воспоследовавший за ним почти тысячелетний мрак средневековья.

— Это отрицание понятно, — согласился Моллер. — Но откуда же возьмутся последующие отрицания?

— Победители приносят их с собою, не понимая, что несут. Высшая культура, включающая в себя не только высокое искусство, но и более высокий, а значит, и более привлекательный образ жизни, становится — сначала, естественно, чисто формально — как бы собственностью новых обитателей капитанского мостика. Она весьма соблазнительна, почему новые правители и приспособливают ее под себя в усеченном и упрощенном виде. И как бы ни старались тщательно делить кусок хлеба и рублище, культура останется неделимой благодаря своей целостной законченности. Плесневелый сухарь, съеденный на палубе, вовсе не равен такому же сухарю, съеденному на капитанском мостике, и никогда равным не будет, вызывая зависть и обиду. А зависть и обида — первые весточки грядущего отрицания. Все начинается со споров и недовольства, но в конце концов на каждого Марата находится своя Шарлотта Корде, а доктор Гильотен всегда готов услужить побеждающей стороне. Закон отрицания неумолимо начинает действовать в обществе победившей низкой культуры, с холодной последовательностью перемалывая героев восторжествовавшего бунта. И все возвращается на круги своя.

— А если попытаться перейти с бунтующего корабля на твердую часть суши?

Не помню, кто это спросил. Не помню потому, что Затуралов говорил о том же, о чем Пушкин в «Андрее Шенье», которого я знал наизусть...

— Именуемую Россией? Что же, в ней целых два «если бы». Одно — полувековой давности, второе — для нас, так сказать, — как бы вчерашнее. Допустим, что Пугачев въехал в первопрестольную нашу не в железной клетке, а верхом на белом коне. Короновался бы на царство под

именем Петра Третьего, назначил бы своих неграмотных есаулов министрами, губернаторами и генералами и тем исполнил бы закон отрицания отрицания, не подозревая об этом. Пример уничтожения вождей Французской революции настолько нагляден, что не извлечь из него уроков может только тот, кто наивно полагает, будто общество может развиваться неким особым путем, на котором якобы не действуют законы диалектики. Но такого «особого пути» нет и быть не может ни для каких народов и государств...

Словно что-то сверкнуло пред моими глазами, что-то чуть высветило одну загадку, долго терзавшую меня. И я спросил:

— И поэтому вожди декабристов так сузили круг посвященных?

— Совершенно верно, молодой человек, именно поэтому, — строго сказал Игнатий Дормидонтович. — Нет ничего опаснее для нации, нежели забвение вершин собственной культуры. Такой народ неминуемо повторит судьбу древних египтян, греков, персов, римлян и многих, многих иных народов, канувших в Лету мировой цивилизации...

(Приписка на полях: ...Я гордился своей прозорливостью, но понимал ли я все, о чем не без нервного сумбура говорил почтенный и — от себя добавлю — навсегда потрясенный Игнатий Дормидонтович Затуралов? Я уж не поминаю о других собеседниках: они — кроме, кажется, Моллера — вообще ничего не поняли, поскольку Гегеля и в руках не держали. Но мой ротный был натуральным старательным немцем, а немец немца чутьем воспринимает. А коли не совсем воспринимает, то чутьем же и догадывается, что тот имел в виду: у всех немцев неодолимая тяга не только к порядку в собственном доме, но и во всей Вселенной с материнским молоком впитывается. Ну а я? Тогда скорее почувствовал, потом — старался уверовать, но понять... Нет, даже не пытался. Мне важнее было подтвердить само-му себе причину гордой кастовой замкнутости заговорщи-

ков: они больше собственной гибели страшились нарушения внутренних законов развития общества при смелом посягательстве на законы внешние. Прекрасно зная неумолимость основополагающих постулатов диалектики, они боялись русского бунта. Бессмысленного и беспощадного бунта трюмной культуры...)

Осознание пришло потом. Потом, уже значительно позже, когда я перечитал Гегеля, держа в уме практический разговор в применении к России, не причесанной европейским куафером...

Потом мы пили вино и толковали о Кавказской войне как форме столкновения двух далеких друг от друга культур. А после определенного количества бокалов беседа, как водится, перешла на взаимоотношения двух других сверхкультур — мужчины и женщины. И здесь гарнизонные приятели моего ротного чувствовали себя явно в своей тарелке. И закончилось все тем, что Моллер вместе с подпоручиком и прапорщиком пошли провожать седого декабриста. А мне ротный сказал, чтобы я ложился спать, утром действовал по собственному разумению, но вечером непременно прибыл бы в гостеприимный дом генеральши Феоктистовой, где он будет меня с нетерпением ждать.

— Понимаете, Олексин, стоит мне промыть глаза вином, как я сразу же начинаю видеть только прелести моей модисточки, — несколько смущаясь, пояснил он. — Субъективно, объективно и абсолютно. Потому что она и есть очаровательная объективная реальность, а прочее все гиль.

И все ушли, а я завалился спать.

Спал я мало, но зато без разногласий тела и души. Проснулся бодрым, нашел хозяев, велел, чтобы все прибрали, и пошел в город пешком.

Господи, как же я мечтал о такой прогулке! Сбросить солдатский мундир, облечь себя в модное — по крайней мере для Кавказа — платье и фланировать по улицам, по-

махивая тростью. Да существовала ли тогда для меня иная форма высшего ощущения своего «я», несмотря на все казематы и марши по тропам над пропастью!..

Вероятно, я странно выглядел. Франт, блуждающий в одиночестве по не очень ранним, но все же утренне-пустынным улицам незнакомого города. Да, шумел базар, открывались лавки, сновали люди, но, как разъяснил мне почтенный Игнатий Дормидонтович, вторая культура России просыпалась существенно раньше первой, и я ощущал себя в полном одиночестве. Как Робинзон Крузо.

...Кстати, почему именно о Робинзоне я вспомнил в то пятигорское утро? Не потому ли, что Дефо ясно обозначил в бессмертном творении своем мирное сосуществование не понимающих друг друга культур, их путь к пониманию и последующее слияние?..

Эта мысль показалась мне занятной, и я настолько углубился в нее, что очнулся лишь от удивленного возгласа:

— Срази Господь на месте, если это не Олексин! Камо грядеши, патриций?

Дорохов. Сам Руфин Иванович Дорохов из остановившейся передо мною коляски — навстречу...

Обнялись, расцеловались, долго друг друга из объятий выпустить не могли.

— Да что же это творится в мире, патриций? Болтали, будто сгноили вас в темницах мрачных и сырых? Как же объяснить сию встречу, если не чудом?

— Чудом, дорогой Руфин Иванович, истинным чудом! Хоть и в солдатском мундире обретается ныне чудо спасения моего.

— Помилуйте, на вас вполне еще модное платье.

— Пред вами — рядовой стрелок Апшеронского полка. Пардон, вы куда-то спешите?

Расхохотался Дорохов:

— Спать! Я — от стола, с известной вам работы, и никуда не спешу. А вы?

— Ну, я-то — тем более.

— Поехали!..

И — поехали. На какую-то роскошную квартиру с шампанским, одалисками, нукерами, цветами и музыкой. Боже мой, как я был счастлив этой встрече!

Говорили и пили, пили и снова говорили. Нет, нет, ничего я не сказал Дорохову об истинной причине своих злоключений: он полагал, что я пострадал в связи с причастностью к декабристам, и я не стал его разуверять. Это объясняло все мои казематы и даже личное свидание с самим Бенкендорфом.

— Однако разболтался я, Руфин Иванович. Вам отдохнуть необходимо.

— Не стану отрицать, патриций, у меня — страда. Только за зеленым сукном вы мне не нужны, а расставаться не хочу. Сделаем так. Я одолжу вам своего человека...

— Я — солдат, Дорохов.

— Спина и у солдата есть. А кроме того, нам ниточка нужна, и мой Ванюшка станет этой ниточкой.

И я ушел с его Ванюшкой, очень непосредственным и живым пареньком с глазами скорее лукавыми, нежели хитрыми. Он неторопливо и обстоятельно познакомил меня с городом, оказавшись вполне толковым чичероне, а затем проводил в дом, где мы с поручиком Моллером условились встретиться...

Этот день оказался воистину днем неожиданных встреч. И первым, с кем я столкнулся в том доме, был мой человекообразный командир батальона. Майор Афанасьев.

— Какая неожиданность, Олексин, — сказал он, ухмыляясь. — Удивлены?

Я молча пожал плечами, хотя все во мне как бы оборвалось. Все праздничные фейерверки разом.

— А я, признаться, был весьма неприятно удивлен, обнаружив вашу фамилию в списке на «Георгия», — продолжал он. — Разумеется, я немедля ее похерил, но с помарками наградные списки сдавать не положено, вот я и

бросился Моллера искать. А тут — вы, к нечаянной радости моей.

— Не бойтесь в следующем бою нечаянную пулю получить?

...Зря я это сказал, фанфаронство дурацкое вылезло. Поверите, до сей поры совестливое неуютство испытываю...

— Так вы, Олексин, ни в каких боях более участвовать не будете, чего же мне бояться? — Майор прямо-таки изнутри светился от прилива какого-то особенно злого восторга. — Я уж постараюсь и себя сберечь, и вас упечь. В тылы, чтобы ни в какие победные реляции вы никогда впредь и не попадали. Будете двадцать лет скот пасти вместе с трусами, ворами и дезертирами.

Это была не угроза стгоряча — это был продуманный план, как вынудить меня отслужить весь солдатский срок без всяких скидок. Подобная гуртовая служба засчитывалась день за день, в ней не предусматривался ни отпуск, ни отдых. Не говоря уже о льготах за боевые ранения, личную отвагу, за участие в сражениях, в поисках и захвате пленных. Тыловые скотопасы были армейскими париями, получая из солдатского довольствия лишь гнилую муку да кое-как застиранное обмундирование третьего срока годности...

И мне вдруг стало так страшно, как никогда доселе. Настолько, что я залепетал совсем уж позорно:

— Вы не сделаете этого, майор. Нет, нет, не сделаете. Это... это невозможно!..

Афанасьев торжествующе расхохотался:

— Где же ваша бретерская заносчивость, Олексин? Где дуэлянтское бесстрашие и картежный кураж? Я ведь ничего не позабыл и забывать не намерен. И с наслаждением через год приеду поглядеть, как вы там в навозе копаетесь. Да вы сапоги мои прилюдно лизать будете, лишь бы я дозволил вам хотя бы в баню сходить!

Вот это преждевременное торжество его меня тогда и образумило. Не вызови он дикого гнева во мне, неизвестно еще, как бы судьба моя обернулась. Вполне вероятно, что именно так, как о ней он и размышлялся...

Я размахнулся и отпустил Афанасьеву очередную пощечину. Вторую за истекшее полугодие. Ударил собственного командира батальона, за что мне, рядовому стрелку, полагался военно-полевой суд во всей его военно-полевой суровости. Правда, дворянину, даже разжалованному в солдаты, шпицрутены не грозили, но бессрочная каторга, если не расстрел с учетом военного положения, в арсенале суда вполне могли оказаться.

Но человекоподобный майор и в этот раз поступил точно так же, как и в предыдущий. Дернулся, схватился волосатой дланью своей за щеку и... И улыбнулся:

— На скандал рассчитываешь? Не будет скандала. По-страшнее тебе будет, чем любой суд, Олексин!..

И ушел в гостиную, пред входом в которую и состоялось наше неожиданное randevu. На миг оттуда веселый шум донесся, женский смех, оживленные голоса. И все опять смолкло, когда майор дверь за собою закрыл.

А я, поверите ли, вроде как бы в себя вернулся, что ли. Вроде как успокоился даже. И тут только заметил, что приданный мне Ванюшка замер в углу.

— Все видел?

Он почему-то только кивнул тогда.

— Расскажешь барину. Обожди, записку отнесешь.

Я отыскал в карманах листок бумаги и написал:

«Я ПОГИБ, ДОРОХОВ, ЕСЛИ НЕ СЫЩЕШЬ СПОСОБА ИЗБАВИТЬ МЕНЯ ОТ МАЙОРА АФАНАСЬЕВА».

Написал было еще слово «УМОЛЯЮ», но зачеркнул его и отдал листочек Ванюшке. Он сразу же умчался, а я почему-то с особой старательностью оправил свой статский костюм и, вздохнув, решительно шагнул в гостиную.

— А вот и мой припозднившийся друг! — радостно

воскликнул Моллер. — Позвольте, дамы и господа, рекомендовать...

— Рекомендовать буду я, — перебил Афанасьев. — И — с полной откровенностью. Так вот, как командир батальона, я НЕ рекомендую вам, дамы и господа, сего мелкого фрондера, бахвала и картежника-перехвата. Впрочем, разбейтесь с ним сами, поскольку у нас с поручиком Моллером есть небольшое служебное дело. Может быть, нас проводят в другую комнату?

— Пожалуйста сюда, господа офицеры, — сказала хорошенькая брюнеточка.

Мои командиры куда-то вышли, а все оставшиеся молча смотрели на меня. И среди этих оставшихся не было ни одного хоть сколько-нибудь знакомого мне лица: майор безошибочно просчитал момент моего первого появления в совершенно стороннем для меня обществе, уведя с собою Моллера. И все сейчас настороженно смотрели на неизвестного им статского господина, весьма красноречиво представленного волосатым моим командиром батальона.

— Полагаю, что этот странный майор столь же странно и шутит? — спросила некая миловидная белокурая особа, неуверенно при этом улыбнувшись.

— Вы совершенно правы, мадам, — сказал я. — При столь крупной игре, которая идет на Кавказе, кого удивишь картами? Здесь, куда ни глянь, казаки — с пиками, оркестры — с бубнами, кладбища — с крестами да раны с червями. А если при этом учесть, что милые дамы хлестко бьют незадачливых королей удачливыми валетами...

Слова мои утонули в хохоте, чему я был весьма рад, поскольку никак не мог самостоятельно выпутаться из собственной болтовни. Особенно оживленно смеялись дамы, а полненькая брюнеточка — хозяйка дома, как потом выяснилось, — кокетливо погрозила мне пальчиком:

— Вы опасно дерзки, милостивый государь!

Ничто так не разряжает обстановку, как вовремя прозвучавшая грубоватая шутка. Все сразу же ощущают себя умнее ее содержания, переполняются собственной самоуверен-

ностью, и затянущаяся страница угасших было бесед переворачивается чистой стороной. Несколько заскучавшее общество, уже готовое разбиться на изолированные осколки, сплачивается вновь, вдруг обретя новые центростремительные силы. Я со всей возможной оживленностью рассказывал петербургские анекдоты полуторогодичной давности, милые дамы и офицеры помоложе с интересом слушали меня, и все вернулось в свою колею. И не вылезло из нее, когда в гостиную возвратились мои непосредственные командиры: ротный и батальонный, причем последний был явно обескуражен тем обстоятельством, что я стал центром весьма улыбочивого внимания. При этом я заметил, что оба моих командира выглядят одинаково напряженно: мне показалось, что они откровенно объяснились друг с другом, но общего языка так и не нашли. Майор сразу же прошел к мужчинам постарше, где и принялся за кизлярское, а поручик при первой же возможности отозвал меня в сторону:

— Скверное дело, Олексин. Он не желает ни оставлять вас в полку, ни тем более уходить из него сам. Надо что-то немедленно предпринимать.

Я не успел ответить, как пригласили в столовую. Полагаю, что к счастью, потому что сказать поручику мне было решительно нечего.

После обеда, когда вино в гостиной, как водится, уже лилось рекой, неожиданно вошел Руфин Иванович Дорохов. Дамы и большинство офицерской молодежи встретили его почти восторженно, пожилые — куда более сдержанно, но не это меня удивило. Меня удивило... Нет, меня неприятно поразило, что Дорохов упорно и весьма подчеркнуто меня не замечал.

И — глупо, разумеется, — я страшно разобиделся. Я вдруг решил, что этим подчеркнутым невниманием к моей особе он дает мне понять, что исполнять изложенную в записке отчаянную просьбу мою не намерен. И явился для того лишь, чтобы продемонстрировать мне свой категорический отказ. И я тут же решил уйти, и ушел бы, если бы милая хозяйка не сказала, понизив голос:

— А наша очаровательная Элен так надеялась, что вы проводите ее. У нас в Пятигорске не принято, чтобы дамы ходили в одиночестве, а ее супруг — такая незадача! — отбыл в Тифлис по служебным надобностям.

Я проводил уже, признаться, отмеченную мною прелестную блондиночку, выразил горячее желание выпить с нею чашечку шоколада, обождал в саду, пока она отпустит на покой прислугу («...у нас обожают всяческие сплетни!..») и... И напрочь позабыл о человекообразном майоре, а заодно и о всех своих страхах...

Но — вот странное свойство природы человеческой! — при этом отлично помнил, как обидел меня Дорохов своим дерзким невниманием. И прямо из страстных объятий помчался к нему за разъяснениями, не отряхнув, так сказать, поцелуев с лица.

Руфин Иванович недавно вернулся «со страды» и еще почивал. Но я поднял крик, и его разбудили.

— Вы бестолково настойчивы, патриций, — недовольно сказал он, зевая. — Майор Афанасьев проигрался вдрызг и в счет проигрыша обязался немедленно подать рапорт о переводе из Апшеронского полка. Так что спите спокойно и, Бога ради, дайте выспаться мне...

Пятый марш

Майора Афанасьева я более так и не увидел. Правда, заодно я не увидел и Знака ордена святого Георгия: горилла все-таки вычеркнула из списка мою фамилию. Однако перспектива угодить в скотские тылы была куда страшнее, и я быстро утешился в объятьях обворожительной блондиночки.

У поручика Моллера кончился краткий официальный отпуск, и мы отбыли в свой полк, разбросанный для отдыха и пополнения по крепостям и станицам вокруг Кизляра. Нашей роте досталась самая удаленная от города мест-

ность — крепость Внезапная, выстроенная недавно на пепелище древнего чеченского аула.

Аборигенов здесь уж почти что и не встречалось. Заселив эти земли в незапамятные времена, они были частью перебиты, частью оттеснены в непригодные для земледелия горы, а на их нивы и пастбища уже переселялись казаки. Служба казалась пустячной после дела под аулом Ахульго, если, конечно, не сравнивать ее с размеренными и привычными обязанностями солдат в собственно России. Порою нас поднимали по тревоге, мы куда-то бежали, занимали позиции, стреляли по гарцующим вдали джигитам, которые упрямо прятались в горах, не желая ни замиряться, ни отходить в Дагестан.

— Нет, не уйдут они сами отсюда, Александр Ильич, — рассуждал Сурмил, готовя на костре варево на двоих. — Знаешь почему? Потому что земля эта — ихняя. Какая ни есть, а — родимая. Ну, и кто же добровольно родимую землю свою отдаст?

— Ты бы не отдал?

— Не было у меня никогда ничего своего, кроме дражного зипуна. Но так скажу, что и зипун без драки не отдам.

Он окончательно оттеснил меня от костра и котелка, сурово обвинив в том, что я только перевозжу добро. На мне осталась заготовка дровишек да мытье нашей общей посуды, и нас обоих это вполне устраивало.

— Еще до тебя наша рота как-то чеченца в плен взяла. Немолодой уж, по-нашему понимает и говорить может. Да-а...

Это неожиданное «да-а...» означало, что Сурмил по какой-то причине раздумал продолжать рассказ. Мужиком он оказался сообразительным, хотя безулыбчивым и хмурым, в солдатских вечерних беседах за словом в карман не лез, но со мною — осторожничал. Сидорка был куда попроще, зато Сурмил размышлял и умел сравнивать, чем и выделялся из основной солдатской массы.

— Ну, и что же чеченец?

— Чеченец-то? — Сурмил помолчал. — Чеченец го-

ворил, что у них, мол, крепостных нет и никогда не было. Не знаю, может, соврал.

Осторожничал мой товарищ. Тема эта очень солдат новала, рассуждали о воле они часто, но при мне особенно не распространялись. Я для них оставался барином и в солдатском мундире.

— Нет, не соврал, — сказал я.

— А кто же их князей да богачей кормит?

— Нанимают. Десятый сноп, двадцатый баран.

— А у нас так нельзя?

— У нас — держава, Сурмил. Государь, армия, чиновники. Тут казна нужна, без нее не обойдешься.

— А их благородие ротный командир поручик Моллер как-то сказал, что и у немцев, мол, крепостных тоже нет. А держава — есть. Это как же — тоже за двадцатого барана нанимают?

— За деньги. Европа деньгами расплачивается, а мы — по старинке, землицей. Матушка Екатерина Великая все завоеванные земли генералам раздала.

— Все раздала, и погнали солдат на Кавказ за новой землицей, — вздохнул Сурмил. — Кто, стало быть, баранами расплачивается, кто — денежкой, а кто и солдатской кровушкой. Для России это, конечное дело, куда дешевле... Ну, давай хлебать, Александр Ильич, пока горячее...

На том тогда этот разговор и закончился. Хлебали мы с моим напарником варево, и оба почему-то молчали. О чем думал Сурмил, не знаю, но меня разговор этот почему-то зацепил, и я долго не мог уснуть в ту прохладную весеннюю ночь...

...Да, в Европе свободные земли кончились быстро, а вместе с ними кончились и пожалования за службу. Колумбы с Магелланами устремились за океан в поисках новых земель и новых рабов. Корабли, пушки, якоря, паруса да порох требовали денег, и они завертелись в Европе, отбросив крепостное право на самые глухие окраины. А мы открыли Сибирь, из которой хлебушка не привезешь, и ринулись

отвоевывать жирные куски у соседей, чтобы было чем питать привычное крепостное свое существование. И прав Сурмил: солдатская кровь — самое дешевое из всего, чем располагает Россия и по сей день...

Только когда-нибудь это солдатам надоест. И вспыхнет бунт, бессмысленный и беспощадный, которого так боялись декабристы. И в пламени этого бунта сгорит дворянская культура, выпестованная тысячелетними страданиями всего народа. И Россия разделит судьбу всех древних великих империй под грохот цимбал и торжествующие клики собственных варваров...

Моллер порою изыскивал способы выдернуть меня из строя, чтобы мог я дух перевести, вновь человеком себя почувствовать и сил новых набраться. Тогда я сбрасывал опостылевший мундир, блаженствовал в баньке, и мы усаживались длинными весенними вечерами за доброй бутылкой вина. Обычно он заранее предупреждал меня об этом, но однажды я был востребован им без предупреждения.

Поручик был не один. На веранде за накрытым столом сидел пожилой чеченец, угощавший виноградом шустрого черноглазого мальчика лет шести. Я вытянулся и отдал рапорт по всей форме.

— Здравствуйте, Олексин, — Моллер дружески пожал мне руку. — Позвольте представить вам, Амирбек, моего друга, о котором я вам рассказывал.

Чеченец поднялся, с уважением, двумя руками долго тряс мою руку. Затем мы с Моллером отправились в баню, где поручик мне все и объяснил.

— Амирбек — мирный чеченец, помогает нам, как может, не предавая своих при этом. Однако многим умудрился насолить, после разгрома имама у Ахульго ему начали угрожать, а вскоре, в подтверждение нешуточности угроз, убили двух сыновей. Остался последний мальчонка, которого он и задумал перевезти в Кизляр. Уж как он до Внезапной добрался, не знаю, но я решил дать ему охрану до поста Сухой

окоп. Не согласитесь прогуляться вместе с Сурмилом? Все интереснее, чем тут уныло прозябать.

Я согласился сразу же. Это и впрямь было определенной разрядкой в опостылевшей гарнизонной службе, да и — что уж греха-то таить! — засчитывалось в качестве боевой службы, ради чего, собственно, Моллер и остановил на мне свой выбор.

Выступили через сутки, ранним утром. Амирбек вместе с сыном ехали на скрипучей арбе, запряженной двумя ленивыми буйволами, а мы с Сурмилом сопровождали его пешком в полной амуниции и снаряженные ружьями.

Этому предшествовал дружеский ужин. Амирбек вполне сносно говорил по-русски, рассказывал о чеченских обычаях и своем понимании сложившегося в Чечне положения.

— Кавказ раздроблен на ханства и княжества, а в каждом ущелье — свой народ, свой язык, свои обычаи, свое понимание, свои упрямые старейшины и свои застарелые обиды. Кровавые ссоры, грабежи, угон скота, умыкание девиц — вот в какой атмосфере выросло каждое новое поколение, и кинжал всегда оказывался последней точкой в наших разногласиях. Мы либо слишком молоды, либо слишком древны для того, чтобы замечать, как изменилось время вокруг нас.

— Если и существовал когда-либо гордиев узел, то он — на Кавказе, — сказал Моллер. — Не знаю только, стоит ли его разрубать по примеру Александра Македонского.

— В молодости я воевал против вас. А потом понял, что сопротивление бесполезно. Не только потому, что вы, русские, упорны и своего добьетесь; все узлы развязывает только торговля. Мужчины гибнут, дети гибнут, женщины гибнут. Лучше договориться о мире, чем подстерегать друг друга за каждой скалой...

Относительно скалы он сказал тогда правду. Может, предчувствовал, может, характер собственных джигитов знал, а только так у нас и случилось.

На горной площадке остановились перекусить, а заодно и дать передохнуть буйволам. Отсюда начинался спуск в узкую долину, за которой и располагался военный пост Сухой окоп, охраняемый дюжиной казаков. Самый опасный участок мы уже миновали, нам оставалось пройти совсем немного, передать Амирбека вместе с мальчонкой казакам и, переночевав у них, возвратиться к своим.

Итак, мы остановились на отдых, поскольку крутой спуск для подъяремных животных всегда тяжелее подъема. Пока Амирбек хлопотал с припасами, мальчик играл у арбы, а Сурмил разводил костер, я решил оглядеться, уже свыкнувшись с мыслью, что на этой войне своевременная оглядка жизнь бережет.

Крутая, каменистая и на редкость извилистая дорога уходила вниз, в долину, но вправо от нее я заметил заросшую сухобыльем малозаметную тропу, ведущую неизвестно куда. Она просматривалась только до невысокой обрывистой скалы, огибала ее и скрывалась с глаз. Это почему-то меня встревожило, и я пошел поглядеть, куда же ведет тропинка за утесом.

Шел я настороженно, с ружьем наперевес, часто останавливаясь и прислушиваясь. Однако ничего опасного не замечалось, тропка старательно огибала скалу почти по всему ее обводу и круто уходила к долине. Я решил, что это всегонавсего более короткий путь для конника к тому же Сухому окопу, но вместо того, чтобы повернуть назад, к нашему походному стану, вздумал вдруг взобраться на утес. Лез и думал, черт, что ли, меня понес...

Но выяснилось, что не черт. Провидение...

Едва взобравшись на вершину, я услышал крик. Еще не вскочив на ноги — к счастью, как потом выяснилось, — глянул в сторону нашего лагеря, сначала ничего не понял, а потом разглядел, что Амирбек лежит на земле, Сурмил с карабином в руках бежит в мою сторону, но почему-то не стреляет, а ко мне, победно потрясая ружьем, мчится на коне чеченец в черной папахе. И перед ним,

почти на шею лошади, — шестилетний мальчонка, сын Амирбека...

Как потом выяснилось, абрек незаметно подобрался к арбе, возле которой играл ребенок, когда его отец мирно беседовал с Сурмилом у костра. Амирбек оглянулся на крик сына, бросился к нему, но чеченец огрел его прикладом по голове, забросил на коня мальчишку, вскочил сам и был таков...

Был бы таков, если бы я вовремя не сообразил, что скачет он по тропе и, значит, вынужден будет огибать скалу.

Здесь следует кое-что объяснить. Наш главный мучитель во время обучения в Корпусе капитан Пидгорный — о котором я уже рассказывал — был помешан на одной идее. В войнах с Наполеоном он лично познакомился с действиями вольтижеров — легкой французской пехоты, действующей в сражениях на флангах егерских полков. Вольтижеры были обучены вскакивать во время боя на круп лошади противника и мгновенно вышибать его из седла. Капитан считал, что вольтижеры необходимы и нашей армии, писал записки на Высочайшее Имя, а в ожидании ответов беспощадно гонял нас, отрабатывая особые приемы спешивания противника. Ответов он, насколько мне известно, так и не получил, но свирепые его тренировки даром для нас не прошли.

Во всяком случае, для меня. Я ведь даже и не вспомнил о воинском мастерстве французских вольтижеров: я просто знал способы, какими можно спешить любого кавалериста. И когда чеченец появился под скалой, прыгнул сверху на его лошадь. От вдруг свалившейся тяжести она присела, сбившись с аллюра, а всадник ничего сообразить так и не успел. Согнув в локте левую руку, я ухватил его за горло, одновременно заведя вперед обе ноги и каблуками с силой ударив абрека по носкам его сапог, чтобы вышибить их из стремян. Тут же упал спиной на круп и обеими руками сбросил чеченца с собственной груди, а заодно, естественно, и с лошади.

Все это произошло мгновенно и должно было произойти мгновенно, потому что успех обеспечивался только стремительной внезапностью. Все было отработано до мелочей на собственных синяках да шишках, и единственное, чего я боялся, так того, усидит ли мальчишка в седле...

Но он был настоящий чеченский парнишка, с младенчества сидящий на коне куда увереннее, чем на стуле. Он на смерть вцепился ручонками в гриву лошади, я перепрыгнул в седло, на ощупь сунул ноги в стремяна, подобрал повод и стал осторожно придерживать перепуганного аргамака, прочно зажав его шенкелями. Конь почувствовал их, перестал рвать узду и смирился, перейдя на мягкую рысь. Сын Амирбека оглянулся, затравленно глянув, но, узнав меня, заулыбался во весь рот.

— Ты — смелый мальчик, — сказал я ему.

Развернул коня и на той же мягкой рыси повел его к месту нашей стоянки.

И — остановился, потому что из-за скалы на тропу шагнул абрек. Из-под папахи на лоб текла струйка крови — видно, ударился о камень, вылетев из седла, — но он улыбался в черную бороду, поскольку держал в руках ружье, а я был безоружен.

И мы — молчали.

— Почему ты не убил меня? — наконец спросил он по-русски, невероятно корежа слова.

— Джигитов не убивают в спину.

Сердце мое неистово колотилось, но я — улыбался. Улыбка и почти дружеский разговор были сейчас моим единственным оружием.

— Хорошие слова. Как твое имя, джигит?

— Сашка.

Чеченец по-прежнему стоял на дороге, дуло его ружья по-прежнему смотрело мне в грудь, кровь по-прежнему сочилась по его лбу, и он по-прежнему улыбался в густую черную бороду.

И неожиданно шагнул в сторону, уступая тропинку:

— Проезжай.

Я тронул коня: другого выбора у меня просто не было, равно как не было и оружия, а Сурмил куда-то подевался. И остановился, когда голова лошади поравнялась с абреком. А он погладил ее по морде и сказал:

— Старики учат верить хорошим словам.

— Сын — хорошее слово. — Почему-то ничего другого в этот миг не пришло мне в голову.

— Конь — тоже хорошее слово, — усмехнулся джигит. — Я меняю коня на мальчишку.

Я спрыгнул с седла, взял мальчика на руки. Мы стояли лицом к лицу с чеченцем, и, если бы не ребенок на руках, я, пожалуй, полез бы сейчас в драку даже безоружным. Уж слишком сильным было напряжение, и я с огромным трудом удерживал себя от всяческих действий. Видимо, я что-то позабыл из наставлений капитана Пидгорного, поскольку попался в собственный капкан.

— Зачем стоишь? — спросил он. — Обмен есть обмен.

И еще раз уступил мне дорогу. Я протиснулся между ним и конем, и мальчик что-то сказал. Абрек рассмеялся:

— Хороший волчонок! Иди, чего ты ждешь еще?

— Ты не назвал своего имени.

Почему я произнес именно эти слова? Может быть, потому, что начал чуточку понимать кавказцев?

— Беслан.

— Я запомню твое имя.

И пошел. Не скажу, что ноги мои не дрожали, но я старался ступать легко и твердо. И очень боялся, что он прочитает мой страх на моей спине.

— Стой!

Я остановился. Опустил мальчика на землю, шепнул ему:

— Беги к отцу...

Мальчик помчался, юрко петляя меж обломков скал. А я медленно повернулся лицом к Беслану.

— Разве мы не кончили наш разговор, Беслан?

— Я подумал, что тебя, может быть, следует застрелить. Одним джигитом у русских будет меньше.

— Держу на мушке!..

За спиною абрека неожиданно появился Сурмил с карабином у плеча. Беслан тоже услышал этот крик, прозвучавший за его спиной, но не обернулся.

— Не стреляй, Сурмил!..

Я почему-то закричал очень громко. Что было сил закричал.

— Червонец для меня — большие деньги, Александр Ильич.

— Дам четвертной, если отпустишь его живым!

Мы перекрикивались через голову чеченца, замершего возле коня. Если бы он стоял, отступя хотя бы на полшага, он, пожалуй, рискнул бы вскочить в седло, а далее уже можно было надеяться на четыре ноги аргмака. Но сейчас, при столь неосторожно занятой позиции, оказался практически беспомощным: Сурмил держал его спину на мушке. А мы продолжали перекрикиваться.

— Они все — разбойники и бандиты...

— Этот отпустил меня с мальчишкой, когда мы были полностью в его руках.

— Воля твоя, Александр Ильич, — с неудовольствием согласился, наконец, мой напарник, опуская карабин. — Воля твоя, а четвертной мой.

— Твой, твой, — подтвердил я с огромным облегчением. — Ты свободен, Беслан.

Абрек, не сводя с меня глаз, сделал полшага назад и мгновенно оказался в седле. Поскольку оба конца тропинки были заняты нами, он развернул коня поперек. Спуск был весьма крут, но я знал выучку кавказских лошадей и искусство их всадников.

— Твой должник, Сашка! — крикнул он, вдруг придержав коня. — Лови!..

Бросил мне кинжал в черных потертых ножнах, отдал повод и с гиком помчался вниз по крутому откосу...

Шестой марш

Весна цвела, жужжала и чирикала на все лады, а мы все еще стояли во Внезапной. Пополнение не подходило, все наступления вдруг замерли, а солдаты поговаривали, что горцы потеснили нас в Дагестане. Не знаю, так ли это было, но что-то где-то складывалось явно не по нашему желанию. Я хотел поговорить об этом с Моллером, а он, словно почувствовав, сам вызвал меня к себе.

— Есть возможность поехать в Кизляр дней на десять—двенадцать. Коли не против, готовьте статский костюм.

Костюм был у меня наготове. Поскольку поручик Моллер оказался во Внезапной старшим воинским начальником, я держал чемодан с цивильной одеждой при себе. Сурмил разыскал уют, я самолично отпарил свои статские наряды и с нетерпением ожидал, когда Моллер сочтет возможным распорядиться о выезде. Но время шло, мой ротный командир помалкивал, и я начал вертеться у него на глазах.

— Так случилось, что мне пришлось отпустить на краткий отдых своих субалтерн-офицеров, — несколько виновато признался он, когда я прямо спросил его, не спрятать ли мне свою статскую одежду в чемодан до лучших времен.

...Ничего нет хуже несостоявшегося нетерпения!..

Внезапно прибыл подпоручик из Кизляра в сопровождении пятерых казаков-кубанцев. Я видел, как они прибыли, как подпоручик тотчас же прошел к Моллеру. И как только казаки подвесили торбы на лошадиные морды, подошел полюбопытствовать.

— С чем прибыли, служивые?

— С депешей. — Урядник, старший конвоя, оглядел меня и добавил, усмехнувшись: — Слух такой, что вам, пехота, ружья чистить — самая пора.

Солдатские слухи чаще всего оказывались основанными на действительно важных событиях. Не потому, что солдат-

ские уши и глаза были такими уж всеслышащими и всевидящими, а по той причине, что ни от вестовых, ни от рассыльных, ни от писарей из старых солдат, ни тем более от собственных денщиков никакой офицер отгородиться не мог. Что-то просачивалось, накапливалось, осмыслялось вечно ждущей только неприятностей солдатской массой, складывалось воедино и неминуемо порождало невеселый вывод: «Готовьтесь, ребята. По наши души депеша пришла...»

Я еще болтал с казаками, надеясь вывести что-либо более определенное, когда из своего дома вышел мой ротный и подпоручик, доставивший депешу. Моллер попрощался, молча обождал, когда за порученцем и казаками уляжется поднятая пыль, и недовольно буркнул, чтобы я прошел к нему.

— Кизляр отменяется, Олексин, — очень серьезно сказал он. — Немирные захватили жену самого Павла Христофоровича Граббе. Нам приказано найти ее и отбить, поскольку ни на какой выкуп чеченцы не согласны.

— Может быть, вопрос — только в сумме выкупа?

— Скорее, это похоже на месть, — вздохнул поручик. — Граббе взял Ахульго и чудом не пленил имама. Да, к приказу приложена записка. Ознакомьтесь.

Он протянул мне листок бумаги. Я развернул и прочитал:

«ОТВАГА АПШЕРОНЦЕВ ПОД АХУЛЬГО СПАСЛА МОЮ ЧЕСТЬ. ВЕРЮ, ЧТО ЕСЛИ КТО И СПОСОБЕН СПАСТИ МОЮ ЖЕНУ, ТАК ТОЛЬКО ВЫ, МОЛЛЕР. ВЫ И ВАШИ СОЛДАТЫ. ПО СЛУХАМ, ОНА — В АУЛЕ АДЖИ-ЮРТ».

И — генеральская закорючка вместо подписи.

— Он немногословен, — я возвратил записку.

— Чеченцы безусловно перекрыли все дороги и тропы к аулу, — вслух рассуждал поручик, не слушая меня. — Вы рассказывали, что будто бы подружились с неким абреком. Может быть, он проведет нас к Аджи-Юрту без всяких троп?

— Вряд ли он пойдет против своих соплеменников.

— Вряд ли, — согласился Моллер. — Но попытаться все же следует.

— Для того чтобы попытаться, мне сначала надо хотя бы встретиться с ним.

— Хорошо бы найти его сегодня, Олексин. Завтра нам необходимо выступить, пока немирные не спрятали свою добычу в горах. Возьмите моего коня. А главное, будьте очень осторожны.

— Не думаю, что в этих краях может оказаться кто-либо еще, кроме моего приятеля. У каждого абрека — свой участок охоты. А за коня — спасибо.

Признаться, я с большой неохотой отправился выполнять эту то ли дружескую просьбу, то ли приказ. Я понимал, что мой ротный пытается использовать все возможности, чтобы исполнить как можно быстрее (и лучше — бескровнее) личную просьбу генерала Граббе, попавшего в беду. Понимал, но... Как бы это потолковее объяснить?.. Мне было неприятно, что ли. Неприятно обращаться за помощью к отъявленному чеченскому головорезу, отстреливающему из хорошего укрытия наших солдат и казаков. Что-то в этом было почти неприемлемым для меня...

Но, повторяю, понимал Моллера, а потому и выехал.

И представьте, нашел Беслана. Часа полтора проторчал возле скалы, где мы с ним впервые столкнулись, даже взобрался на нее, покрасовавшись на вершине. Хотел было уже возвращаться в крепость, но обратил внимание, как вдруг вытянула морду и запрядала ушами лошадь, одолженная мне поручиком. Я завертел головой и увидел черного всадника на черном коне.

— Беслан!..

Он подъехал, кивнул, сказал неодобрительно:

— Час смотрел, как ты искал свою пулю.

— Пулю? — растерянно спросил я.

— Только хранимые Аллахом да ваши начальники ездят на белых конях. И тогда подумал: может, ты ищешь меня?

— Я искал тебя, Беслан.

Мне трудно было начинать этот разговор. Настолько, что я даже не подумал, как начну его. И сказал:

— Мы — джигиты. Разве к лицу джигитам сводить счета с неповинными женщинами?

— Я не трогаю женщин.

И будто в доказательство собственных слов сдвинул на затылок папаху, обычно нависающую над его бровями, показав мне зеленую повязку. Я увидел арабскую вязь, выведенную черной краской.

— Что там написано?

— Имя моего сына.

— Он погиб?

— Нет. Он исчез, когда русские заняли мой аул. Вы называете это зачисткой.

— Ты хотел украсть мальчишку Амирбека вместо своего сына?

— Вместо ничего не бывает. Я хотел получить за него тысячу рублей, чтобы выкупить своего Лечу. Верный человек сказал, что видел его у казаков в станице Червленной.

— Казаки крадут детей ради выкупа?

— Всякая война имеет две стороны. Кто-то делается богаче, кто-то — еще беднее.

Он сам предложил начало трудного разговора. Правда, случайно и бесхитростно, но я вцепился в него.

— Я дам тебе пять тысяч.

Беслан посмотрел на меня с укоризной. И расстроено поцокал языком.

— У тебя — два желания, которые я должен выполнить. Два, — для убедительности он показал два пальца. — Ты дважды спас мою жизнь. Говори, что тебе надо, и не обижай понапрасну.

— У генерала украли жену, — решительно сказал я. — Почтенную женщину, мать двоих сыновей.

Беслан чуть пожал плечами:

— Какой-то мюрид очень хочет заслужить одобрение имама. Только женщина была не одна.

— Не одна?

— Две, — абрек опять показал два пальца. — Их увезли в Аджиджурт.

— Нам приказано освободить их. Проведи нас к Аджиджурту какой-либо незаметной дорогой.

Беслан отрицательно покачал головой и горестно вздохнул:

— Тогда мне не спасти своего сына.

— Почему?

— Потому что меня убьют, а кто же его выкупит?

Я молчал, лихорадочно размышляя, как мне убедить его. Он снова вздохнул. На сей раз виновато:

— Извини, я — твой должник. Но мальчик — последний мужчина в нашем роду. Извини.

Он уже тронул лошадь, но я придержал ее за повод.

— Ты сказал, что твой сын в станице Червленной? Я даю тебе слово, что найду его, если ты поможешь нам, Беслан.

Он помолчал.

— Я дал слово, Беслан.

— Это — твое слово или слово твоего генерала?

— Это — мое слово.

Он долго молчал, размышляя. Наконец решился:

— Сегодня после захода солнца — у переправы.

Чуть приподнял коня перед первым прыжком, отдал ему повод и понесся вниз по крутому обрыву.

Я не сомневался в его слове, о чем и доложил поручику.

— Но мои помощники не успеют вернуться, Олексин.

Они и впрямь не успели и — к своему счастью. Почти никто из того похода целым не вернулся, уж не говорю о погибших...

Моллер хмурился, но после обеда неожиданно подошло подкрепление: видимо, генерал все же помнил, что рота у нас далека от списочного состава. И своей властью снял из-под Пятигорска двадцать восемь стрелков, которых и привел к нам, во Внезапную, подпоручик Мздолевский.

Моллер очень обрадовался этому неожиданному везенью

нашему. А я — даже вдвойне, потому что среди прибывших стрелков оказался мой давний знакомец по Москве. Пров Сколышев, заботливо обучавший меня солдатским наукам на гауптвахте.

— Рад тебя видеть, Пров. Как до Кавказа добрался?

— Широка Россия, Александр Ильич. Две пары сапог стоптал до самых до портянок.

Так у поручика оказался хотя и один помощник, да зато добрый малый. Этого было, конечно же, маловато для похода, и он негласно назначил вторым помощником меня, поручив командовать авангардом, а заодно и приглядывать за проводником. Если он, конечно, объявится на переправе.

Беслан появился, по брови замотанный черным башлыком. Я хотел представить его поручику, но он отказался:

— Я тебе служу, а не русским. Скажи, чтоб шли тихо и чтоб офицеры коней оставили там, где я оставляю своего.

Я передал это командиру роты. Солдаты обмотали тряпьем все, что только могло звякать или брякать, попрыгали для проверки перед Моллером, и мы наконец тронулись к аулу Аджиджурт.

Трудно было назвать тропинкой те ужиные изгибы вверх по крутому склону. Но Беслан вел уверенно, я шагал следом, за мною — десятка, отряженная поручиком в авангард, а уж потом — остальные. И этих остальных было семьдесят два человека. Восемьдесят три всего, если с нами вместе считать.

Перевалив через невысокий, но весьма крутой хребет, Беслан спешился.

— Дальше — пешком.

Он не стал привязывать своего коня. Просто что-то шепнул ему на ухо, и конь послушно отошел в тень. Но лошадей Моллера и Мздолевского привязать велел и сказал:

— За этой горой — сады. Там будете ждать. Я покажу, где прячут женщин, только Сашке, и уйду.

До границы садов мы добрались уже в густых сумерках: думаю, что абрек и вел нас сюда с этим расчетом. Шепо-

том предупредив поручика, чтобы не было никакого шума, кивнул мне, и мы беззвучно исчезли в безмолвном саду.

Беслан тенью скользил впереди, не задумываясь над тем, куда и как ставить ногу. На нем были мягкие кавказские сапоги, а на мне — грубые солдатские, и мне приходилось задумываться. Кроме того, стало совсем темно, и я скорее угадывал гибкий силуэт чеченца, чем видел его фигуру.

И неожиданно силуэт этот внезапно исчез. Я остановился, напряженно вглядываясь, ровнехонько ничего не заметил, но казематным, что ли, опытом определил, что сад кончился, потому что впереди было чуточку светлее. И понял, что Беслан прячется в кустах, чтобы не рисоваться на опушке. Осторожно прошел несколько шагов, заметил его и прилег рядом.

— Сначала смотри. Слушать будешь потом.

Я осторожно раздвинул кусты. Впереди тянулась узкая полоска баштана, за ним — невысокая ограда, сложенная из каменного сланца, за которой смутно виднелась глухая, без единого оконца стена дома.

— Я готов слушать тебя, Беслан.

— Вход один, с той стороны дома. На входе — часовый. Может быть, один, может быть — два. В доме — ваши женщины, но может быть и кто-то из чеченок. Тогда скверно, только решать — не мне. Я сделал свое дело?

— Да, Беслан. Спасибо.

— Теперь ты — мой должник, — мне показалось, что он улыбнулся. — Отходи тихо и всегда помни о кинжале за поясом.

Он исчез, бесшумно растворившись в темноте. А я помнил не столько о кинжале за поясом, сколько о чеченках, которые могли оказаться в доме, и не знал, как поступить. Они сразу же завопят, как только мы появимся на пороге...

Правда, для того, чтобы там появиться, необходимо убрать часовых. Однако они — наверняка мужчины, и нравственные затруднения наши начнутся не при входе...

Словом, я решил проверить, кто в доме и сколько их. В окно, конечно, не заглянешь, но можно услышать голоса, а

по ним разобраться, что нас ожидает внутри. Пригнувшись, перебежал баштан и упал возле стены дома. Никто меня не окликнул, никто не заметил, но на этой стене тоже не оказалось ни одного окна. Я дополз до угла и осторожно заглянул за него.

Вдоль лицевой стороны дома тянулась узкая веранда. У двери, опершись спиной о косяк, сидела темная мужская фигура. Я долго всматривался и вслушивался, но никого более не обнаружил.

«Один, слава тебе, Господи. Но сколько может оказаться в доме?.. Даже одна чеченка — почти непреодолимое препятствие...»

Вероятно, дом стоял на окраине аула, потому что никаких иных строений нигде видно не было, но собачий лай откуда-то все же доносился...

Внезапно раздался скрип двери, и я поспешно втянул свою голову за угол.

— Куда?.. — спросил грубый гортанный голос.

— Господи, — вздохнула женщина. — Я же тебе уже говорила, что у вас ужас сколько блох. Ужас. Приходится выбивать одеяло, которое я забыла. Забыла одеяло, понимаешь? Одеяло!.. А твоя подруга-надсмотрщица не пришла, вот я и иду за ним. Ну, холодно моей госпоже, можешь ты это понять?..

Женщина говорила громко, но не потому, что собеседник плохо ее понимал, а, как мне показалось, для кого-то иного...

Мужской голос что-то весьма недовольно пробурчал. Но — тоном ниже.

— Давно бы так, — с облегчением сказала женщина.

Вы не поверите, но я догадался, кому принадлежит этот женский голос. Не очень мелодичный, прямо скажем, но — знакомый. Просто вспомнил его...

...— Хозяйка добыла для меня письмо к генералу Граббе... Мой отец служил у него...

Я вжался в стену. А когда легкая фигурка появилась из-за угла, шепнул наудачу:

— Вера...

И — угадал. Угадал!..

— Боже мой, мы знали, знали, что вы придете...

— В доме никого?

— К счастью, сегодня нет. У нее заболел ребенок...

— К черту подробности. Сторож один?

— Один. Я возьму одеяло и отвлеку его, а вы...

— А я — это я. Действуйте!

— Только возьму одеяло...

Вера куда-то на мгновение скрылась, но тут же возникла вновь, на ходу складывая одеяло.

— Поверните его спиной ко мне...

Кажется, она кивнула. Темнота уже сгустилась. Южная, почти черная темнотища...

Я осторожно выпрямился, обнажил кинжал и выглянул.

Вера что-то говорила, даже неуместно хихикала, но я уже ничего не слышал. Я прикидывал шаги...

И — шагнул. Доски лежали почти на земле и поэтому только прогнулись под моей тяжестью, не заскрипев. Шаг, еще шаг... Вера все еще болтает, а он уже стоит ко мне спиной... В конечном итоге женщины всегда делают с нами то, что хотят сделать...

Ах, Корпус, который мы в детстве так проклинали! Старые седые унтеры учили нас, как снимать часовых. Локтевым сгибом левой руки захватываешь противника за горло, резкий рывок на себя, чтобы не успел закричать, и — удар в сердце. В данном случае — кинжалом. У чеченцев отличные кинжалы. Лучшие на Кавказе...

Он даже не застонал. Я осторожно, чтобы не было никакого шума, опустил его на пол.

— Господи... — прошептала Вера и перекрестилась.

— Бери генеральшу, и через баштан — в сад. Я нагоню.

Вера юркнула в дверь и — следует отдать должное этим дамам, не потерявшим головы и в плену, — почти тотчас же вышла вместе с полной особой, заботливо укутанной в одеяло.

— Благодарю вас, спаситель...

— Быстро и — молча!

Дамы исчезли за углом. Я закрыл распахнутую настежь дверь, подтащил к ней обмякшее тело чеченца и кое-как усадил его у притолоки. Тело все время заваливалось на бок, и мне пришлось помучиться, пока я не нашел для него некоего равновесного положения. И уже открыто помчался вслед за дамами...

Я нашел их в кустах на окраине сада, и, как только мы добрались до отряда, Моллер приказал немедленно выступить. Поручик и Мздолевский уступили дамам своих лошадей, мы шли с быстротой, на которую только были способны, но чеченцы все равно нагнали нас еще до полудня. Пока арьергард во главе с Мздолевским отбивался от них залпами, мы с поручиком отыскивали узкую расселину в скалах, куда и упрятали наших дам.

Холм, на котором нам пришлось обороняться, господствовал над местностью и был усеян скальными обломками. Его затруднительно было атаковать в лоб, зато отстреливаться было удобно, пока не кончатся патроны. Великолепно приспособившийся к этой странной войне, Моллер не пугался полного окружения и атаки со всех направлений, по опыту зная, что чеченцы никогда не замыкают кольцо, давая противнику возможность отступить. Делают они так, во-первых, для того, чтобы не доводить неприятеля до отчаяния, которое всегда сплачивает окруженных единством судеб, а во-вторых, они — редкие мастера конного боя и в особенности стремительного преследования.

— Стрелять из-за укрытий и только по моей команде, — сказал он солдатам. — Буду очень недоволен, если кто пальнет раньше времени. Мздолевский, держите левый

фланг, Олексин — правый, а я уцеплюсь за центр. Повторяю, у нас мало патронов, поэтому стрелять только по команде и по возможности в неприятеля, а не ради шума и успокоения нервной системы.

Я нарочно так подробно записал его обычный разговор перед боем, потому что в нем, как мне кажется, звучит то продуманное немецкое занудство, которое сберегло России не одну солдатскую жизнь. Мой ротный был занудой и остался занудой, но как же я люблю навещать его хотя бы раз в два года...

Мы успели рассредоточиться и укрыться только потому, что чеченцы решили вначале попытаться решить дело переговорами. Вскоре после того, как они дугой оцепили наш пригорок, из их отряда выделился молодой чеченец в черкеске с богатыми серебряными газырями и помчался к нам, размахивая белым башлыком.

— Хотят вначале побеседовать, — сказал поручик. — Олексин, отберите самого смекалистого солдата, готового добраться до нашего первого поста.

— Дать ему лошадь?

— Всадника чеченцы немедленно начнут преследовать, а пеший все же имеет шанс ускользнуть.

Из всех немногочисленных добровольцев я выбрал Сурмила. Он девять лет воевал на Кавказе, привык к горам, научился в них разбираться и был достаточно сметлив и осторожен.

— Пойду на Грозную, — сказал он. — Там добрый гарнизон, а ближе — только наша Внезапная, так она и так вся тут.

— Дорогу знаешь?

— Разберусь. Попросите ротного, пусть подольше парламентаря задержит. Чеченцы любознательны, на него будут глядеть.

Оставил нам ружье с лядункой («все одно не отстреляюсь, коли догонят») и незаметно соскользнул в кусты с обратного ската нашего холма.

Моллер выехал на переговоры верхом, на встречу не спешил, а чеченцы, выстроившиеся полукругом перед нами на расстоянии ружейного выстрела, и впрямь глазели только на него. Старые кавказские вояки хорошо изучили слабости своего противника.

С этой же целью поручик явно не торопился заканчивать беседу. Голоса его я не слышал, но сужу по жестам и спокойной неспешности. Наконец молодому чеченскому парламентарю, видимо, надоели эти пустопорожние переговоры. Всадники развернули коней и разъехались в противоположные стороны, но — разными аллюрами. Чеченец гнал галопом, а Моллер трусил манежной рысью. Однако наши противники терпеливо дождались, пока он не спешился и не отвел лошадь за скалу. Тогда они дружно заорали и помчались на нас со всех трех сторон.

— По моей команде! — успел предупредить ротный, укрывшись за своим камнем.

Признаться, исполнение этого приказа требовало выдержки. Я уже видел не только блеск чеченских шашек, но и бородатые лица передовых конников и слышал не только их рев, не только согласный грохот копыт, втянувшихся в общий ритм, но и отдельные возгласы особо распаленных глоток...

— Пли!..

По-моему, до атакующих было менее пяти десятков шагов, когда прозвучала эта команда: железной выдержке нашего поручика можно было позавидовать. Зато большинство солдат успело разобраться в своих целях, и залп прозвучал впечатляюще. Не менее дюжины всадников оказались на земле.

Вероятно, это была разведка боем, так как нападающие тут же развернулись и помчались на прежние позиции. Однако по пути добрая четверть из них на скаку попадала на землю.

— Неужто пулями мы их посшибали? — удивленно спросил Пров, он расположился за соседним камнем.

— Это, скорее, лучшие стрелки, — сказал я. — Заметь, ни один из них своей винтовки не бросил.

Я был прав: вскоре они накрыли нас частым прицельным огнем. И сразу же закричали первые раненые.

— Раненых — в расселину, к женщинам, — распорядился Моллер. — Глядите внимательнее, ребята, сейчас опять пойдут!..

И вторую атаку нам удалось отбить ружейными залпами. Чеченцы вновь откатились, и вновь их стрелки начали обстрел, не давая нам пошевелиться...

Бой превратился в какую-то чересполосицу: прицельный обстрел сменялся стремительной конной атакой, конная атака — обстрелом. Уже убили Мздолевского, неосторожно выглянувшего из-за камня, еще двоих или троих, что ли, да ранили с добрый десяток. У нашего противника оказалось не только численное, но и тактическое преимущество, что говорило не просто об опытном, но и о думающем их командире. Чеченцы вели переменный бой, не давая нам при этом передышки и привязав нас к укрытиям, тогда как сами получали возможность хоть чуточку да передохнуть: когда шла пальба — отдыхали конники, когда атаковали конники — отдыхали стрелки. А мы не имели никакой возможности перевести дух, дать успокоиться нервному напряжению, хотя бы на миг отвести глаза от противника.

Не знаю, сколько времени так продолжалось. Потом выяснилось, что весь тот бой шел всего-то два часа восемь минут: Моллер засек время по своему брегету. А через полчаса после его начала противник изменил тактику — ох, толковый нам достался командир с той, вражеской стороны! Он приказал своим стрелкам вести огонь и во время конной атаки — до тех пор, пока свои всадники не перекроют им цели. Он сократил нам и без того считанные мгновения, когда мы могли хотя бы оглядеться, подбодрить друг друга, оттащить раненых в укрытие, отдать команды, наконец. Он как бы изолировал нас друг от друга, заставил каждого из нас

драться только за себя, рассчитывать только на себя и бороться за собственную жизнь.

Теперь нам пришлось встречать атакующих всадников, едва выскочив из-за личного укрытия, не получив ясной команды, практически не ощущая плеча соседа. Так долго продолжаться не могло: каждый человек имеет предел личной выдержки и боевой выносливости. В конце концов слабое звено должно было лопнуть, и какой-либо из солдат, отупев от бесконечного напряжения собственных сил и собственного внимания, мог либо не успеть укрыться при обстреле, либо кинуться бежать в момент начала атаки...

— Патроны!.. — Я с трудом расслышал крик Моллера: чеченцы пошли в атаку, и конский топот вместе с их дикими криками заглушал слова. — Последний ящик... у расселины...

Я бросился к центру нашего холма, где прятались женщины и раненые. За мною почему-то сорвался с места Пров, но ранило меня, а не его. Ранило пустячно: зацепило бок, надломив ребро. Боли я не почувствовал, но кровь потекла обильно...

— Укройся и перевяжись!.. — кричал мне Пров. — Рану перевяжи!.. Я отнесу патроны!..

Он волоком потащил ящик за собою, а я нырнул в расселину меж двух колючих скал.

К сожалению, там уже было тесно от выбитых чеченскими пулями и раненных чеченскими шашками. Я оценил это мельком, успев подумать, что долго нам не продержаться. Сел у входа, торопливо сорвал с себя мундир, окровавленную рубаху. У кого-то попросил пороховницу, кто-то протянул мне ее. Я начал сыпать порох на рану: помню, дрожали руки. И я не глядел, как сыплю, а озирался с некоторым изумлением, что ли, если в той обстановке уместно употребить это слово. Изумлением потому, что в тесной этой щели всем распоряжалась Вера Прокофьевна, когда-то показавшаяся мне перепуганной до конца дней своих. Она споро и умело перевязывала раненых лоскутами их же рубах и остатками своих нижних юбок, не забывая бормотать притом такие женские и такие нужные солдатам слова:

— Потерпи, миленький, потерпи...

Генеральша тоже не сидела сложа руки. Она рвала на полосы остатки солдатского исподнего и собственных одежд, кому-то давала пить, кого-то утешала... Я успел подумать, что она — образец офицерской жены, да и Вера в скором будущем таковой станет, поджег трупом (вот кто мне его запалил, напроочь не помню...) порох на ране, взвыл от дикой боли, и тут в щель втащили Моллера.

— Принимай роту, Сашка... — прохрипел он сквозь зубы. — Расселся тут...

Не поверите, но я забыл о боли. То есть забыть о ней, конечно, было невозможно, но не воспринимать ее, что ли, я себя заставил. И выбежал из расселины.

На холме шла рукопашная. С криками, хрипами, стонами, проклятиями, матерщиной, лошадиным ржанием... Я подхватил чье-то ружье, в кого-то всадил штык, кого-то огрел прикладом — все уже как в тумане, как в тумане...

Мы и в этот раз отбросили чеченцев. Не потому, что я подоспел вовремя и заорал что-то воодушевляющее: атака и без меня уже захлебывалась, чеченцы начали откатываться. Я успел упасть за свой камень, обнаружил по соседству Прова. Спросил, помню:

— Цел?

— И не зацепило. Патроны я ребятам раскидал...

— Хорошо...

Опять начался обстрел, и мы примолкли, вжавшись в сухую, колючую землю, из-за которой, по убеждению Сурмила, и шла вся эта странная война. Мы выдержали пальбу и даже устояли в еще одной атаке, но устояли из отчаянных, последних сил, и я обреченно понял, что они — последние...

Залп громыхнул неожиданно и довольно близко. Добрый залп из двух горных орудий. Следом за ним еще один, еще, еще... Не знаю, откуда стреляли, где рвались ядра, а только чеченцы начали разворачивать коней...

Седьмой марш

Отдых. И душа, и тело заслужили его, а я — да и не только я! — все никак не мог заглушить в себе пальбу, крики, лошадиное ржание, предсмертные стоны. Может быть, потому, что к нам ходят как на экскурсию, только не с билетами, а с подарками.

Восемьдесят три стрелка вышли из Внезапной с двумя офицерами. А вернулось всего два десятка с половиной при одном, да и то раненом командире. Мы потеряли девятнадцать убитыми, да еще пятеро скончались от ран и потери крови. Дорого нам стало освобождение генеральской жены и ее компаньонки, но спасение женщин равно спасению солдатской чести, да к тому же спасли мы три жизни вместо двух. Три потому, что супруга генерала Граббе ожидала ребенка, хотя я узнал об этом позже. Да, мы стали героями, и о нас разговор сегодня — во всех линейных крепостях.

Кусками, обрывками какими-то — да и то чаще в забытьи, чем в яви, — вспоминаю, как брели мы, чудом спасенные, к крепости Грозная по неласковой кавказской земле. Не брели — ползли, еле волоча ноги. Солдаты из Грозной тащили на себе наших обессилевших раненых, я тащился сам... Нет, нет, я на Прова опирался, счастливчика Прова, которого ни разу так и не зацепило. Ни клинком, ни пулей. А Сурмил с кем-то из грозненцев нес потерявшего сознание Моллера, голову которого бережно поддерживала Вера. В оборванном, окровавленном платье, с растрепанными и спутанными волосами... И генеральша — тоже оборванная и тоже почему-то окровавленная — шла пешком, опираясь на кого-то из офицеров Грозненского гарнизона...

А потом нас всех отправили в лазарет. Всех, даже целехонького Прова. Смутно помню, как меня осматривали врачи, как кто-то из них ворчал неодобрительно:

— Кровь остановить — это еще понятно. Но зачем он весь бок себе обжег?..

Бок и вправду горел как в аду. Чем-то они его помазали, и я уснул. Провалился часов на четырнадцать...

— Братцы, да ни при чем тут я!.. Я до Грозной и добежать-то не успел, глядь — батальон с артиллерией!..

Слова помню: я от них проснулся. А может, очнулся... Сурмил с побитым видом бродил по огромной нашей палате и виновато оправдывался:

— Да ни при чем я, братцы. Совсем ни при чем: кто-то другой Грозную по тревоге поднял...

Беслан... — подумал я. И опять провалился...

— Олексин! Господин Олексин...

Открыл глаза. Надо мною — черноусое незнакомое лицо. Тонкое, по-мужски жесткое и... и по-кавказски строго красивое.

— Очнулись? Павел Христофорович хочет задать вам несколько вопросов.

Увидел генерала Граббе за спиной черноусого подпоручика, попытался привстать, да боль подвела. Весь бок скрючило.

— Лежите, Александр Ильич, лежите спокойно, — поспешно сказал Граббе. — Всего несколько вопросов. Можете ответить? Меня наместник вызвал для подробного отчета, а поручику Моллеру врачи говорить запретили.

— Так точно, ваше превосходительство.

Он коротко расспросил о нашем поиске. Как шли, кто провел к Аджи-Юрту, как удалось освободить женщин без боя. Многое он уже знал — думаю, что со слов Веры Прокофьевны, потому что упорно полагал меня главным героем. Затем — о том, как нас настигли чеченцы, как Моллер выбрал единственное место, где можно было укрыть женщин от пуль и хоть как-то держаться. Тут мне стало полегче, потому что я начал рассказывать не о себе, а о поручике, о его хладнокровии и предусмотрительности. Вспомнил,

как послали Сурмила в Грозную, как Моллер, сколько мог, тянул переговоры, как начались атаки.

— Сурмил все равно не успел бы...

— Знаю, Олексин. Он встретил батальон уже на марше. Командир батальона капитан Оскоцкий доложил, что о вашем положении рассказал постам какой-то чеченец. И тут же умчался без подробностей.

— Это — Беслан, наш проводник. — Я вдруг все вспомнил и поспешил с добавлением: — Его единственного сына захватили казаки из станицы Червленной. Он собирает деньги на выкуп, ваше превосходительство, и я ему обещал...

— Как зовут сына?

— Леча. Так он его называл.

— Займись, Борзоев, — бросил через плечо генерал своему то ли переводчику, то ли порученцу.

— Будет исполнено, Павел Христофорович.

— Кто из солдат наиболее отличился?

— Все достойны, ваше превосходительство. Понимаю, всех не наградишь: Сурмил в сражении не участвовал, а Прова Сколышева даже не ранило...

— Никого не забуду, — улыбнулся Граббе и чуть наклонился ко мне: — Но вам — моя особая благодарность, Александр Ильич, совершенно особая. Вы мне не только супругу, но и будущего ребенка спасли. Как только врачи разрешат, прошу быть моим гостем. До окончательной поправки, а может, и решения судьбы вашей.

Пожал мне руку и ушел. А я, окончательно придя в себя, узнал, что пятеро из тяжело раненных уже здесь Богу душу отдали, и, признаться, обрадовался, что сознание мое это не восприняло. И подивился, чему это солдаты так рады. Оказалось, каждый по червонцу получил из рук генеральского черноусого порученца...

К вечеру того же дня пришла Вера. Подошла к моей койке, встала на колени и неожиданно поцеловала мне руку.

— Что вы, Вера Прокофьевна!..

— Вы дважды спасли меня. Дважды!.. И для вас, до-

рогой мой Александр Ильич, я — просто Вера. Всегда — Вера.

— Спасибо. Как мой ротный, Вера? Знаю, что подле него вы днюете и ночуете.

— Он тяжело ранен. Пуля попала в плечо, но и рану разворотила, и крови он много потерял. Я гранатовым соком его отпаиваю, врачи посоветовали.

— Гранатовый сок для боевого офицера — лучшее лекарство. А что слышно о человекоподобном майоре Афанасьеве?

— Ничего, но я его теперь не боюсь.

Я усмехнулся:

— Повзрослели?

— Нашла семью, которая не даст меня в обиду. Аглая Ипполитовна — чудный человек. И Павел Христофорович тоже, хотя я его побаиваюсь. После всех событий они объявили, что считают меня дочерью. По крайней мере до той поры, пока не выдадут замуж.

— Ну, за этим дело не станет, я полагаю?

Вера очень смутилась, порозовела, поцеловала меня в лоб и сказала:

— До завтра.

Но на следующий день первым появился подпоручик Борзоев, порученец генерала Граббе.

— Я нашел Лечу.

— Дорого запросили?

— Ну какой же линейный казак не исполнит просьбы генерала Граббе, Олексин? Леча уже под крылышком Аглаи Ипполитовны. Как мне передать его Беслану?

— Беслан выйдет на встречу только ко мне, поручик.

Борзоев улыбнулся:

— Мы с ним — из одного тейпа, Олексин. Следовательно, почти родственники.

— Я дал Беслану слово. И исполню его, как только сумею взгромоздиться на лошадь. Желательно белую.

— Завтра можете начать тренировки, поскольку врачи разрешили перевезти вас в генеральский особняк.

И вот я — в просторном генеральском особняке, расположенном в садах на окраине города. Меня встретили как родного, генеральша всплакнула и расцеловала в обе щеки, Вера засияла и по-сестрински прикоснулась губами, попав в порядком отросшие бакенбарды. Тут же проводили в просторную, всю в коврах на восточный манер комнату с прямым выходом в сад и в помощь отрядили смекалистого паренька-армянина. Паренька звали Суреном, он показал мне дом и сад и торжественно обещал содержать в порядке мою обувь и одежду.

Потом он привел ко мне Лечу. Мальчик глядел настороженно, но без всякого страха, по-русски понимал почти все, но говорить стеснялся. Я рассказал ему — без деталей, разумеется, — что мы подружились с его отцом, и обещал свидание в ближайšie дни.

Вечером хозяйка устроила пир в мою честь. Не скрою, мне было весьма приятно, хотя и несколько стеснительно, что ли. Не привык я выслушивать бесконечные благодарности.

А через день из Тифлиса вернулся генерал. Воодушевленный, хотя и весьма озабоченный.

— Уделите мне десять минут, Олексин. Меня внезапно вызвали в Петербург для доклада Государю, и я должен кое-что уточнить.

— Когда вам будет угодно, Павел Христофорович.

Мы уединились в его кабинете перед обедом. Я полагал, что речь опять пойдет о нашем рейде в Аджи-Юрт, но генерал начал беседу несколько неожиданно.

— В тысяча восемьсот четвертом году я принял Лубенский гусарский полк, а уже через восемь месяцев был освобожден от должности его командира с пренеприятнейшей формулировкой «за явное несоблюдение порядка службы». Через год обвинение было полностью снято, но нервов я потратил немало. Это — первое, Олексин. Второе. Во время Смоленского сражения я имел честь состоять офицером для

поручений при вашем батюшке бригадире Илье Ивановиче, вечная ему память. Все это вместе, а также моя искренняя вечная благодарность вам позволяет мне спросить вас о причинах вашего разжалования. Не скрою, что надеюсь быть принятым лично Государем, где вполне уместно будет вспомнить о вашем героическом деянии. А посему слушаю вас, Александр Ильич, со всём вниманием.

Я понимал искреннее желание генерала помочь мне, мало верил в успех, но рассказал все о своих казематах, крысах и допросах. Естественно, в той версии, которой придерживался сам: был пьян, играл в карты с поручиком конно-пионерского полка, чуть не проиграл собственного человека и в конце концов выиграл полный список пушкинского «Андрея Шенье». Затем — офицерский суд, обвинивший меня в недопустимых разговорах с солдатами, и — утвержденный Государем приговор о разжаловании с ссылкой на Кавказ.

— Моллер сказал мне, что вы были представлены к Знаку ордена святого Георгия за взятие аула Ахульго?

— Совершенно верно, Павел Христофорович.

— Почему же командир батальона вычеркнул вашу фамилию из поданной Моллером реляции?

— Когда-то он посмел оскорбить девицу, и я вынужден был образумить его пощечиной.

— А девицу зовут Верой Прокофьевной, — усмехнулся Граббе. — События порою пересекаются весьма забавно... Отдыхайте, Олексин, набирайтесь сил. Вы и поручик Моллер — мои гости.

Генерал уехал в Санкт-Петербург, я достаточно окреп на добрых харчах, вине и фруктах, и мы с подпоручиком Борзовым решили выехать в крепость Внезапную. Борзов прихватил на всякий случай десяток казаков, посадил Лечу впереди себя, а я взял в генеральской конюшне белого жеребца, и мы двинулись воссоединять отца с сыном.

Удивительное дело, но солдаты — естественно, те, которые не ходили с нами в Аджи-Юрт, — встретили меня с какой-то странной завистливой неприязнью. «Вот, дескать,

повезло: и червонец получил, и в генеральском особняке бока отлеживает...» Ну, есть, есть это дурное чувство в русской душе, тлеет оно до времени, словно выжидая, а чем риск-то обернется. И коли ты цел остался, значит, счастливчик, Бога за бороду ухватил и сам жив при этом. А то, что не на прогулку тогда ходили, что погибли многие, что ранены почти все, это все потом как бы отсеивается, исчезает, и остается одна зависть в глазах. И одно в них читается: «Ну, хитрован ты, Александр Ильич...»

А Пров и Сурмил чуть на шею не бросились. И радость, что видят меня, искренней была...

Ну, это я так. Разворчался, иного ожидая и не получив и грана того, что ожидал. И не от солдат, честно говоря, а от господ офицеров, помощников ротного Моллера, опоздавших из отпуска к той внезапной тревоге...

— Искать Беслана поеду один, — сказал я порученцу Борзоеву чуть резче, чем хотелось.

— Я головой отвечаю за вас перед генералом, Александр Ильич.

— Ничего со мною не случится, подпоручик. Мальчика пока покормите, растрясло его по дороге.

Взгромоздился на белого жеребца и погнал его к знакомому месту со знакомой скалой.

Все было в точности как тогда, перед самым нашим походом. Только куда быстрее: всего около часу мне возле скалы верхом красоваться пришлось.

— Опять пулю ищешь?

Оглянулся — Беслан за спиной. Усмехается в бороду:

— Не бережешь ты свою спину, Сашка. Рад, что живым вижу тебя.

— Твоей милостью, Беслан. Ты предупредил посты под Грозной, что нас держат в кольце?

— Нет, — сказал, как отрезал: коротко, жестко и сурово. — Если только ради этих слов приехал, давай лучше разъедемся.

— Я нашел Лечу.

— Где? — он резко повернулся в седле. — В Червленной? Как зовут казака и сколько он просит за мальчишку?

— Твой сын — во Внезапной. С твоим родственником Борзоевым, порученцем генерала Граббе.

— У меня нет родственников на русской службе!

— Он спас твоего Лечу.

— Да, слава Аллаху, у меня теперь есть сын. И поэтому у меня не должно быть никаких знакомых из тех, кто служит русским!

— Не горячись, Беслан. Если ты так беспокоишься за судьбу сына, может быть, стоит оставить его в генеральском доме? Его обучат грамоте, отдадут в учение, в конце концов он может стать офицером...

— Нет, друг, — вздохнул Беслан. — Мой сын пойдет по тропе своих предков, чтобы тропа эта никогда не кончалась...

Через полтора часа я привез ему сына. Надо было видеть их встречу, их суровую сдержанность, при которой сияли только глаза мальчишки да чуть вздрагивали руки отца, чтобы понять крутизну тропы, по которой они намеревались идти до конца.

— Прощай, брат, — сказал Беслан. — На всю жизнь остаюсь твоим должником.

Перегнулся с седла, обнял меня. Потом усадил Лечу перед собою, развернул коня к обрыву...

— Будь свободен!..

И с гиканьем помчался вниз...

Не люблю гордых людей, но люблю гордые народы, желающие тебе при встрече не личного здоровья, а личной свободы. Когда они исчезнут с лица земли, исчезнет и их благородный пример, и человечество неминуемо превратится в одну гигантскую людскую барского дома средней руки, набитую толпой послушных завистливых обывателей...

Мы с Борзовым вернулись в Кизляр, а вскоре в генеральский особняк пожаловал неизвестный мне художник. Он носил итальянский берет, французскую широчайшую блузу, длинные волосы и бородку à la кардинал Ришелье. Художник рисовал выздоравливающего Моллера — кстати, совсем недурно, надо отдать ему должное, — а я во время сеанса обязан был рассказывать ему о сражении со всеми деталями. Кто где стоял, что делал, как лежал, как стрелял и как погибал. Когда мне это надоело, меня сменяла Вера.

Потом наступила моя очередь позировать, но теперь художник развлекался рассказами Аглаи Ипполитовны. Затем пришла очередь самих дам, которых он после долгих уговоров заставил-таки обрядиться в то тряпье, в которое превратились их платья во время нашего сражения. Покончив с ними, он объявил, что ему необходима дюжина солдат, побывавших в том походе, и исполнительный Борзов вновь помчался во Внезапную. Кстати, и сам преданный порученец не ушел от бдительного творческого глаза: художник именно с него писал портрет свирепого предводителя супостатов.

— Он вам еще не надоел? — спросил я в конце концов Аглаю Ипполитовну.

— Смертельно! — рассмеялась она. — Но картину заказал сам наместник.

Единственным моим утешением было то обстоятельство, что в солдатской дюжине оказались Пров и Сурмил, и это несколько примирило меня с искусством. По крайней мере я получил возможность по-дружески угостить их в саду. И с помощью Сурена и Веры осуществил эту возможность с допустимым размахом: вином, шашлыком и фруктами. Мы услаждались солдатской беседой о глупом начальстве и добром везении, но тут опять принесло живописца, которому вздумалось запечатлеть для потомства и это скромное мужское удовольствие. Для чего, я так и не понял. По-моему, про запас, поскольку в картину самого сражения дружеская солдатская пирушка никак не могла влезть при всех художественных условностях.

Да, представьте себе, картина в конце концов была нарисована, но я ее не видел. Я видел множество снятых с нее плохих литографий на стенах всех без исключения почтовых станций южнее земель Всевеликого Войска Донского. И если бы я не знал, что я — это я, то ни за что не угадал бы самого себя. С окровавленной повязкой на голове и почему-то с обнаженной саблей в руке. О, творческое воображение, где же обретаются пределы твои!

Лето вместе с солнцем быстро катилось под уклон, а генерал Граббе все еще пребывал в столице. Моллер уже бродил по саду, отдаляясь от юбок Веры только на расстояние видимости. Вечерами они усаживались на веранде друг против друга: Вера вязала, а геройский поручик послушно сидел — хотя и в весьма напряженной позе — перед нею, держа перед собою обе руки, опутанные шерстяными нитками. Ему было очень хорошо, а мне — смешно, но веселье приходилось скрывать изо всех сил, потому что я искренне любил своего ротного. Правда, порою, когда Вера оказывалась занятой домашними делами, мы с Моллером играли в шахматы, но это тоже не утешало, поскольку я проигрывал ему то ли от раздражения, то ли потому, что влюбленность придавала ему дополнительное соображение.

Потом пришла пора ягод, и поручик покорно носил корзинку за Верой. Аглая Ипполитовна варила варенья одновременно в трех тазах и на трех кострах, и по всему саду разносился густой приторный аромат. Вероятно, я несправедлив в отношении своих милых хозяев, но попробуйте поставить себя на мое место.

Я перечитал по два раза все, что разыскал в генеральской библиотеке, трижды обсудил с Моллером библейскую проблему, кто кому первым протянул яблоко, с помощью Сурена выяснил, что Армения не только древнейшее место обитания человечества, но и самое прекрасное на свете, и окончательно угнездился на бурке под старым ореховым деревом с комплектом старых французских журналов.

Вероятно, наблюдательная Аглая Ипполитовна верно представила себе как мое одиночество, так и неопределенность моего положения в кругу милых друзей. Сужу по тому, что передо мною как-то возник подпоручик Борзоев с предложением поохотиться. Я воспрял духом, и на следующее утро мы выехали на лошадях из генеральской конюшни в сопровождении непереманных казаков, поскольку отчаянных абреков побаивались даже вдали от зоны непосредственных боевых действий.

Края там были охотниками не истоптанные, дичь — охотниками не пуганная, куропатки взлетали прямо из-под ног, и мы постреляли в полное удовольствие. Хандра моя куда-то испарилась, и мы тут же договорились, что непременно повторим наше громкое мужское удовольствие через два-три дня.

Вот тогда-то и состоялась неожиданная встреча, ради которой, собственно, я и принялся рассказывать о своих охотничьих развлечениях.

Обычно казаки, сопровождающие нас, разводили костер, выставляли наблюдение и ждали, когда мы возвратимся к огоньку с добычей. До сей поры все было тихо и мирно, но в тот день колючий кустарник передо мною внезапно раздался, и оттуда появился незнакомый мне вооруженный человек.

— Не пальни, барин, свой я. Русский.

Одежда возникшего из кустов субъекта была весьма живописной, хотя и несколько неопределенной, что ли. Изодранная черкеска, прикрытая широким брезентовым балахоном, косматая папаха, кинжал за поясом, ружье в правой руке и мокрый грязный мешок в левой. Добавьте к этому по брови заросший лик, и картина станет полной.

— Я — тоже охотник, — сказал он. — Только дичь у меня погрознее твоей, барин. Промок по кустам лазить. Дозволишь у костра обсушиться?

— Федулыч! — радостно загомонили казаки, когда мы с незнакомцем подошли к огоньку. — С добычей или зоря опять?

— Считай, червонец в кармане, — самодовольно улыбнулся в бороду таинственный охотник, с глухим стуком опустив мешок на землю в стороне от костра. — Доброго зверя подстрелил сегодня. Покажу, может, и узнаете.

И вывалил из мокрого мешка отрубленную голову чеченца. И я сел. Ноги у меня подкосились.

Беслана то была голова...

— А, неуловимого на мушку поймал? — сказал кто-то из казаков. — Верный червонец, да еще и с благодарностью.

А я смотрел на мертвую голову моего друга, нашего проводника и спасителя, счастливого отца и... И смутно мне было. Все вдруг в душе смешалось: боль, омерзение, гнев...

Еле протиснул сквозь зубы:

— Два дам, если мне ее оставишь.

— С нашим полным удовольствием, барин! Два всегда одного лучше.

Оставил. Похоронили мы с Борзоевым голову Беслана, даже из ружей над малой той могилкой пальнули. А потом долго сидели в стороне от казаков и молча пили крепкое кизлярское...

— Где же Леча-то теперь, Борзоев?

— Попробую поискать, но вряд ли. Попробую. А поискать попробую, попробую, попробую...

Он твердил это слово бесконечно...

...Всякая война — кровь и убийства, но не всякая власть деньги за скальп из казны выплачивает. Не всякая, а та лишь, которая сама бесчестье своей войны поняла. И отковала невыносимо тяжкий меч жестокости. Одинаково тяжкий для обеих сторон...

Больше не выезжал я на охоту. Не мог. Ничего мы с Борзоевым о той встрече с охотником за головами дома не

сказали, и милая Аглая Ипполитовна вынуждена была спisać мой отказ на мой же каприз да дурной характер...

И опять я валялся целыми днями на бурке под орехом и с трудом сдерживал раздражение вечерами, глядя на спятивших от счастья влюбленных и слушая их бессмысленные разговоры. В строй просился, у кого только мог: то у Моллера, то у Борзоева. Но генеральского распоряжения никто из них отменить не рискнул.

Не знаю, чем бы все кончилось, если бы однажды пламенным полуднем не крикнула вдруг Аглая Ипполитовна:

— А к вам — гость, Александр Ильич!..

Я и вскочить на ноги не успел...

— Аве, патриций!..

Дорохов. Руфин Иванович.

Обнялись мы. Кажется, даже расцеловались. А в душе у меня — будто солнышко выглянуло.

— Какими судьбами, Руфин Иванович?

— Шествовал следами героев к новой ниве своей, Олексин.

— Надолго в наши края?

Усмехнулся Дорохов:

— Сие зависит только от состояния карманов моих партнеров.

Стараниями Верочки мой армянский парнишка расторопно соорудил нам добрую скатерть-самобранку. Руфин Иванович опустил на бурку, поднял бокал:

— За благословенный орех, патриций!

— Почему — за орех?

— Именно под его живительной сенью состоялось наше первое свидание в Бессарабии. Такой далекой отсюда как во времени, так и в пространстве.

Мы торжественно чокнулись, осушили рюмки и опять почему-то улыбнулись друг другу.

— Кстати, перед самым отъездом сюда я получил весточку от вашего волосатого недруга. Весточка включала в

себя официальную справку о том, что в настоящее время господин майор Афанасьев имеет честь проходить службу на Черноморском побережье. И записку от руки в два слова: «НАДЕЮСЬ, В РАСЧЕТЕ». Так что служите спокойно.

— И рад бы, да заперт в золоченой генеральской клетке. Хозяин вызван в Санкт-Петербург, и до его возвращения я обречен на полнейшее безделье. Созрел для того, чтобы усесться за стол супротив вас, Дорохов.

— Увы, Олексин, но я всегда проигрываю друзьям. Чудовищный недостаток для профессионального игрока, вы не находите?

— И часто же вам приходится проигрывать?

— Нет. Приятелей да знакомцев у нашего брата предостаточно, а друзей я держу на дистанции от зеленого сукна. А в общем-то урожай оказался неплохим, но должен сознаться, что однажды проиграл. Хотя и в доброй компании.

— Вы и проигрыш — две вещи несовместные.

— И тем не менее. В пушкинском окружении оказались два моих ученика. Точнее, один ученик и один учитель.

— В пушкинском окружении?

— Вы не читаете газет? Александру Сергеевичу наконец-то разрешили выезд за границу, если за границей считать взятый нашими войсками Арзрум.

Это известие упорно не укладывалось в моей голове, почему я с прежней отупелостью уточнил:

— Пушкин на Кавказе?

— Он уже миновал его, увезя с собою три сотни моих денег, заработанных тяжкими ночными трудами. Наливайте, Олексин, что вы замерли с бутылкой в руках?

— Жаль, что я не знал. — Я вздохнул и наполнил бокалы. — У меня тяжелый приступ меланхолии, Дорохов.

— За его заграничный вояж, — Руфин Иванович отхлебнул добрый глоток. — Мне показалось, что Александр Сергеевич путешествует не в лучшей компании.

— Почему вы так решили?

— Потому что знаю как минимум троих из его окружения по прежним встречам. Это — шулера, патриций, которых давно не пускают в приличное общество. И я вполне допускаю, что они-то и устроили ему эту поездку.

— Каким образом?

— А каким образом я отправил волосатого майора на Черноморское побережье? Карты — явление мистическое, Олексин.

— Помилуйте, для чего шулерам Александр Сергеевич?

— Увы, ему отведена всего лишь роль свадебного генерала, патриций. Его окружение поет ему дифирамбы, угощает живой стерлядкой, поит французским шампанским и умело проигрывает на путевые расходы. Взамен получает возможность сесть за стол с такими людьми, которые их в упор не замечают на улице, но готовы потерпеть ради знакомства с самим Пушкиным. А знакомиться проще всего за зеленым сукном, за которым сопровождающие поэта обдирали быстренько возвращают все расходы с хорошим наваром.

— Господи, но Александру Сергеевичу это зачем?

— А он этого и не замечает. Он счастлив удрать из-под бдительного ока, увидеть нечто новое собственными глазами, почувствовать себя, хотя бы в мечтах своих, за границами Отечества — да мало ли искушений! Удивительно, но истинно талантливые русские люди — совершеннейшие дети в той большой игре, которая называется жизнью, Олексин.

Последний марш

В ту осень рано начались дожди, и шли они воистину с южной щедростью. Унылость моего растительного существования утратилась, и неизвестно, как бы обернулось дело, если бы однажды вечером мой дорогой ротный командир,

войдя в столовую, не взял Веру Прокофьевну за руку и не объявил бы нам во всеуслышанье:

— Поздравьте нас, дорогие друзья. Верочка дала согласие стать моей супругой, и я счастлив, как никогда доселе.

Мы кинулись поздравлять и целовать, Верочка краснела и мило смущалась, а Моллер был чудовищно горд. И я люто завидовал ему в тот вечер. Его настигла первая любовь, а мою первую насильно отторгли от меня и увезли в Италию...

На следующее утро мы вместе с Борзоевым отправились в Кизляр покупать молодым подарки. Господи, подобной грязи я еще никогда не видывал и, надеюсь, более уж не увижу: рослая генеральская лошадь с трудом вытаскивала из нее копыта. Все кругом сочилось влагой и грязью, уже как бы не смешиваясь друг с другом, а существуя по отдельности. И все это сопровождалось таким торговым ажиотажем, таким гвалтом, криком, воплями верблюдов, лаем собак, смехом детей и ревом ишаков, что я окончательно одурел.

А вечером того дня наконец-то возвратился генерал Граббе.

Я уже готовился к перевариванию праздничного ужина в своей комнате, когда был востребован в гостиную. Прибыл, испросил разрешения, от души поздравил, а Павел Христофорович не по-генеральски крепко пожал мне руку и с торжественной звонкостью сказал:

— По личному поручению Государя Императора Николая Павловича имею честь наградить вас, героя Ахульго и дерзкого набега на Аджи-Юрт, Знаком ордена святого Георгия Победоносца!

И лично прикрепил Знак сей на мой статский сюртук. Тут все кинулось было поздравлять меня, но генерал строго поднял руку, и окружающие примолкли.

— Дорогой мой Александр Ильич, я получил редкую

возможность рассказать Государю о ваших подвигах и в высшей степени достойном поведении. Не скажу, что я был первым: почва уже была достаточно подготовлена. А посему Государь изволил милостиво выслушать меня и...

Павел Христофорович сделал паузу на манер греческих трагедий, а я обмер, и сердце мое обмерло тоже. Граббе улыбнулся и достал из портфеля некую плотную бумагу.

— Рескриптом сим с вас снимаются все прежние последствия дознаний и все приговоры и возвращается вам офицерское звание поручика гвардии...

Очнулся я уж на диване с означенным рескриптом в руках...

СБЫВАЮТСЯ ВСЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ, КОЛЬ СИЛЫ ОСТАЛИСЬ ДЛЯ ВСТРЕЧ И ПОТЕРЬ...

Вот написал сие и — прослезился. И — слава Богу! — значит, отмякла душа моя, раз слезы к ней вернулись...

Как прощался с дорогими сердцу моему друзьями, как нетерпеливо в Россию стремился — опушу. Да и собственно марш свой последний — тоже. Одно лишь в дороге произошло, достойное внимания. Еще в почтовой тройке трясясь, я твердо решил сначала в Санкт-Петербург явиться и попросить назначения все-таки в армию. В заштатный Псковской пехотный полк, из которого был изгнан с нетерпимым для чести моей позором и унижением.

Так и сделал. Просьбу мою поняли и уважили ее, представив меня с учетом военных действий, полученных ранений и боевой награды в чин капитана армии.

Я тут же вернулся во Псков, представился командиру полка и написал рапорт об отставке ради устроения семейных дел.

Кончились марши мои.

И начались встречи...

Встреча первая

Грустной она была. На семейном нашем участке городского Псковского кладбища. Там батюшка мой кавалер российских орденов и боевых ранений бригадир Илья Иванович

Олексин и матушка Наталья Филипповна навеки неразлучно уж покоились рядышком...

— Да заплачь же ты, барин, Александр Ильич! — тряса меня, помнится, Савва Игнатьич.

Савка мой, молочный брат, Клит мой верный, управитель всех сел, земель и деревень моих. Матерым он стал мужиком, степенным, строгим и солидным. И совсем недавно счастливо женился на премоилой псковской мецаночке.

А я не мог тогда зареветь, пыль кавказских троп с сапог еще не отряхнув.

Поминали мы родителей своих у Саввы Игнатьича в семейном кругу в его новом псковском доме. Супруга Настасья, милая и скромная, нам никак не мешала, а лишь скрашивала грустную трапезу ту. Я совсем было в думы свои влез, да Савка, почувствовав отсутствие мое за собственным столом, начал неспешно и толково о делах докладывать: жить-то мне еще предстояло...

— Урожай два года подряд добрый выдался, и я выгодно продал его. Сейчас бумаги посмотрите или на завтра оставим?

— Потом, Савва Игнатьич, потом все.

— Народу у нас прибавилось, сказки ревизские я вам тоже опосля покажу. Одно скажу: рожали больше, чем помирали, так что с прибылью вас, Александр Ильич...

Я слушал, а думал о своем. Я думал, что один остался на всем белом свете, совсем один. В молодости не возникает этого чувства, в юные годы мы все — Робинзоны на не обитаемом еще острове. Строим свою крепость, обрабатываем свое поле, засевая его добрыми намерениями, мечтаем и надеемся, надеемся и мечтаем. А потом находим Пятницу, и жизнь приобретает смысл. Не философский — свой, личный, собою ощущаемый, как лично возделанное поле.

И ничего этого у меня не было. Ни поля, ни дома, ни Пятницы...

Впрочем, Пятница была. Полиночкой ее звали.

Странно, может быть, неприлично даже, но я о Полиночке, о невесте своей, почти не вспоминал. Разве что по утрам, с похмелья. Это-то я потом понял, почему не вспоминал, потом, а тогда казалось, что не думаю о ней просто потому, что не могу представить ее рядом с собою на Кавказе. Я — солдат, без прав и фамилии, при должности «куда пошлют». И вдруг рядом — околостолничная Полиночка, единственная генеральская внучка. И что же, у начальства мне отпрашиваться на семейные свидания или самовольно на них бегать? Нет, нет, солдатская любовь должна быть где-то подальше от солдатской казармы. Где-то на киоте, что ли, чтоб молиться на нее, верить ей и мечтать о свидании. А подле солдатчины — только легкие влюбленности. Необременительные.

Были у меня такие? Ну а как же. Дело телесное, земное. А любовь всегда неземной быть обязана. Тогда ты всю жизнь к ней тянешься, растешь из самого себя. А к скучающей в Пятигорске чьей-то офицерской жене всю жизнь тянуться не станешь. Равно как и к чернобровой вдовушке-казачке в Кизляре...

Вот потому-то я и не вспоминал о Полиночке своей. Не было ей места в грубой, потной, а главное, очень уж гласной солдатской жизни, в которой все настолько на виду, что и себя-то самого подчас не видно. Поначалу писал, а потом... Когда к вам ответ на письмо через полгода приходит, не о чем писать становится. Солдат в России — всегда круглый сирота, собственной судьбы не имеющий...

—...Жить, понятное дело, в господском доме, в Опенках, — толковал тем временем Савка, уже решивший за меня мою судьбу. — Но в Антоновку все же заедем, Алек-

сандр Ильич? И сам я давненько в ней не был, а ведь там — могилка матушки Серафимы Кондратьевны...

Очнулся я. И сказал:

— Сначала — к Полиночке, Савка. К невесте моей...

Встреча вторая

После обязательных посещений, визитов и встреч во Пскове выехали мы с ним на доброй тройке в генеральское имение.

Может, странным вам покажется, но я не торопился. Объяснить неторопливости своей не берусь, только — учтите, что ли, — многое меж нами пролегло. Целая Кавказская война...

— Александр Ильич?!

Бабушка Полиночки, Прасковья Васильевна, мне навстречу бросилась. И — разрыдалась:

— Стало быть, чуяло сердце твое? Чуяло?..

Чахотка с кровохарканьем у невесты моей. Уж два месяца с постели не вставала, в сад подышать на руках выносили. И за жизнь держалась только того ради, чтобы меня увидеть.

— Сашенька, свет мой...

Еле шепчет, кружевного платочка от губ не отрывая...

— Прости меня, что не встречаю так, как мечтала. Не даровал мне Господь здоровья. Единственно, что даровал щедро, так любовь... Это — великое счастье...

— Молчи, умоляю тебя, молчи...

Я на колени стал у ее изголовья, шептал почему-то, вместо того чтобы в полный голос... Обвалилось все во мне. Или — мимо меня сейчас все летело, шелковым покрывалом лица касаясь. В пропасть все летело, в пропасть...

— Лучше я говорить буду. О Кавказе, о том, что случилось со мною, как ждал я...

Забилась моя Полюночка в приступе. Страшный кашель сотрясал ее сухое маленькое тельце, аж подпрыгивало оно. И платочек. Платочек батистовый, на моих глазах меняющий цвет свой. Промок один, бросила она его, другой взяла...

— Я с тобой жила. Все время с тобой и — тобою. И в казематах, и в боях... Сил не хватило. Прости, любовь моя единственная. Прости меня...

— Я — выдержал. Все выдержал, Полюночка. И крест получил, и офицерское звание. Вот поправишься ты...

Бормотал я слова, потому что в душе ничего, кроме страха, не было. Не было любви, признаюсь, не ощущал я ее. Один страх ощущал. За себя...

...Невозможно лгать, когда в душе — пустота. Когда не о невесте своей думаешь, а о себе лишь, о своем одиночестве завтрашнем, а не о ее — сегодняшнем. Уже сегодняшнем, потому что отходила она, летела в черную пропасть, а я скорее растерянность ощущал в себе, нежели отчаяние. И значит, не было во мне любви, а был только страх... Страх очередного одиночного каземата.

Нет, не было во мне любви. Не было...

Двенадцать дней она на моих глазах в эту пропасть летела, и я был подле нее. Подле, но не рядом. Точно стоял, как тогда, в отвесную стену вжавшись, а она — мимо меня, мимо, мимо...

А кругом уже какие-то приживалки да тихие дальние родственницы суетились. Как мухи, что ли, мед почуяв. Генерал уже помер к тому времени, генеральша Прасковья Васильевна вместе со своей единственной внучкой в ту же пропасть летела, вот и зароились дальние наследницы в надежде урвать свой кусочек. А не урвать, так вымолить, выпросить, выклянчить, стащить, в конце концов.

Что же, и мне так помирать придется? Среди мелких актеришек, неумело, бездарно и бестактно скорбь изображающих? Шушукающих по углам, поспешно карнавальные маски горя и печали на лики свои натягивая, тебя едва завидев?..

О себе я думал. О себе.

Я даже с Прасковьей Васильевной ни о чем говорить не мог. Ни о чем решительно. Она в своем великом горе пребывала, а я — в своем. Личном. Не о Кавказе же с ней толковать...

А с Полюночкой дважды, а когда и трижды в день виделся и говорил. Правда, чаще слушал, не было слов. То ли не было, то ли не мог я выговорить их, то ли стеснялся чего-то...

— Все для любви рождаются. Только женщины не скрывают в себе главного закона своего, а вы, мужчины, не самой любовью восторгаетесь, а способами ее достижения. Слава, богатство, честь, подвиги, отвага куда важнее оказываются, нежели само великое чувство это. Средства для вас всегда важнее цели...

И все это — с улыбкой. Сквозь приступы кашля, сквозь кровь, сквозь алые батистовые платочки. Это я потом понял, что она пыталась от горестных дум меня отвлечь. В последний раз пыталась спасти, помочь и рассеять.

Но однажды — утром то было, она от завтрака отказалась, кое-как чашку чаю выпив, — сказала вдруг, мучительно задыхаясь на каждом слове:

— Женись, Сашенька, непременно женись и — поскорее. Прислониться тебе надо, устал ты от одиночества. И серебряное блюдо никак забыть не можешь. Найди его. Серебро не ржавеет, Сашенька, любовь моя единственная, счастье мое. Не ржавеет, только патиной покрывается. Такая любовь — до последней седины...

И — отошла тихо, в последний раз руку мне сжав...

И еще девять дней я там прожил. Прожил?.. Нет, просуществовал. Три — пока прощались с нею, отпевали да хоронили, и еще — шесть. До первых поминок...

А потом тепло, по-родственному распрощался с осиротев-

шей Прасковьей Васильевной, обещал навещать. Она даже не рыдала. Сил у нее не было отрыдаться, потому что жизнь смысла потеряла.

Вышла провожать меня, и тут только я увидел, что на козлах тройки моей — Савка. Как-то не замечал до этого, что тут он, рядом, что не оставил меня.

Спросил:

— Куда править-то, Александр Ильич?

— В Антоновку.

Не задумываясь, сказал. О последнем завете Поляночки вспомнив. О серебряном блюде.

И помчались мы в Антоновку...

Встреча третья. С серебряным блюдом

Старостой в Антоновке оказался мой сын Иван, только не Александрович, а Матвеевич. Это был рослый, красивый юноша с уже чуть заметной рыжеватой бородкой и умными глазами. Молодец мама Луша, что настояла на его учении, молодец и Савва Игнатьич, сделавший для меня маленький, а все же — подарок.

— Как живешь, Ваня?

— В хлопотах, Александр Ильич.

А глаза — улыбаются. Знает, чертенок, что я ему родным отцом довожусь, недаром ведь не барином назвал, а по имени-отчеству обратился.

И — после толкового доклада о деревенских делах — тоже далеко не случайно, хотя и как бы между прочим:

— Оживают наши края, Александр Ильич. В графском доме полный ремонт произвели, я им лесу отпустил. Сейчас вовсю по вечерам огнями светится.

— Графинюшка приехать изволила?

И я тоже как бы между прочим спросил, хотя у самого-то сердце екнуло.

— С полным семейством.

— С мужем?

— Нет, мужа не видел. С сыном приехала.

Замолчал я, новость обдумывая. А Иван продолжил, и опять — как бы между прочим:

— Лулу ваша постарела, конечно, но под седлом старается. Я ее ежедень прогуливал.

— Спасибо, Ваня.

Он поклонился и вышел. А я на Савку посмотрел. И почему-то беспомощно посмотрел, что ли.

— Проверю. — Савва Игнатьич меня со взгляда понимал. — Вы сегодня отдохните, а завтра — поглядим, как оно получается.

Какое там — отдохните, когда я места себе не находил! С сыном приехала, а где же муж? Жив еще или уже помер? А коли жив, так в Италии остался или расстались они насовсем? И как же фамилия-то его, как фамилия?.. Затрясский?.. Затусский?.. Помню, что «ЗА». Он всегда за чем-то был. Зачем-то...

Засядский!.. Аннет Засядская. Мадам Засядская теперь. Мадам Засядская с сыночком Засядским. Весь в отца, поди. Любопытно, как его зовут? Как деда или как отца?..

Представляете, какой идиотизм залез вдруг в мою голову? И никак не вылезал. Так и метался я с ним по дому, пока... Пока не блеснула в свихнувшихся мозгах моих некая мысль: я же Полиночку, невесту свою, только что похоронил. И первое, что узнал, — графинюшка вернулась. Значит, она, она, Полиночка, оттуда ее вызвала, из-за границы, чтобы я в окончательном одиночестве не остался.

Напился я от этой мысли. Нет бы пред иконою пасть и Бога возблагодарить да Полиночку помянуть... Нет, напился. Вдвоем с бутылкой, по-гусарски. Окосел, и в пьяную голову первая трезвая мысль пришла: а чего это я разбежался? Ну, не моя Аннет, давно уж не моя, а косноязычного этого Засядского. И Полиночка теперь не моя, а — Божья. И никого у меня нет. Один я, как перст. В отставке.

И уснул с этим открытием. Легко уснул, потому что осознал наконец собственное единоприсутствие свое в многоприсутственном и шумном мире сем. И проснулся с этим осознанием, а потому горьким было мое пробуждение. Не от горечи с похмелья, а от горечи в душе.

Не рано проснулся. Савки нигде не было, и я сел завтракать сам-один. Подумав при этом, что пора к этому привыкать. Спокойно подумал и неторопливо завтракал, когда объявился наконец мой молочный брат и управитель.

— Был у графинюшки. В трауре она: месяц назад ба-тюшка ее преставился.

— А Засядский?

— Какой Засядский?

— Ну, муж, муж! Должен же муж быть, коли сын есть.

— А... Не знаю. Никого, кроме молодой барыни, не видел, а разговор наш к этому не пришел.

— Обо мне сказал?

— Она считает, что вы — на Кавказе. Так что надевайте мундир свой капитанский, цепляйте все ордена и скачите представляться заново. Иван вон с утра велел Лулу вычистить и подседлать.

— Как снег на голову?

— Ага. Сразу проверите, где ваша шашка. В дамки выходит или, пардон, в сортире навсегда заперта.

Трезвый этот подход слегка похмельной голове моей почему-то понравился. Особенно в части капитанского мундира. К тому же Лулу и впрямь была вычищена, выгуляна и подседлана. Заржала радостно, башкой замотала, меня увидев. Расцеловались мы с ней, подтянул я подпругу, вскочил в седло и отдал поводья.

— Помнишь ли еще дорожку, старушка?

Вспомнила. Все вспомнила и потрусила к графскому особняку, радостно головой встряхивая. А я думал... Нет, ни о чем я тогда не думал. Сердце мое в том же аллюре трепыхалось...

Ворота в усадьбу были настежь распахнуты. Как объятья. Будто ждали меня. Мальчик какой-то в голубой рубашке у

подъезда стоял, на меня во все глаза глядя. Я спрыгнул с седла, бросил ему поводья и — бегом через две ступени.

Вбежал в дом и — заорал:

— Аннет!..

Не помню, откуда она выбежала. То ли с одного из двух лестничных маршей на второй этаж, то ли из залы, то ли... Помню, что на шее у меня оказалась. Как в юности.

— Знала, что придет это мгновение. Придет!.. Знала. Знала. Знала! И — ждала. Как я ждала!..

И — последняя встреча

Последняя потому, что больше люди нас никогда не разлучали. Да и не в силах были разлучить.

Поначалу какой-то уж очень бестолковой казалась она. Помню, что перебивали мы друг друга, а вот почему перебивали и о чем говорили — напроць из головы выскочило. И начались-то эти воспоминания — не начались, а выстроились, что ли, — с моего вопроса.

— Ты замужем?

— Увы, — она лукаво глянула снизу вверх, в мои глаза. — Мой нареченный в России остался. Говорят, в Кавказской войне участвовал не без успеха.

— А как же... Сказали мне, сын у тебя..

Она расхохоталась. Даже руками всплеснула, на миг от меня их оторвав:

— Дитя любви!

Вероятно, что-то на моем лице все же отразилось, потому что Аничка опять засмеялась и позвала:

— Ванечка!

И вошел мальчик в голубой рубашке. Поклонился мне и сказал на отличном французском языке:

— Не беспокойтесь, сударь, о лошади. Я передал ее лакею.

И наступила какая-то странная пауза. Я что-то понимал

и ничего не понимал, во что-то хотел поверить и — не верилось мне. И Аничка почему-то молчала, а потом сказала вдруг. Негромко и очень серьезно. Как-то даже чуточку торжественно, что ли:

— Это — твой батюшка, Ванечка. Твой родной батюшка Александр Ильич Олексин, о котором я тебе столько рассказывала. Герой Кавказской войны.

И сын, мой родной сын, истинное дитя истинной любви нашей, на шею мне бросился. Уж потом, потом, когда Аничка отослала его к обеду переодеваться, узнал я, чего нас с нею лишили. Вернее, пытались лишить, но так и не смогли.

— Я без твоего согласия и слова бы единого никому не сказала, душа моя, да только... Только шевельнулся в душе моей ребеночек наш, — Аничка порозовела, почему-то вдруг засмутившись. — Еще не в теле моем, еще в душе только, но молчать об этом я уже не могла. Я за дитя отвечала, гордилась им, и нами тоже гордилась. И во всем призналась маменьке. Поплакали мы, как водится, и пошли батюшке признаваться. Маменька успокаивала меня, убеждая, что он все поймет, простит и соединит нас с тобою, душа моя. А он ничего не пожелал понимать и помчался в Петербург.

Она замолчала, а я виска коснулся.

— Вот, — сказал. — След последней встречи нашей. А я в воздух выстрелил. Не посмел, не мог иначе, любовью нашей клянусь.

Аничка поднялась на цыпочки, притянула голову, поцеловала меня в седую прядь, вздохнула:

— Знаю теперь во всех подробностях, только подробности эти батюшка мне перед кончиной своей рассказал. Тогда же и простил нас с тобою окончательно и — благословил.

— Почему же он промахнулся? — спросил я. — Прости меня, Аничка, только я и сейчас этого понять не могу. Он же в лоб мне целился, и взгляд у него был...

Я опять про зубра в молдаванских кодрах вспомнил, но — промолчал. А Аничка опять вздохнула:

— Он убить тебя хотел, Саша. И ехал убивать. И к барьеру пошел убивать. И пистолет поднял — только не смог.

— Рука дрогнула?

— Нет, — Аничка решительно трянула головой. — У таких руки не дрожат. Я много раз спрашивала его, а он одно отвечал: промахнулся, и все. И только на смертном одре уж признался. «Знаешь, — сказал, — почему я промахнулся? Я на его лице вдруг твое личико увидел, доченька. И будто пронзило меня: да я же в тебя, в дочь собственную стреляю, в счастье твое, во внука собственного!.. И в последний миг, уже на курок нажав, успел ствол отвести. Чудом успел, милостию Божией...»

— Истинно, что милостию Божией, — вздохнул я. — Нет, ни в чем не виню его и обид никаких не держу: в полном праве своем он был, в полном праве. Да если бы у меня такая дочь была и прощельяга какой посмел бы...

Закрыла она рот мой поцелуем. Таким, что оба мы вздрогнули, точно одной молнией пронзенные. Стиснул ее ручищами своими, к себе прижал, а она шепнула на ухо:

— Потом, потом, все — потом. У нас ведь вся жизнь впереди. И ждать мы научились оба.

Какой-то последней трезвой мыслью понял, что права она, что навеки мы теперь, что спешить-то нам некуда. И обвенчаемся после сороковин по Полюночке, чтобы совесть чиста была.

— Я об обеде распоряжусь.

Аничка вышла, и что-то долго ее не было. Или казалось мне, что долго. Устал я ждать, устал...

Потом вернулась, но — одна, без сыночка нашего, Ванечки. Мы сели с ней друг против друга в гостиной, она полного отчета потребовала, и я ей все рассказал и про Полюночку, и про «Андрея Шенье», и про надпись «На 14 декабря», и про казематы, и про войну. Ничего не скрыл, потому что не должно было быть тайн между нами.

— Одного я не могу понять, Аничка, — сказал под конец. — Кто же разрешение выхлопотал, чтобы я самостоятельно до Кавказа добирался, а не в общем строю.

— Батюшка, — вздохнула Аничка. — Как дошел до нас слух, что ты арестован, так мы сразу же в Санкт-Петер-

бург выехали. Но поздно: Государь уже утвердил приговор офицерского суда, и единственное, что батюшка выхлопотал, так то разрешение для тебя. Но продолжал упорно хлопотать, почему мы сюда и не переезжали. А ты, упрямый, не писал ни родителям своим, ни моей кузине.

— Не мог я никому писать, — сказал я. — Убежден был, что ты за этого косноязычного Засядского замуж вышла, и весь смысл жизни моей пропал.

— Господи, какой там Засядский, — она досадливо отмахнулась. — Просил он руки моей, назойливо просил и у меня, и у маменьки с батюшкой, но у всех отказ получил и в Россию тут же уехал. Батюшка наказал ему за нашим домом приглядеть, вот тогда он с досады и наплел тебе о грядущей свадьбе. А ты и поверил, глупый.

— Не знал я ничего, Аничка, ну ничего решительно. Тут любому поверишь...

— Я горничную свою домой отпустила и велела ей твоей кормилице Серафиме Кондратьевне сообщить, что сыночек у тебя родился. Неужели не передала?

— На смертном одре уж. Два слова всего: «Ванечка... внучек...» Невозможно было ничего понять, в бреду уж.

— Внучек... — грустно повторила Аничка и вздохнула. — Все же ясно: она тебя ведь сынком своим считала всю жизнь. Любая бы женщина поняла, но у вас, мужчин, наоборотная какая-то логика...

Вошел мажордом. Поклонился, доложил, что кушать подано.

— Ванечку сюда, к нам пришли, — сказала моя графинюшка и встала. — Будем праздновать, душа моя. По-семейному.

Тут появился сын. Белокурый, на меня похожий, как две капли крови. И как я его сразу не узнал?..

— Подковы гнешь?

— Учусь, — серьезно ответил он. — Орехи в ладони колоть уже научился, батюшка.

Батюшкой меня назвать пока нелегко ему было. Но он

улыбнулся при этом совсем как я. Аничка внимательно поглядела на нас и сказала сыну:

— Будь добр, сделай то, о чем мы с тобой, дружок, давно условились. Помнишь?

— Уж все приготовлено, маменька! — с радостью сообщил он и тут же выбежал.

— Пойдем к столу? — предложил я, подавая ей руку.

— Обожди, душа моя, — сказала Аничка. — Сейчас Иван Гаврилович нас с тобою пригласит.

— Иван Гаврилович? Почему же вдруг — Гаврилович? У вас что же, игра такая?

— Судьба, а не игра, — пояснила Аннет. — Я — грешница, сын — безотцовщина, и при крещении мальчику дал отчество его крестный, Гавриил Алексеевич Негожин, бабюшкин приятель. Если хочешь, можем похлопотать о восстановлении твоего отцовства.

— Нет, не хочу, — сказал я. — Иван Гаврилович ничем не хуже Ивана Александровича. Сохраним это в нашем роду как память о нашей разлуке.

И вошел Ванечка. С тяжелым серебряным блюдом, на котором лежали эклеры...

...Серебро не ржавеет, даже пролежав два десятка лет в тине лебединого пруда...

БОРИС ЛЬВОВИЧ ВАСИЛЬЕВ
Картежник и бретер, игрок и дуэлянт

Редактор Е.Д.Шубина
Художественный редактор Ю.В.Архангельский.
Технолог М.С.Белюсова.
Оператор компьютерной верстки И.В.Соколова.
Зав. корректорской А.Ю.Минаева.
Зам. зав. корректорской Н.Ш.Таласбаева.
Корректоры В.А.Жечков, С.Ф.Лисовский.

Издательская лицензия № 101053 от 4 апреля 1997 года.
Подписано в печать 11.02.98. Формат 60 × 90/16. Гарнитура Академическая.
Печать офсетная. Объем 21 печ. л. Тираж 10 000 экз. Изд. № 572. Заказ № 816.
Издательство «ВАГРИУС». 103064, Москва, ул. Казакова, 18.
Интернет/Home page — <http://www.vagrius.com>
Электронная почта (E-Mail) — vagrius@mail.sitek.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Государственном ордена Октябрьской Революции,
ордена Трудового Красного Знамени Московском предприятии
«Первая Образцовая типография»
Государственного комитета Российской Федерации по печати
113054, Москва, Валовая, 28.

В серии СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ПРОЗА

ВЫШЛИ КНИГИ

- Петр Алешковский *Владимир Чигринцев*
Василий Аксенов *Негатив положительного героя*
Чабуа Амирэджиби *Гора Мборгали*
Сергей Бабаян *Моя вина*
Борис Васильев *Утоли моя печали...*
Михаил Веллер *А вот те шиш!*
Владимир Войнович *Запах шоколада; Сказки для взрослых*
Николай Дежнев *В концертном исполнении*
Фазиль Искандер *Софичка*
Александр Кабаков *Последний герой; Самозванец*
Юрий Коваль *Суер-Выер*
Эдуард Лимонов *316, пункт "В"*
Дмитрий Липскеров *Сорок лет Чанчжоз*
Наталья Медведева *А у них была страсть...*
Виктор Пелевин *Жизнь насекомых; Чапаев и Пустота*
Людмила Петрушевская *Дом девушек; Настоящие сказки*
Вячеслав Пьецух *Государственное дитя*
Эдвард Радзинский *...и сделалась кровь*
Ирина Ратушинская *Одесситы*
Людмила Улицкая *Медя и ее дети*
Марк Харитонов *Возвращение ниоткуда*
Галина Щербакова *Год Алены*
Борис Ямпольский *Арбат, режимная улица*

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

- Эдуард Володарский *Дневник самоубийцы*
Владимир Маканин *Андеграунд, или Герой нашего времени*
Юрий Мамлеев *Черное зеркало*
Анатолий Найман *Славный конец бесславных поколений*
Олег Павлов *Казенная сказка*
Евгений Попов *Подлинная история "зеленых музыкантов"*
Ольга Славникова *Стрекоза, увеличенная до размеров собаки*

”Пожелтевшие страницы старой-престарой бумаги, местами выцветшие чернила... Видит Бог, эти Записки существовали“.

В основу нового романа Бориса Васильева лег подлинный документ из его семейного архива. Он дал жизнь увлекательному повествованию, в котором есть все: авантурный сюжет – похождения бравого поручика, игрока и дуэлянта пушкинских времен; картины дворянского и армейского быта, романтическая любовная история, а рядом – выписанные трагическим и строгим пером сцены войны на Кавказе, встречи героя романа с Пушкиным... Частная, на первый взгляд, история жизни своего предка позволила писателю предаться глубоким размышлениям о судьбе России века минувшего, неразрывно связанной с веком нынешним.



ВАГРИУС